

Б. Ю. Кагарлицкий

МАРКСИЗМ

Введение в социальную и политическую теорию



*Размышляя о
МАРКСИЗМЕ*

Б. Ю. Кагарлицкий

МАРКСИЗМ

**Введение
в социальную
и политическую
теорию**

Издание второе,
исправленное и дополненное

Кагарлицкий Борис Юльевич

Марксизм: Введение в социальную и политическую теорию.

Изд. 2-е, испр. и доп.

(Размышляя о марксизме.)

Несмотря на попытки исключить марксизм из системы общественных наук и гуманитарного образования, его значение как теоретического метода остается непреходящим. Однако российские студенты, заинтересованные в качественном социологическом образовании, до сих пор были вынуждены обращаться к публикациям американских и западноевропейских авторов, не стесняющихся своей марксистской методологии, поскольку старые советские учебники безнадежно устарели и представляют собой по большей части одностороннее, зауженное, а порой и искаженное изложение марксистской теории.

Настоящая книга призвана восполнить существующий пробел в современной отечественной социологической литературе. В ней представлен популярный очерк социологии марксизма, написанный с современных позиций; приводится описание основных марксистских течений и дебатов. В основу книги положен курс лекций, прочитанный автором в Институте социологии в начале 2000-х годов.

Книга будет полезна социологам, политологам, историкам, философам, а также студентам соответствующих специальностей.

Оглавление

От автора	5
Глава 1. Классический марксизм	10
1. Личность и способ производства (12) 2. Капитализм (17) 3. Классы (18) 4. Государство (24) 5. Свобода (27) 6. Революция (28) 7. Эпигоны и новаторы (32) 8. Бернштейн (34) 9. Ленин (37) 10. Россия (39) 11. Ленинизм (41) 12. Советский марксизм (43) 13. Западный марксизм (45) 14. Троцкизм (49) 15. Лукач (51) 16. Грамши (53) 17. Франкфуртская школа и Сартр (55) 18. Марксизм в контексте западной социологии (58)	
Глава 2. Восточноевропейский «ревизионизм»	60
1. Колаковский (62) 2. Рыночный социализм (66) 3. Будапештская школа (75) 4. Группа «Праксис» (77) 5. Советские «шестидесятники» (79)	
Глава 3. Гроза 1968 г.	83
1. Послевоенные перемены (83) 2. Кейнсианство (86) 3. Потребление и бунт (88) 4. Отчуждение (90) 5. Репрессивная терпимость (91) 6. Маоизм (93) 7. Демократия и массовое движение (95) 8. Идеологический синтез (97) 9. Марксизм и психоанализ (102) 10. Солидарность, власть, агрессия (107) 11. «Общество спектакля» (111) 12. Анархо-марксизм (112) 13. Неотроцкизм (113) 14. После революции (114)	
Глава 4. Капитализм как миросистема	118
1. От политэкономии к экономике (118) 2. Норма прибыли (121) 3. Колониальный капитализм (123) 4. Накопление капитала (125) 5. Перенакопление капитала (129) 6. Проблема отсталости (133) 7. Корни зависимости (137) 8. De-linking (140) 9. Кондратьевские циклы (142) 10. Глобализация (144) 11. Капитализм и рынок (148) 12. Неолиберализм: буржуазная реакция (151) 13. Крот истории продолжает свою работу (153)	

Глава 5. Демократия в марксистской и либеральной теории	154
1. Демократические корни тоталитаризма (154) 2. Гражданство (157) 3. Плюрализм (159) 4. Власть и насилие (162) 5. Политические партии (165) 6. Тоталитаризм (167) 7. Гражданское общество (170) 8. Гегемония (175) 9. Исторический компромисс (179) 10. После демократии (183)	
Глава 6. Что такое Советский Союз: анализ советского опыта в западном марксизме и в неофициальном восточноевропейском марксизме.....	185
1. Русская революция — ожидания и действительность (186) 2. Ленин, критика слева и историческая необходимость (190) 3. Советский термидор (196) 4. После термидора (199) 5. Советский Союз в истории (204) 6. Разложение советской системы (207) 7. Новый русский капитализм (210)	
Глава 7. От класса — к партии	216
1. Постановка вопроса (216) 2. Пролетариат или рабочий класс (219) 3. Консолидация класса (229) 4. История и классовое сознание (231) 5. От класса к партии (234) 6. Интеллигенция и революция (237) 7. Партии новой волны (244) 8. Возвращение авангарда? (248)	
Глава 8. Капитализм, собственность, социализм	250
1. Проблема собственности (250) 2. Монополистический капитализм (255) 3. Государственный сектор (258) 4. Реформизм (260) 5. Поражение реформизма (263)	
Глава 9. Марксизм и национальный вопрос	268
1. Изобретение наций (269) 2. Странности определения (270) 3. Формирование наций (272) 4. Империи и нации (275) 5. Права наций (280) 6. Ленинский федерализм (283) 7. Полиэтнические сообщества и расизм (285) 8. Антисемитизм (288) 9. Разбросанные по пространствам Европы и Азии (289) 10. Сионизм (291) 11. Новый национализм, исламофобия (293)	
Заключение	296
Приложения	300
От Лакана к Ленину (300) Майкл Хардт, Антонио Негри. Империя (303) Кристоф Агитон, Алекс Каллиникос (311) Левое движение в 1990-х гг. — начале XXI в. (315)	
Библиография.....	318

От автора

В начале 2000-х гг. меня пригласили прочитать в Институте социологии курс «Классический и современный марксизм» для будущих магистров. Это были молодые люди, закончившие провинциальные университеты уже после того, как советские учебники были заменены новыми книгами, подготовленными на гранты фонда Сороса, а программы по «научному коммунизму» в одночасье превратились в курсы политологии.

Если в экономике и политических науках искоренение марксизма из университетских программ было почти полным, то социологи, как бы они ни относились к идеологическим воззрениям Маркса, не могли полностью избежать его влияния. Однако для того, чтобы что-то узнать и понять, этому надо учиться. А учиться оказалось негде.

Первая проблема, с которой сталкиваешься, когда начинаешь говорить в постсоветской России о «современном» или «классическом» марксизме, состоит в том, что студенты вообще не понимают, о чем идет речь. Можно сколько угодно рассуждать о тонкостях различий между взглядами Ленина, Грамши и Троцкого, но вопрос, который стал возникать, когда я начал читать свой курс, был совершенно другой: а что, собственно, студенты знают про классический марксизм?!

Я принадлежу к поколению, которое обучалось в Советском Союзе, для меня марксистская терминология была естественной и понятной с юности. Нам вбивали в голову некую готовую систему норм; то, что в Западной Европе называлось «советским марксизмом», а у нас, с легкой руки Зиновьева и Сталина, провозгласили марксизмом-ленинизмом. По крайней мере у нас имелось более или менее четкое представление о том, что такое классический марксизм. Отсюда не следует, будто в СССР все правильно понимали и досконально знали Маркса. Но хоть что-то знали непременно. Например, терминологию. Это было частью общей культуры.

Дальше можно было пускаться в собственные исследования, с радостью обнаруживая: «ага, вот тут они переврали, здесь они о чем-то умолчали, это они перевернули, а вот это место предпочитают не цитировать». В СССР были потрясающие методические пособия для студентов, где объ-

яснялось, как надо изучать работы Ленина. В них говорилось, какие статьи и книги надо читать, но предлагалось их читать не целиком, а от такой-то страницы до такой-то, иногда даже по абзацам. Соответственно, все остальное читать не надо было. И не читали.

Однако даже знания, полученного от чтения «избранных страниц», оказывалось достаточно, чтобы что-то понять. Тем более что находилось немалое число людей, которым хватало любопытства заглянуть и на соседнюю страницу, не рекомендованную к чтению. Именно поэтому изрядная часть ранних диссидентских текстов в СССР представляет собой критику власти за то, что она неправильно интерпретирует марксистское учение. Или скрывает от народа какие-то его аспекты, какие-то тексты.

Так начинается марксистская критика советской системы и идеологии, критика, на которой и я сам формировался.

У критиков системы и ее официальных идеологов было некое общее знание, общий контекст, общий набор понятий и терминов. Этот контекст знали все, его вбивали нам в голову. Именно этот контекст был разрушен на протяжении 1990-х гг.

Марксизм систематически искоренялся из системы образования, из программ университетов, не говоря уже о школах. Эта кампания была организована, в сущности, так же, как и все предыдущие, да и осуществлялась теми же людьми. Бывшие партийные идеологи, в одночасье перекалифицировавшиеся в профессиональных антикоммунистов, не способны были на серьезные теоретические дискуссии, тем более — на новации. Потому любой вопрос решался просто. Исключить неугодные теории из учебных программ, сдать книги в макулатуру.

Легко догадаться, что борьба против марксизма закончилась таким же закономерным поражением, как некогда кампании против генетики и кибернетики.

Поскольку марксизм является неотъемлемой частью всей системы современных общественных наук, изъятие его из общественного обихода приводит к возникновению настоящего методологического хаоса. Это все равно что вынуть из здания половину кирпичей. Сооружение может устоять, но находиться в нем станет невозможно.

Парадоксальным образом почти все немногие молодые люди в России конца 1990-х гг., кто получил сносное марксистское образование, учились на Западе, особенно в Соединенных Штатах, где теорию Маркса по-прежнему продолжали преподавать в качестве одной из фундаментальных основ социологии.

В начале 2000-х гг. происходит перелом. Речь идет не только о том, что наше общество, столкнувшись с реальными результатами капиталистической реставрации и пресытившись либеральной идеологией, начало вновь леветь. Общий рост радикальных настроений наблюдался по всему миру — что выразилось в возникновении антиглобалистского движения

на Западе, подъеме левых партий в Латинской Америке и так далее. Появление у нас левых «новой волны», о которых дружно заговорила пресса, было лишь частным случаем общемирового процесса.

Возникает и новый спрос на марксизм. Но теории надо учиться. А советские учебники безнадежно устарели. И дело не только в том, что они игнорировали достижения западноевропейской левой мысли, что в них абсолютно не были отражены теоретические поиски латиноамериканских интеллектуалов. Дело даже не в том, что проблемы, связанные с информационными технологиями, по вполне понятным причинам не могут затрагиваться в книгах, написанных за два десятилетия до того, как эти технологии стали массово применяться. Даже ведя речь о классическом марксизме, о работах Маркса, Ленина или Плеханова, эти учебники в лучшем случае сообщают лишь половину нужной информации. Наследие молодого Маркса и поиски его последних лет отодвинуты в тень. Оппоненты Ленина лишены голоса, а сам Ленин превращается в какую-то картонную куклу, изрекающую политические банальности. К величайшему счастью, исторический Ленин был совершенно не таков.

Итак, нужен новый курс. Своего рода введение в марксистскую теорию. Спрос рождает предложение. Как сказали бы в советские времена, «по многочисленным просьбам трудящихся» я взялся писать эту книгу.

Разумеется, если кто-то надеется найти в данной книге «весь» марксизм, он будет жестоко разочарован. Я далек от мысли, будто публикация одним автором одной работы — тем более серии очерков — удовлетворит теоретический голод, испытываемый целым обществом. Тем более что мои возможности ограничены. В конце концов, я не философ и даже не экономист. Каждый должен писать о том, в чем разбирается. Потому основное внимание уделено именно социальной и политической теории и гораздо меньше — экономическим и философским дискуссиям в марксизме. С другой стороны, политэкономия капитализма, изложенная в советских учебниках, достаточно точно и добросовестно воспроизводит по крайней мере взгляды самого Карла Маркса. То же можно сказать и про многие советские работы по теории диалектического материализма. И это не удивительно. Чем дальше находился тот или иной сегмент теории от политической и социальной практики, тем меньшему искажению и бюрократическому давлению он подвергался. Общие вопросы диалектики природы можно было изучать, не вступая в особые противоречия с представителями партийной номенклатуры, которым по большому счету было наплевать и на диалектику, и на природу. Основные проблемы, связанные с теорией прибавочной стоимости в капиталистическом обществе, были для начальства не слишком понятны и не особенно интересны. Авторы книг и учебных пособий получали в таких случаях изрядную долю свободы, которой они умело пользовались.

Совсем иначе обстояло дело, когда нашим обществоведам приходилось затрагивать вопросы политической, социальной и культурной организации

общества, особенно — своего собственного, советского. Тут дискуссии заканчивались, а неправильно сформулированный тезис и даже неуместно приведенная цитата могли обернуться серьезными неприятностями. Остается лишь восхититься той небольшой частью советских обществоведов, которые в подобных условиях сохраняли ясность марксистского сознания и трезвость теоретической мысли. Благодаря им даже в унылые 1970-е гг., когда преследовалось каждое проявление оригинального мышления в любой сфере общественной жизни, не приходится говорить ни о полной смерти марксистской традиции, ни о тотальном торжестве единомыслия в нашей стране.

Поразительным образом мы оказались куда ближе к подобному результату в начале 1990-х гг., на фоне всеобщего торжества либеральных идей. Восславленное бессмертным Козьмой Прутковым единомыслие было окончательно введено на Руси не чиновниками и не коммунистическими цензорами, а либеральными реформаторами. И не потому даже, что во имя либерализма выкорчевывались остатки всех остальных теоретических школ, чудом выжившие в эпоху Сталина и в годы Брежнева, а просто потому, что под влиянием новой господствующей идеологии многие люди вообще перестали мыслить. Отказ от критического мышления был лишь переходным этапом на пути к окончательному прекращению всякой мыслительной деятельности. И в самом деле, зачем нужна наука, а тем более наука общественная, в стране, которая собирается процветать за счет разворовывания собственных природных ресурсов?

К величайшему счастью, полностью искоренить способность людей к критическому мышлению не удалось не только с помощью репрессивного аппарата, но и с помощью куда более эффективных рыночных методов. Общество понемногу начинает осознавать, что с ним происходит. Наше коллективное сознание похоже на сознание человека, приходящего в себя после сильного удара по голове или, наоборот, после безудержной гулянки (впрочем, было и то, и другое: одних били по голове, чтобы другие могли вволю погулять за их счет).

По мере того как наступает осознание того, в какой новой реальности мы очутились, возрастает и потребность в критическом анализе социального, политического и экономического порядка. А это значит, что марксизм сегодня необходим нам как никогда. Возвращается теория, а вместе с ней вновь становятся интересными и споры теоретиков. В настоящей книге я старался быть по возможности объективен. Читатель, конечно, сам сделает выводы относительно того, кто был прав в той или иной дискуссии. Другое дело, что моя претензия на объективность относительна. Я все-таки не сторонний наблюдатель. Как и всякий, кто вовлечен в обсуждение общественных вопросов, я имею собственное мнение и вряд ли смогу его скрывать, даже если хотел бы этого. Потому меньше всего автор данного текста претендует на то, чтобы выступить в качестве единственного и всеобщего источника. Чем больше книг будет прочитано, чем

больше читателей пожелает самостоятельно разобраться в сущности теории, тем лучше.

Томас Гоббс говорил, что, если бы геометрические аксиомы затрагивали политические интересы людей, они бы ожесточенно оспаривались. Эта фраза, которую позднее повторял Ленин, великолепно выявляет важнейшую «проблему» марксизма: теория «виновата» в том, что затрагивает людские интересы. Но именно в этом ее сила и ее значение.

Глава 1

Классический марксизм

Что такое классический марксизм? Чем он отличается от неомарксизма? Где и когда произошел перелом, отделяющий классический марксизм от его современных интерпретаций?

Когда мы говорим «классический марксизм», мы прежде всего имеем в виду разработанную Марксом концепцию общественного развития. Маркс понимал историю как детерминированный или, пользуясь его собственными словами, естественный процесс. Это концепция, в основе которой лежат представления о связи между экономической организацией общества и его социальной структурой. Но для Маркса очевидно, что экономические порядки, как и соответствующие им политические и социальные институты меняются. Сама по себе экономика вовсе не представляет собой нечто раз и навсегда данное. Правила игры меняются в зависимости от того, как сложились общественные отношения. Следовательно, законы, по которым живет система, меняются в зависимости от того, как она устроена.

Собственно, именно эта мысль Маркса, казалось бы, такая простая и элементарная, делает его теорию абсолютно неприемлемой для либерального сознания. Маркс заявил, что капитализм историчен. Он имеет начало, можно проследить его истоки. Значит, он будет иметь и конец.

Либеральная трактовка капиталистической системы исходила из прямо противоположной посылки. С точки зрения либералов, есть некие общие экономические законы, которые так же незыблемы и абсолютны, как и законы природы. Рынок, частная собственность, денежные отношения столь же естественны, как, скажем, инстинкт самосохранения или законы гравитации. Вся проблема общества состоит в том, что люди не до конца понимают эти изначальные экономические законы. Капиталистическая система в силу этого видится просто естественным состоянием человечества, другое дело, что ему почему-то всегда угрожают какие-то внешние силы (бюрократия, социалисты, популизм и т. д.).

Напротив, по Марксу, тут нет ничего извечного. Экономика есть система общественных отношений, которые постоянно меняются. Если капитализм — лишь одна из форм развития человеческого общества, порожден-

ная какими-то определенными силами, определенной динамикой формирования, то дальнейшее развитие этих процессов на определенном этапе повлечет за собой отрицание данной формы организации общества. Мысль очень простая, логичная и, в общем, немножко банальная. Ведь тезис — все, что имеет начало, имеет конец — нельзя сказать, что невероятно оригинален. И тем не менее данный тезис как раз наиболее яростно отрицается. Часто — не впрямую. Ведь невозможно сказать: «нет, у капитализма есть начало, но не будет конца». Это была бы немного странная полемика, потому что она проходит как бы мимо ключевого тезиса. Но на самом деле, если посмотреть глубже, то во времена Маркса просветительское представление об источниках формирования капитализма было совершенно иным. Если читать Адама Смита или Локка, то приходит на ум, что есть некоторые естественные законы развития экономики и ее функционирования, которые одинаковы что для Древнего Египта, что для современной Америки, что для Советского Союза. И они так же абсолютно неизменны, как законы природы. Капитализм есть лишь наиболее полное понимание человечеством этих законов. То есть проблема не в том, как развивается общество, а в том, насколько люди правильно понимают эти законы и действуют в соответствии с ними. Тогда общество достигает такого идеального состояния, которое, естественно, больше не будет никогда меняться, поскольку вот эти абсолютные законы в полной мере человечеством приняты. Свобода ведь, как известно, это «осознанная необходимость». Экономическая история есть не более чем история того, как человечество приходило к пониманию и выполнению данных «естественных» законов. С того момента, как либеральные нормы оказываются познаны и признаны история и эволюция хозяйственной системы прекращается.

Государство и общество постоянно вмешиваются в экономический процесс, но по большей части это вмешательство вредно, ибо лишь искажает некий «нормальный» ход вещей. Вообще слово «нормальный» очень важно для либерализма, особенно — российского. Здесь обязательно присутствует представление о том, что в социальном мире существует какая-то обязательная «норма» и всё, что от неё отличается — аномалия, если не преступление. Другой вопрос, что «норма» определяется достаточно произвольно. Это своего рода аксиома, за которой, как мы увидим далее, стоят специфические социальные интересы. Но именно данные интересы и должны быть скрыты общими постулатами о «норме» и «естественном» порядке. А задача политика состоит в том, чтобы соблюдать и оберегать естественные законы, сформулированные в либеральной теории.

Марксизм часто обвиняют в излишнем детерминизме, в недооценке роли личности, в стремлении свести все многообразие исторической жизни к жестко предопределенному процессу. Но на самом деле именно либерализм представляет собой концепцию супердетерминистскую, в тысячу раз более детерминистскую, чем любые представления марксизма. Ведь мар-

ксистский детерминизм исходит из меняющейся и подвижной системы, из закономерностей, которые развиваются. Одно порождает другое, люди постоянно ограничены в своих действиях, в своих возможностях, но эти ограничения тоже меняются, их можно на определенном этапе истории и в определенные моменты преодолевать. Поэтому люди сами творят свою историю, другое дело, что творят не как попало, а на основе этих же закономерностей. И закономерности в значительной мере тоже творимы, и не отдельным человеком, а обществом. Конечно, есть ограничения естественного порядка, в том плане, что действительно Земля вращается вокруг Солнца, что есть законы гравитации, но они находятся вне общества в строгом смысле слова. Детерминизм либеральный же гораздо жестче. Он не предполагает возможности в обществе создать для себя какие-то правила игры, какие-то формы организации, кроме тех, которые даны откуда-то извне, якобы «объективно». Они имеют мистическую «природную» сущность, а потому не могут ни оспариваться, ни обсуждаться.

Поставив под сомнение этот тезис, Маркс стал революционером.

1. Личность и способ производства

На протяжении XX в. сторонников коммунистической идеи постоянно обвиняли в утопизме и в стремлении построить некое идеальное общество. При этом упускается из виду, что сама либеральная доктрина предполагает, что идеальное общество уже построено. Другое дело, что оно полно проблем и недостатков, но все эти проблемы и недостатки не имеют никакого отношения к сущности капиталистического порядка. Эта сущность непобедима и вечна. Система непреодолимо хороша, только люди её постоянно подводят.

Маркс далеко не сразу стал социалистом. Его критика капитализма начинается с того, что он пытается понять, как система работает на практике. Он обнаруживает, что изучаемые им экономические отношения XIX в. разительно отличаются от порядка, царившего за несколько столетий до того. Причем тот старый порядок в свою эпоху работал ничуть не хуже нового, только по своим собственным законам.

Социально-экономические системы историчны. Но что заставляет их сменять друг друга? Если нет какого-то общего абсолютного закона, о котором говорят либеральные учителя, значит, ответ нужно искать в самом процессе развития, в том, как эволюционируют и видоизменяются элементы общественного строя.

Именно подобная простая мысль сделала Маркса, с точки зрения идеологов капитализма, самым страшным врагом системы и самым подрывным из всех многочисленных теоретиков последних двух веков. Другое дело, что далеко не все поняли и усвоили, о чем идет речь. Очень часто

экономический детерминизм понимают в том смысле, что люди действуют в соответствии со своими материальными интересами. Но мы прекрасно знаем и имеем множество примеров того, что люди действуют и вопреки собственной выгоде. Тем более что ориентация людей на личную выгоду сама по себе и есть важнейшее психологическое следствие капитализма. Мы живем в обществе, где достижение материального успеха поощряется. Оно не только приемлемо, но само по себе является ценностью. Им принято гордиться. Если бы мы жили, например, в одной из древнехристианских общин или в отрезанном от рынка патриархальном племени, отношение к личному успеху было бы совершенно иным.

Итак, речь идет об экономических отношениях, а не об экономических интересах. Новаторство Маркса именно в этом. Что касается связи между поступками людей и материальными интересами, то ее прекрасно осознавали еще древние греки, не говоря уже о мыслителях итальянского Возрождения. Для английских либеральных мыслителей XVII–XVIII вв. борьба экономических интересов есть нечто само собой разумеющееся. Потому-то в политической системе и придумывают всевозможные комбинации сдержек и противовесов, которые должны защитить один частный интерес от другого.

В 1960-е гг. Эрих Фромм, один из теоретиков Франкфуртской школы, опубликовал ставшую классической работу «Марксова концепция человека», где великолепно показал, что Маркс понимал зависимость личности от экономики гораздо глубже. Даже при капитализме, с его культом материальной выгоды, личный интерес далеко не всегда определяет человеческие поступки. Но люди отнюдь не свободны от системы. Их психология, их культура, само их представление о том, в чем состоит их интерес, формируется обществом. А структура общества в конечном счете определяется тем, что Маркс назвал способом производства.

Для Маркса не слишком интересна конкурентная борьба индивидов и корпораций в буржуазном обществе. Ему интересно другое: почему этот экономический интерес становится столь доминирующим именно при капитализме? Почему появляется именно такой человек, такой тип личности? Почему французские дворяне убивали друг друга ради чести, а ковбои Дикого Запада — ради денег?

Каждое общество формирует собственного человека (в этом смысле коммунистический *homo soveticus* так же органичен, как и буржуазный *homo economicus*, — каждый тип отражает определенную систему сложившихся норм и правил).

Вопрос не может быть сведен и к различию эпох. В одну и ту же эпоху могут сосуществовать разные человеческие типы. Кстати, именно это различие позволяет одним людям манипулировать другими (если бы все мыслили одинаково, политические манипуляции были бы невозможны). Выразительным примером являются уже Крестовые походы. С одной стороны, мы видим четкий коммерческий интерес венецианцев, у которых уже

формируется торговый капитализм. Им нужно проложить торговую дорогу, их мало волнует Гроб Господень, они зарабатывают деньги. А рядом масса рыцарей, которая тоже не прочь пограбить неверных, но все же искренне и глубоко религиозная. Невозможно понять Крестовые походы просто как замаскированную идеологией коммерческую операцию. Но с точки зрения венецианских судовладельцев, это так и есть. В итоге Четвертый крестовый поход оборачивается против значительной части самих участников — вместо борьбы с неверными он оканчивается завоеванием православного Константинополя. Социальные группы, опирающиеся на более развитые буржуазные отношения, были в состоянии манипулировать отсталой массой.

Аналогичную манипуляцию мы могли наблюдать в конце советской эпохи, когда элиты, явно намеренные разворачивать страну в капитализм, уверенно вели за собой миллионы советских людей, которым от подобного поворота ничего, кроме неприятностей, ждать не приходилось. Но представители бюрократической и интеллектуальной элиты, так или иначе уже встроенные в международные процессы, владевшие необходимыми знаниями и связями, обладали огромным преимуществом. Они понимали, что такое капитализм, а послушно идущая за ними толпа — нет. Первые были уже отчасти буржуазны, по крайней мере — они уже обуржуазились. Вторые — нет. Именно то, что советский человек в массе своей был совершенно не буржуазен, совершенно не готов к капитализму, создало практически идеальные политические условия для реставрации капитализма в СССР.

Представьте себе, что вам предлагают приставить к виску заряженный пистолет и нажать спусковой крючок. Понятное дело, вы откажетесь. Но если вы никогда не видели пистолета и даже не знаете, что это такое, — тогда почему бы и не попробовать?

Вернемся, однако, к способу производства. О чем идет речь? У нас есть определенные технологии, определенные ресурсы — орудия и средства производства. В зависимости от того, с чем мы имеем дело, разными будут и организация труда, и система управления, и социальная иерархия, которая над всем этим надстраивается. У нас есть работники, которые обеспечивают безбедное существование элиты. Но в одном случае этот труженик будет свободным общинником, подчиненным государственному чиновнику, в другом — рабом, в третьем — крепостным крестьянином, в четвертом — свободным наемным рабочим и так далее. В каждом из перечисленных случаев у трудящегося изымается прибавочный продукт (иначе элита не могла бы заниматься управлением, писать стихи, вести войны, исследовать мироздание). Но способ, которым этот продукт будет изъят, меняется от раза к разу.

Маркс не отрицает то, что изъятие прибавочного продукта в принципе необходимо. Ведь если весь продукт будет распределяться и тут же потребляться, то невозможно накопление, невозможно расширенное воспроизводство, нельзя будет создавать новое оборудование. Часть произведенного продукта должна быть изъята у непосредственного производителя,

иначе он просто его проест. Именно в этом логическое оправдание элит перед историей: они управляют процессом перераспределения ресурсов.

Индустриальное развитие было бы невозможно без достаточно массивного изъятия прибавочного продукта у производителя. Нужно обеспечить накопление средств, нужны конструкторские разработки, нужны не только новые машины, но и соответствующая инфраструктура, не говоря уже о подготовке кадров. Если же мы имеем традиционное аграрное общество, то можно просто проесть все, что вырастет, отложив лишь небольшое количество зерна для нового посева. Хотя еще библейский Иосиф обнаружил, что так поступать нельзя, нужно создавать стратегические запасы.

Иосиф был чем-то вроде министра экономики у фараона и, безусловно, оказался выдающимся менеджером. Гениальным образом он доказал фараону, что кошмарный сон правителя про тучных и тощих коров предвещал семь неурожайных лет после семи хороших урожаев. Фараон поверил, наделил Иосифа чрезвычайными полномочиями, и тот принялся систематически изымать и складировать зерно.

Легко догадаться, что рыночными методами он бы ничего не добился. Зерно просто не отдали бы: у города и государства не было товаров, которые можно было бы через рынок обменять на зерно, тем более при условии, что это продовольствие годами никто не тронет.

Значит, прибавочный продукт могло изъять только государство — принудительно и централизованно. Власть здесь выступает определенным гарантом стабильности экономической системы и выживания общества в целом. Одновременно она формирует свою иерархическую систему. Надо содержать чиновников, вести учет, наладить работу складов и последующее централизованное распределение. Это разительно отличается от того, что мы находим в западном капитализме, даже — в самых ранних его стадиях.

Маркс называл это азиатским способом производства. Данный термин впоследствии подвергался критике. Но сейчас для нас важна не терминология, а суть вопроса. Мы видим, что аграрные технологии, производительные силы, которые имелись в Древнем Египте, предопределяли совершенно другое поведение участников экономического процесса, чем, например, несколько столетий спустя — в Древнем Риме. Соответственно, другими получались социальная иерархия, структура власти, идеология и культура.

Отсюда следует достаточно принципиальный для классического марксизма вывод о том, что изъятие прибавочного продукта является необходимой формой любого сложного иерархического общества, по крайней мере до тех пор, пока мы не сможем прорваться к качественно новой форме организации человеческого существования. В этом состоит эксплуатация трудящихся. Но каждое общество изымает этот продукт другим способом. В одном обществе продукт можно просто отнять, можно трудящихся обло-

жить налогом в пользу правителя (и у вас получится пресловутый азиатский способ производства), а можно заставить делать отработки в пользу хозяина земли (и получится феодальная система). Можно заставить людей работать бесплатно. И это не обязательно будет рабовладельческий строй. Вот в России 1990-х гг. можно было не платить зарплату месяцами, хотя рабство официально провозглашено не было. Капитализм принципиально отличается от других форм эксплуатации тем, что обеспечивает изъятие прибавочного продукта на основе свободного найма, то есть это происходит через денежную систему, через отношения заработной платы. Говоря языком политической экономии, изымается уже не прибавочный продукт как таковой, а изымается прибавочная стоимость.

Это принципиальное отличие капитализма. Если я вырастил часть зерна, а потом у меня какую-то часть забрали, для этого не нужны отношения найма, достаточно существования государственного налога либо феодального принуждения. Если речь идет об изъятии именно прибавочной стоимости, отношения совершенно другие, потому что рабочие, которые производят, грубо говоря, швейные машинки, сами их употребить не в состоянии. Рабочему такое количество машинок, которое он может произвести, самому не нужно. В 1990-е гг., когда зарплату рабочим начали выдавать натурой, произведенным продуктом, это оказалось для трудящихся катастрофой. Ну, что вы будете делать с несколькими сотнями фарфоровых тарелок? Или с башенным краном (а был и такой случай оплаты труда)? Один раз на Украине рабочим в качестве платы за труд выдали гробы. Вещь, конечно, необходимая, но это не самая срочная потребность...

Отношения капиталистической эксплуатации — это отношения денежные. Они построены именно на приоритете заработной платы, когда рабочему оплачивают фактически стоимость воспроизводства его рабочей силы. То есть зарплата есть цена рабочей силы. Заработная плата определяется не количеством и качеством произведенного продукта на самом деле, не затратами труда (хотя порой она связана с производительностью сотрудника), а прежде всего стоимостью производства рабочей силы. Иногда — с индивидуальной «ценностью» конкретного работника для хозяина. С этой точки зрения, кстати, нет ничего несправедливого, когда топ-менеджеру платят за легкий труд в офисе денег в сотни раз больше, чем рабочему, стоящему у станка или на буровой. Менеджеру же нужно приходить в офис в дорогом костюме с галстуком от Пьера Кардена и приезжать в контору на «Мерседесе». А какой прок на буровой от «Мерседеса» и карденовского галстука? То, что может казаться вопиющей несправедливостью с точки зрения этики рабочего класса, является совершенно справедливым и правильным с точки зрения внутренней логики капиталистической системы. Другой вопрос, что, как мы уже видели, данная логика не является единственно возможной.

2. Капитализм

Для Маркса совершенно очевидно, что капитализм — это не просто система, основанная на частной собственности. Это система, которая основана на определенном типе частной собственности и на определенном типе отношений собственника и наемного работника. Частная собственность была уже до капитализма и, быть может, в какой-то форме переживет капитализм. Когда говорится, что частная собственность и капитализм суть одно и то же, это мало похоже на взгляд Маркса.

Итак, дело не только в форме собственности, но во всей системе общественных отношений, частью которых являются и отношения собственности. Докапиталистические системы имели частную собственность, не имея капитализма. Но именно капитализм возводит частную собственность в абсолют, превращает ее в основополагающий экономический принцип и тесно связывает с рынком. Речь идет не об юридической фиксации того, что конкретный предмет принадлежит конкретному лицу. Речь идет о системе общественных отношений. И эти отношения при капитализме иные, чем, например, при феодализме. Собственность превращается в капитал. Это уже не просто накопленные деньги, а деньги, которые работают, инвестируются. В свою очередь, любые материальные ценности, оборудование, даже люди ценны ровно в той мере, в какой они могут приумножать капитал. Причем приумножение капитала может происходить безо всякого материального прироста. Если акции на бирже подорожали, значит, капитал приумножился, даже в том случае, когда в строй не введено ни одного нового предприятия, не запущено ни одного нового механизма и не внедрено ни одной новой технологии. Точно так же биржевой крах является системной катастрофой значительно большей по своим экономическим последствиям, чем любые цунами и землетрясения, хотя физически ничто не разрушено.

То же относится и к рынку. Слово говорит само за себя — оно достаточно древнее. Но рынок был не более чем местом (и методом) обмена одних товаров на другие. А при капитализме рынок становится универсальным отношением, фундаментальным принципом и в конце концов — идеологией. Товаром становится то, что раньше им не было. Капитал осваивает все новые сферы жизни, превращая их в сферу рынка, превращая в товар то, что им раньше не было. Самое главное, что свободный труд становится товаром. Это принципиальная, революционная новация капитализма: с одной стороны, работник лично свободен, а с другой стороны, человек на рынке труда является товаром.

Сочетание частной собственности и рыночных методов организации обмена с наемным трудом есть важнейший признак капитализма. А с другой стороны, формируется рынок капитала. Иными словами, рынок становится общим принципом организации всех экономических процессов на разных уровнях, а не просто регулятором обмена.

Механизм функционирования этой системы описан Марксом в «Капитале». В руках собственников находятся орудия и средства производства — заводские здания, станки, сырье. Но далеко не это главное. Если нет денег, если деньги не превращены в капитал, то есть не инвестированы в экономику, все это превращается в бессмысленную груду предметов. Именно обладая капиталом, предприниматель может не только приобрести новое оборудование, новое сырье, новые технологии. Главное, он может заставить работника трудиться на себя. В обмен на заработную плату трудящийся предоставляет капиталисту власть над собой. Разумеется — только в пределах рабочего времени. Он «продает» свою способность к труду. Это и есть эксплуатация.

Стоимость рабочей силы — количество средств, необходимое рабочему, чтобы поддерживать себя. Чем сложнее труд, тем дороже рабочая сила. Хотя на практике цена непременно отклоняется от стоимости. Это уже вопрос конъюнктуры, торга. Или борьбы.

Люди начинают подчиняться законам рынка. Они конкурируют друг с другом. Продавая свою способность к труду, они в какой-то мере отчуждают собственную личность. Ведь делать предстоит не то, что хочется, а то, что приказывают. Но в этот труд, в эти усилия все равно приходится вкладывать свою волю, знания, опыт. В общем, частицу своей души. Капиталист совершенно не похож на Мефистофеля из «Легенды о Докторе Фаусте», но, видимо, не случайно легенда об ученом муже, продавшем душу черту, появилась именно на заре капитализма. Разница лишь в том, что сделка с Мефистофелем — навсегда, а сделка с капиталистом — на несколько часов в день. Но, увы, человек и за эти несколько часов может так выложиться, что труд начинает поглощать всю его личность, все его силы.

Естественно, продукция, которую производит работник, реализуется на рынке. Этой продукции оказывается достаточно, чтобы обеспечить не только заработную плату, но и накопление капитала. То, что идет на покрытие заработной платы, — необходимый продукт. Все остальное — прибавочный продукт, остающийся в руках предпринимателя. Все предельно просто и с точки зрения данной системы справедливо. Но на определенном этапе истории может сложиться другая система.

3. Классы

Жан-Поль Сартр как-то сказал, что марксизм есть просто адекватное понимание логики капитализма. В этом смысле теория Маркса актуальна ровно столько времени, сколько существует капитализм. И напротив, любые попытки преодолеть марксизм, оставить его в прошлом проваливаются до тех пор, пока буржуазная система остается неколебима.

Однако Маркс не сводил задачи теории к описанию механизма, лежащего в основе системы. Раз экономика неотделима от общества, значит, социальные процессы имеют решающее значение для ее развития. Не толь-

ко эксплуатация рабочего капиталистом, но и сопротивление рабочих является естественной частью этого процесса.

Отсюда другая важнейшая сторона марксизма. Это теория социальных классов.

С точки зрения Маркса, класс представляет собой своеобразную проекцию экономической структуры в социальную сферу. Какая будет экономическая структура общества, такая будет и социальная структура общества. Но в социальной сфере есть и собственная динамика. Общественная система опирается на экономическую, позволяет ее воспроизводить и поддерживать. Но время от времени в обществе происходят потрясения и революции, меняющие логику системы.

Маркс назвал систему экономических отношений базисом общественной системы, а политические, культурные, идеологические институты — надстройкой. Эта терминология легла в основу многочисленных советских учебников, хотя сам Маркс о базисе и надстройке упоминает между делом, скорее — в качестве иллюстрации для непонятливого читателя: «экономическая структура общества каждой данной эпохи образует ту реальную основу, которой и объясняется в конечном счете вся надстройка, состоящая из правовых и политических учреждений, равно как и из религиозных, философских и иных воззрений каждого данного исторического периода»¹.

Итак, социальная система есть проекция системы экономической, а политическая система должна быть адекватна системе социальной. В противном случае общество становится неуправляемым. Другое дело, что любая система имеет свою инерцию. Но в то же время она находится в развитии, и развитие это сложное. Экономическая система живет по своей логике, периодически требуя изменения всех остальных систем, но все остальные системы тоже живут своей жизнью, в них идут свои процессы воспроизводства и развития, которые могут не на сто процентов совпадать с импульсами, идущими от экономики. В обществе возникает проблема согласования этих процессов.

Можно привести два очень простых примера. Один классический, связанный с Великой французской революцией. На протяжении двух столетий аристократия постепенно утрачивала экономическое влияние, а буржуазия приобретала. Монархия пыталась решать проблему за счет продажи титулов, привлечения в ряды дворянства выходцев из рядов буржуа (например, исторический Шарль д'Артаньян, прототип героя Александра Дюма, был выходцем из семьи торговцев, купивших дворянский титул). Но в конечном счете политическая система перестала справляться с накапливаемыми переменами, а буржуазия уже не удовлетворялась подачками со стороны монархии, ей нужно было менять всю систему институтов. Все кончилось революцией.

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 19. С. 208.

А противоположный пример мы можем наблюдать на собственном опыте. В 1990-е гг. реставрация капитализма сопровождалась разрушением созданных в СССР производительных сил. В процессе разгосударствления значительная часть научного и технологического потенциала страны была уничтожена, а экономика становилась сырьевой и полуколониальной. Но система образования отличается крайней инерционностью, она продолжала готовить кадры как ни в чем не бывало. В итоге Россия получила гораздо больше специалистов, чем могла переварить. Наше образование продолжало готовить кадры уже для всего мира. Началась массовая эмиграция. Тем не менее уровень квалификации и образования рабочей силы в разы превышал потребности деградировавшей экономики. Эта чересчур образованная и слишком квалифицированная рабочая сила начала представлять опасность для системы. Власти пришлось начинать в 2004–2005 гг. реформу образования. Главная ее цель заключалась в том, чтобы максимально снизить эффективность этой системы, понизить уровень знаний, которыми располагает население. Но это, в свою очередь, спровоцировало политический кризис. Вопрос не был решен. Противоречия продолжали накапливаться, а система образования — деградировать. Причем даже в своей деградировавшей форме она оставалась слишком передовой для того общества, в котором работала. Перед правительством стояла задача, как одновременно понизить количество образованных людей и качество их подготовки. Поэтому в 2008–2009 гг. был введен Единый государственный экзамен, резко меняющий систему критериев образования, а в 2010 г. начата была реформа финансирования общественного сектора, ведущая к финансовому банкротству и закрытию значительной части образовательных и культурных учреждений. Всё это отражало не злой умысел правителей, а системную потребность сырьевой экономики.

Накопление противоречий и рассогласований в системе заставляет вспомнить диалектику Гегеля: происходит переход количества в качество, возникает качественно новая ситуация, затем — кризис, революция, потрясение и т. д. После очередной кризисной встряски в обществе устанавливается новое равновесие. Все подсистемы более или менее становятся адекватны друг другу. Тогда мы на какое-то время обретаем устойчивое общество. Но оно не стоит на месте. Оно развивается, и, естественно, этот процесс порождает новые противоречия. В итоге мы получаем новые кризисы и т. д. Причем первоисточником развития, экономического движения в капиталистической системе, по Марксу, является рост производительных сил. Вот здесь Маркс действительно абсолютный новатор, он первым в мировой экономической науке ставит вопрос о развитии и смене технологий. В сущности, XX в. со всеми своими теориями технологических революций ничего принципиально нового здесь не добавил. Идеи Маркса лишь пересказывались каждый раз на новый лад с использованием меняющихся терминов. То, что сейчас называют модным словом «технологии», у Маркса включается в понятие «производительных сил».

Маркс — современник первой индустриальной революции в викторианской Англии. Он видит, как внедрение новых машин радикальным образом меняет экономическую систему, меняет характер функционирования английского капитализма. Все происходит у него на глазах: рынок труда меняется, отношения труда и капитала меняются, рынок капитала трансформируется радикальным образом, мировой рынок тоже начинает меняться, соотношения между странами на этом мировом рынке претерпевают изменения и т. д.

Маркс ищет причины этого и находит их в промышленной революции. Отсюда своего рода технологический детерминизм. Иными словами, производительные силы определяют производственные отношения. Переход от аграрного производства к промышленному дал Марксу огромное количество материала. Если технологическая организация общества основана на традиционном сельском хозяйстве (будь то Древний Египет или современная Марксу Индия), кому нужна развитая система биржевой спекуляции? Чем вы будете спекулировать на бирже? Даже купец, торгующий зерном, не будет нуждаться в бирже, он будет доставлять зерно в город и там продавать. Фараон и махараджа не нуждаются в услугах финансового посредника. Совсем другое дело — торговый капитализм XVII–XVIII вв., не говоря уж об индустриальном капитализме XIX–XX вв. Производительные силы индустриального капитализма требуют гораздо более высокого накопления капитала, воспроизводство рабочей силы стоит дороже. Роль денег меняется.

Впрочем, дело не только в усовершенствовании оборудования. Часто считают, будто более сложные машины нуждаются в более квалифицированном работнике, но это не всегда так. Переход к паровой машине в XIX в. привел к тому, что квалификация ремесленных рабочих обесценилась. Их сложный и в значительной мере творческий труд заменили простейшими операциями, которые могли выполнить даже дети (отсюда и массовая эксплуатация несовершеннолетних в викторианской Англии). В конце XX в. происходило то же самое — внедрение электроники было ударом именно по квалифицированным рабочим. А примитивный неквалифицированный труд зачастую сочетался в технологической цепочке с самыми передовыми компьютерами (именно потому начинается масштабный перенос производства в развивающиеся страны, где опять, как в Англии времен Маркса и Диккенса, эксплуатируют детей).

Машина подчиняет себе человека, превращает его в свой придаток, заставляет личность деградировать. Но Маркс прекрасно понимает, что дело не в машине самой по себе, а в социальных отношениях, в обществе, которое эту машину внедряет.

Английские рабочие XVIII в. делали сложнейшие операции, это были высококвалифицированные специалисты, приходилось платить высокую зарплату, давать большие отпуска. Буржуазная революция была еще и народной революцией, то есть рабочие в ходе сражений английской буржу-

азной революции и последующей борьбы с Францией очень многого добились. Была очень хорошо организована система гильдий, предшествовавшая профсоюзам, система, которая достаточно эффективно и справедливо для того времени распределяла ресурсы в обществе. Рабочему требовалось много лет, чтобы получить необходимую квалификацию. Просто так выкинуть его на улицу было невозможно, потому что замену найти было непросто, тем более что технология часто была уникальна, она оказывалась привязана к человеку. В каком-то смысле это была более гуманная система, чем та, которая пришла ей на смену.

Именно из-за высокой цены рабочей силы в Англии начала XIX в. предпринимателей так вдохновили паровые машины и другие новшества индустриальной революции. Точно так же и в конце XX в. технологическая революция помогла предпринимателям подорвать рабочее движение.

Технологические перемены делают возможными социальные изменения в обществе. Но и эти перемены происходят не сами собой, они порождены общественными потребностями, предшествующим социально-экономическим развитием и не в последнюю очередь соотношением сил между конфликтующими группами людей. Вот эти группы Маркс и назвал классами.

Термин «класс» можно найти уже у античных мыслителей. Но теории социальных классов до Маркса не существовало. Он трактует классы как большие группы людей, которые отличаются своим местом в общественном разделении труда в экономической системе. Но надо сказать, что четкого определения класса нигде у Маркса нет. То есть теория есть, а исходного определения нет. Маркс исходил из того, что читателю все должно быть понятно по ходу анализа. Автор «Капитала» прожил почти всю жизнь в Англии, а английская традиция вообще не требовала таких жестких, четких дефиниций, как в немецкой философии. Главное было, чтобы читатель понял, о чем идет речь.

Классическое определение дал Ленин много лет спустя, причем в самом неожиданном месте. Он писал статью про первый субботник, про то, что группа рабочих в выходной день добровольно пошла чинить какой-то паровоз... и вдруг написал определение того, что такое социальный класс в марксистской теории. Вот оно: «Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформленному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы — это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд другой благодаря различию их места в определенном укладе общественного хозяйства»².

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 39. С. 15.

Судя по всему, Ленин над этой формулировкой много лет думал, она ему сразу не давалась. Он искал подходящие слова, не находил. Ленин как мыслитель формировался под влиянием немецкой традиции, он искал четких и ясных определений. Эта идея его явно преследует... годами. И вдруг он пишет совершенно случайную статью... И вот оно! Нашел! Естественно, чтобы не забыть, он совершенно не к месту вписывает это в статью о паровозе. Так случайный журналистский материал становится социологической классикой.

Классы устойчивы, а значит, перед нами массы людей, у которых есть стабильный общий интерес, они вырабатывают свою идеологию и культуру. Здесь мы обнаруживаем, кстати говоря, некоторую логическую такую лагуну в классическом марксизме, которую впоследствии начинает заполнять Макс Вебер, причем довольно успешно. Ведь, с одной стороны, Маркс определяет классы прежде всего экономически, то есть через общественное разделение труда, но есть же и другие стороны классового бытия. Ими автор «Капитала» интересуется гораздо меньше. А между тем напрашивается вопрос: какова внутренняя природа и структура того или иного класса? Как класс внутри себя функционирует в качестве социальной и социокультурной общности? Об этом у Маркса очень мало. Вебер начинает там, где Маркс останавливается, он пишет свою знаменитую работу про протестантизм и дух капитализма. В идеологическом плане пафос Вебера направлен против Маркса: он хочет сформулировать собственную классовую теорию, альтернативную марксизму. Но при этом все равно он принужден опираться на исходные концепции, выработанные марксизмом. В итоге он Маркса не столько опровергает, сколько дополняет. Он рассматривает логику самовоспроизводства класса, показывает, как вырабатываемая коллективно культура стабилизирует социальную группу. Но экономическая природа класса все равно определяется способом производства, общественным разделением труда. Если основные экономические отношения изменяются, класс уходит в прошлое, оставляя нам лишь памятники своей истории и культуры — как патриции Древнего Рима.

Когда молодые Маркс и Энгельс писали «Коммунистический манифест», они жестко заявили, что вся история человечества была историей борьбы классов, но в более зрелом возрасте они формулировали свои мысли более осторожно. Они говорили о не до конца сложившихся классах, о сословиях, которые еще не стали классами. Далеко не всякая социальная группа, даже господствующая, формируется в полноценный класс. Энгельс, например, писал про Германию времен Реформации, что в ней классы еще не сложились. Но даже если в обществе нет развитой системы классов, есть господствующие социальные слои, и есть те, кто им подчинены. Государство с помощью организованного насилия, принуждения, воспитания поддерживает установившийся порядок.

Особенность капитализма в том, что он не может обходиться без классов. Точно так же, как отношения собственности, найма, купли-продажи

требуют недвусмысленной определенности, так и классовая система делается стройной и устойчивой. Власть капитала не может быть магической. Она основана не на мистическом знании, не на божественной воле и даже не на праве рождения. То, что капитал может быть передан по наследству, — не главное. Место человека в обществе определяется четко и однозначно его экономическим положением, его доступом к капиталу. Социальная иерархия капитализма приобретает всегда и неизбежно форму именно классовой иерархии.

Два основных класса в капиталистической системе Маркс определяет как буржуазию и пролетариат. С буржуазией все понятно. Это класс частных собственников, причем не вообще любых собственников, а тех, у кого в руках оказывается капитал. Позаимствованное из античности понятие «пролетариат» часто употребляется как синоним термина «рабочий класс». Причем в советское время его нередко трактовали как работников физического труда. Напротив, Маркс имел в виду работников наемного труда.

Впрочем, у пролетария, описываемого автором «Капитала», есть и еще одна важная особенность. Ведь наемный труд имел место и до капитализма — так же, как и частная собственность. И если настоящий буржуа — это собственник, обладающий капиталом, то настоящий пролетарий, по Марксу, — это наемный работник, производящий прибавочную стоимость.

4. Государство

Коль скоро общество разделено на классы, это не может не повлиять самым существенным образом на политические институты, идеологию и культуру. Политическая система должна соответствовать социальной системе и обеспечивать ее воспроизводство. С точки зрения классического марксизма у государственных институтов есть две задачи. Причем Маркс и Энгельс все время подчеркивали первую и часто оставляли в стороне вторую. Первая задача — это обеспечение господства правящего класса. Маркс изучал экономические процессы на примере Англии, а политические — на примере Франции. Это вполне типичный подход для XIX в. — основоположник либеральной политологии Алексис де Токвиль тоже сформулировал значительную часть своих концепций на французском материале. Франция прошла самые разные государственные формы — от республиканских до монархических, от более или менее демократического порядка до диктатуры, но, как бы ни менялся политический порядок, власть заботилась о том, чтобы защитить интересы господствующего класса. Государство, следовательно, выступает как система управления народом со стороны социальной элиты, которая при капитализме организована в форме класса. Конечно, далеко не всякое господствующее сословие становится полноценным и устойчивым классом. Но сущность государства от этого радикально не меняется.

И все же есть вторая функция политической системы, которая меньше интересует Маркса: согласование интересов через управление. О ней Маркс пишет, когда речь заходит не о европейском государстве, а о так называемом азиатском способе производства. Согласно Марксу, при азиатском способе производства классов в чистом виде вроде бы нет, но это не значит, будто все равны. Просто социальная организация тождественна политической. Здесь нет необходимости защищать и представлять через государственную машину коллективную волю правящего класса, поскольку государственный аппарат уже и есть организованный господствующий класс. Иерархия власти абсолютно тождественна социальной.

В том же Древнем Египте рабство распространено мало, пирамиды строят не рабы, а крестьяне-общинники. Буржуазии, конечно, нет, феодалов нет, класса рабовладельцев нет. Сколько ни пытались позднее советские исследователи найти класс рабовладельцев в Египте, ничего не получалось. Были рабы, но рабовладельческого класса не было, потому что основное производство не на труде рабов основывалось. Другое дело, что по отношению к государству у крестьянина никаких прав не было. Но даже если утверждать, будто все они были рабами государства, рабовладельческого общества все равно не получится. Ибо нет какого-то конкретного человека, который может их продать или купить. Но социальное разделение труда все равно есть. Вместо правящего класса мы видим правящую общность, объединенную родственными узами (знать и семья фараона), магическим знанием (жрецы), общими бюрократическими привилегиями и правилами.

Беда в том, что, с точки зрения крестьян, которые строят пирамиды, вся эта правящая общность абсолютно необходима. Крестьяне думают не о том, что у них отбирают зерно и заставляют идти на непонятные стройки, а о том, что благодаря жрецам становится точно известно, когда будет разлив Нила, что из собранного чиновниками зерна их будут подкармливать в голодный год. Государство поддерживает ирригационную систему. Короче, чиновников нужно кормить, они нужны.

Хотя именно документы Древнего Египта дают наиболее богатый материал для понимания того, что автор «Капитала» назвал азиатским способом производства, сам Маркс опирался в основном на английские исследования, сделанные в Индии. Он заметил, что европейское государство, которое не привыкло заниматься непосредственно организацией производства, приходя в Азию, разрушает веками налаженный уклад, что порождает продовольственную катастрофу. Колонизаторы пытались управлять чисто административными методами, через налогообложение, законодательство, а тем временем приходила в запустение система ирригации, начинался голод, поднимались восстания. На первых порах в Азии и понятия не имели о национализме, власть иностранных правителей была обычным делом (Великие Моголы правили в Индии, греки Птолемеи стали египетскими фараонами, османские турки руководили почти всем исламским

миром). Европейские правители на первых порах вызвали гнев азиатских подданных не своим иноземным происхождением, а нежеланием и неумением делать то, что обязано делать государство.

Для крестьянина, копошащегося в земле, нет большой разницы между английским сахибом или узбекским моголом: и те и другие — иноземцы, иноверцы. Но моголы понимали, что нужно содержать ирригационную систему в исправности, а сахибы не понимали. Они ничего не делали для сельского хозяйства, только требовали платить налоги, как в Европе, и уповали на свободный рынок. А когда возникали проблемы, пытались их решить, издавая законы, улучшая судебную систему, которая работала как в Англии. Через некоторое время народ твердо понимал, что с такой властью жить невозможно, и брался за оружие.

Однако нет основания утверждать, будто управленческая, хозяйственная функция государства существовала только на Востоке. Мы можем найти ее и в Европе, только в иных формах. Государство меньше вмешивалось в управление производственными процессами, но ему приходилось решать некоторые общие задачи, выходявшие за рамки коллективного интереса господствующего класса.

Нужно было принимать законы, которые признавались бы всеми слоями общества, бороться с преступностью, поддерживать в сносном состоянии дороги и строить порты. Зачастую все это делалось в военных целях, но неизменно имело и хозяйственное значение. Иногда боролись с голодом и даже с бедностью.

Короче, государство всегда стремилось к поддержанию некоего социального равновесия. Маркс не акцентирует этот аспект государственной жизни применительно к Европе по очень простой причине: эта тема постоянно обсуждалась его предшественниками, которые идеализировали государственную власть, видели в ней систему, способную служить общему благу.

Когда Маркс акцентирует одну сторону государства, когда он показывает, что оно является инструментом классового господства, он вступает в полемику с господствующими идеями своего времени. В XVIII в., в эпоху Просвещения, передовые мыслители доказывали, что в основе государства лежит общественный договор, что власть обеспечивает и поддерживает социальный компромисс. А когда государство начинает кого-то подавлять, склоняться в пользу какой-то одной социальной или политической группы — это нарушение общественного договора. Или этот договор неправильный, его можно сменить новым. Может быть, кто-то кого-то обманул, навязал другому свою волю?

Разумеется, не все просветители рассуждали подобным образом. Жан-Жак Руссо, самый радикальный из них, испытывал самые большие подозрения относительно государства. Но для большинства просветителей совершенно понятно, что, когда государство кого-то подавляет, это нарушение нормы, которое может быть сравнительно просто исправлено — доста-

точно только написать хорошие законы, справедливую конституцию. Маркс говорит: нет, это не так. Подавление, насилие, принуждение — это и есть функции государства.

И все же будет неверно утверждать, будто в государстве Маркс не видит ничего, кроме насилия. В конце концов, он не анархист. Именно поэтому он верит, что после будущей пролетарской революции государство сможет отмереть. Насилие, принуждение сойдет на нет, а то, что останется, уже не будет государством в привычном смысле слова. Это будет самоуправление, свободная организация свободных людей.

5. Свобода

В предшествующей Марксу философии свобода трактовалась двояко. С одной стороны — в духе Спинозы, как осознанная необходимость. Это значит, что необходимо осознать положение вещей и действовать в соответствии с ним. Но следует ли отсюда, что надо смириться с существующим порядком? Или, в духе Руссо, можно понимать свободу как власть над обстоятельствами, возможность преобразить жизнь?

Маркс парадоксальным образом принимает обе трактовки свободы. Жизнь преобразить можно, но только на основе четкого понимания ее законов. Для того чтобы что-то преобразовать, нужно сначала понять, как оно устроено. Мы должны сначала осознать нашу необходимость в свободе.

Понять порядок вещей не значит признать его. Это значит, что только теперь с ним можно эффективно бороться. Шансы на успех тоже более или менее можно оценить. Маркс уверен, что шансы в борьбе пролетариев против буржуа достаточно высоки, ибо история на их стороне. Точно так же, как развитие прежнего феодального общества создавало новые условия и новые противоречия, которые в конечном счете взорвали старый порядок и породили капитализм, так и буржуазное общество, эволюционируя, создает предпосылки для революции.

Ученики Маркса зачастую понимали этот прогноз как пророчество. Мол, капитализм обречен и социализм (или коммунизм) неизбежен. Правые социал-демократы вывели отсюда своеобразную философию бездействия. Ничего радикального, решительного предпринимать не надо, плод рано или поздно упадет вам в руки. А Г. В. Плеханов объяснял, что вера в неизбежность победы лишь подталкивает к борьбе. Тут он ссылался на кальвинистов, английских пуритан XVII столетия. Те тоже верили в предопределение, но были людьми энергичными, деятельными. Такое же отношение к истории было и в раннем коммунистическом движении — в 1920-е гг.

Но у Маркса не пророчество, а прогноз. Это не похоже на религиозный детерминизм протестантов, которые верили, будто все предопределено заранее.

Вообще, протестантская идея предопределения тесно связана с буржуазным сознанием и глубоко антигуманна. Протестант верит, что он предназначен для божественного спасения, а его недруги обречены гореть в аду.

Перуанский марксист Х. К. Мариатеги показал, что именно такая идеология дала моральное оправдание геноцида индейцев в Америке. Причем именно передовые буржуазные протестанты-ангლოსаксы вырезали индейцев практически подчистую, а более отсталые испанские конкистадоры индейцев все-таки не вырезали. Американскому фермеру не нужны были эти дикие люди, ему нужна была земля, на которой он будет вести свое передовое хозяйство. Людей нужно было убить, так как другого способа от них избавиться не было, но идеологическое оправдание было готово заранее. Раз бог не дал этим людям родиться христианами, значит, он заранее предназначил им гореть в аду. Значит, и церемониться с ними не стоит.

А отсталому испанскому конкистадору самому вести хозяйство было никак невозможно, ему нужны были феодальные крестьяне, которые за него будут работать на плантациях, в шахтах. Он должен был сохранить жизнь индейцам и эксплуатировать их. Но заодно обратить в христианство, заботиться об их душах. Тем самым контролировать их. Или сделать счастливыми. Другое дело, если они не хотят проникнуться Светом Божьим, тогда разговор будет коротким. Но шанс им дадут.

Как видим, вопрос о свободе и необходимости — вопрос не только философский. Он может для конкретных людей быть вопросом жизни и смерти. И именно потому важно понять, насколько новаторским оказалось марксистское понимание свободы. Оно оказалось настолько новаторским, что значительная часть марксистов не смогла его усвоить, вернувшись фактически к старой религиозной этике, только без веры в бога.

Маркс видит свободу в том, чтобы, опираясь на понимание действительных противоречий и проблем современности, начать осознанно творить историю. Причем это не только свобода индивидуальная, но и коллективная. Класс должен понять свои интересы. Каждый отдельный представитель класса должен понять не только свой личный интерес, но и общий интерес. С того момента, как закономерности истории становятся понятными, с того момента, как эксплуатируемые начинают понимать, как устроена система, протест против несправедливости превращается в осознанную борьбу, бунт — в революцию.

6. Революция

Почему Маркс убежден, что пролетариат станет могильщиком капитализма? Почему он считает, что классовая борьба в конце концов приведет к исчезновению любых классов?

Понятное дело, что, если капитализм не вечен, значит, он рано или поздно умрет. А раз умрет, то кто-то должен его похоронить. Но почему

именно пролетариат? И почему путем классовой борьбы? Собственно, это и есть главная тема, которой посвящен «Коммунистический манифест».

Пролетариат порожден капитализмом, но не заинтересован в существовании буржуазии, не заинтересован в существовании этой системы и может наладить производство другим способом. Тут возникает очень большая проблема, потому что Маркс нигде не пишет, каким, собственно, способом пролетариат наладит производство, после того как закопает буржуазию. Но это логично. Маркс все-таки ученый. Есть вещи, которые можно прогнозировать заранее, есть то, чего предсказать нельзя. Революция освободит миллионы людей, даст им возможность реализовать свой потенциал, свою творческую энергию. Как же мы можем сказать заранее, что они создадут? Вся суть революции именно в этом новаторстве.

Новое общество будет постепенно, в ходе своего становления, развития порождать собственные закономерности так же, как это было и с капитализмом. Он же не появился сразу в готовом виде! Нельзя писать утопию, рассказывать в подробностях про светлое будущее, это обман.

Кстати, у Маркса и Энгельса нет и полной уверенности, что будущее будет таким уж светлым. Есть удивительные места у них в переписке. Энгельс, например, писал, что когда они были молодыми, то верили, будто скоро будет революция, а следовательно, до 50–60 лет не доживем. Гильотинируют. Кто гильотинирует? Победивший пролетариат на определенном этапе революции отрежет голову собственным теоретикам? Маркс и Энгельс такой возможности не исключали. И совершенно спокойно об этом говорили. В истории всякое бывает, она для комфорта мало приспособлена...

Историю нельзя разметить наперед, как расписание поезда. Слишком детальная программа построения нового общества будет, во-первых, утопична, а во-вторых, авторитарна, будет навязывать массам волю идеологической элиты (вот за такие попытки народ и должен рубить головы интеллектуалам). Но если будущее нельзя прописать наперед, отсюда не следует, будто нельзя прогнозировать некоторые его фундаментальные характеристики, некоторые принципиальные отличия нового порядка от капитализма.

О том, чем новый порядок будет отличаться от капиталистического, можно уже говорить постольку, поскольку нам видны противоречия самого капитализма, динамика его развития. Одна тенденция — к централизации и концентрации капитала, и видно, что он выходит за пределы капитала собственно частного, приобретает непосредственно общественную функцию. Корпорация достигает таких масштабов, когда управление одним лицом в личных, частных интересах становится бессмысленным, корпорации сами начинают выступать как структуры, организующие общество в целом. Выходит, что общественные задачи решаются частными лицами, в собственных интересах.

Можно было бы предположить, что чем крупнее капитал, чем больше от него зависит, тем более он проявляет социальной ответственности. На

самом деле все происходит как раз наоборот. Капитал демонстрирует нарастающую безответственность по отношению к обществу, поскольку оно все менее способно его сдерживать и, наоборот, все больше от него зависит. Потому, с точки зрения Маркса, возникает необходимость экспроприации частного капитала. Если капитал, по сути, выполняет общественную функцию, значит, общество должно взять его в свои руки и контролировать. А контроль при капитализме неотделим от собственности. Контроль без собственности — неэффективный и безответственный контроль.

В русском переводе «Коммунистического манифеста» было написано про уничтожение частной собственности. В немецком оригинале использовалось слово *Aufhebung*, которое при желании можно было бы перевести как «преодоление, снятие». Позднее, в 1960-е гг., либерально настроенные профессора марксизма стали объяснять друг другу, что, следовательно, Маркс не был таким уж противником частной собственности. Однако упомянутая фраза в «Манифесте» — не единственная, Маркс и Энгельс говорят об экспроприации капиталистов неоднократно, и ни один серьезный исследователь не может отрицать, что они выступали за национализацию крупных компаний.

Другое дело, что Маркс прекрасно понимает: частная собственность не может быть ликвидирована вся и сразу, единовременно. То же относится и к рыночным отношениям. Это исторический процесс, который может включать в себя и сосуществование разных форм собственности. Именно поэтому Маркс, когда говорит о будущем обществе, употребляет два термина — «социализм» и «коммунизм». Социалистическое общество — это то, что возникнет в результате революции, то, что вырастает из капитализма. Оно не может не сохранять многих черт, роднящих его с предшествующей эпохой. Когда мы говорили, что рынок или даже какие-то формы частного предпринимательства могут пережить капитализм, это вполне соотносится с представлениями Маркса о социалистическом порядке. Но преодоление капитализма открывает перспективу для развития новых отношений, основанных не на купле-продаже и конкуренции, а на сотрудничестве между людьми и демократическом планировании ими общего будущего.

Что касается коммунизма, то о нем автор «Капитала» говорит крайне скупое. Получится то, что получится. Общество должно начать развиваться на новых основаниях.

Четко предсказать можно лишь первые шаги, необходимые, чтобы изменить логику развития, правила игры. Именно поэтому в том же «Коммунистическом манифесте» говорится о том, что победивший пролетариат должен национализировать определенные отрасли, а не всю экономику в целом. Позднее Ленин сформулировал это в знаменитых словах про «командные высоты».

Но о чем конкретно идет речь? Можно составить определенный список, но с течением времени он будет меняться. Вопрос не в том, сколько и каких

компаний надо национализировать в первую очередь, а в том, какова цель преобразований. А она определена достаточно четко. Экономика, ориентированная на прибыль и частный интерес, должна быть заменена системой, в которой общество само, демократически определяет приоритеты развития.

Наша либеральная интеллигенция обожала повторять фразу из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова: мол, хотят все взять и поделить. Но ведь это как раз к марксистской социалистической программе никакого отношения не имеет. Одно дело — «взять»... но про «поделить» не может быть и речи. «Взять и поделить» — это как раз суть мелкобуржуазного отношения к собственности, даже буржуазного. «Брали и делили» в России ельцинских времен, когда за несколько лет умудрились «распилить» народное достояние, создававшееся десятилетиями. Суть марксистского социализма в том, что прибавочный продукт, который раньше поступал в распоряжение частного капитала, использовался в соответствии с частным интересом, должен стать непосредственно общественным продуктом, использоваться в интересах всего общества и под демократическим контролем.

Другая проблема — как общество в целом будет этот прибавочный продукт использовать, как оно сможет демократическим путем принимать решения? Куда направить средства, что с ними делать дальше? Тут Маркс молчит. Ведь это уже не только теоретический, но и практический вопрос.

Победивший пролетариат, экспроприировав крупный капитал, создаст собственное государство, собственную демократию. В том, что это будет именно демократия, у Маркса нет никакого сомнения, ибо пролетариат, самый многочисленный общественный класс, иным способом просто не сможет организовать. Революционная власть и возьмется за решение всех проблем, связанных с формированием новых производственных отношений, будет, порой методом проб и ошибок, вырабатывать правила новой экономической организации.

Дьявол, как говорят англичане, прячется в деталях. Вопросы, оставшиеся без ответа в теоретических трудах Маркса, оказывались в центре дискуссий и политической борьбы ранних пролетарских революций. Автор «Капитала» в очередной раз оказался прав: практика революций позволила прояснить суть проблемы, сделала их конкретными, положив конец утопическим надеждам на простые решения. Но, увы, эта практика далеко не всегда была успешной. Найденные ответы далеко не всегда оказывались удовлетворительными. Революции не только побеждали, но и проигрывали. Причем победы то и дело оборачивались трагическими поражениями.

Маркс застал лишь одну пролетарскую революцию — Парижскую коммуну. В ней он увидел прообраз будущего социалистического государства, открытой демократической системы, основанной на прямом участии граждан в управлении республикой. Коммуна была терпима и благородна. Увы, это лишь приблизило ее гибель. Главные события были впереди. Вопрос о том, как будет организована и как будет функционировать революционная

власть трудящихся, оставался открытым — до тех пор пока политический опыт рабочего движения не даст достаточного материала для теории.

На этом классический марксизм заканчивается, потому что, во-первых, умирает Маркс, затем умирает Энгельс, а во-вторых, наступает время массовых рабочих партий, идеологию которых формирует поколение эпигонов в лице Карла Каутского, Эдуарда Бернштейна, Г. В. Плеханова и их учеников, которые очень хорошо прочитали, но не всегда поняли то, что написали Маркс и Энгельс.

7. Эпигоны и новаторы

Надо признать, что эпигоны были исторически необходимы для массового распространения марксистских идей в обществе. Понятно, что школьный учитель литературы, например, не обязательно должен быть Гоголем. Ему достаточно прочитать Гоголя и более или менее понятно и доходчиво изложить детям содержание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» или «Ревизора». Но беда в том, что процесс на этом не останавливается. Сначала приходят люди, которые прочитали произведения и изложили их содержание детям, а через некоторое время получаем детей, которые выросли, так и не прочитав сами книги, но лишь заучили школьные изложения, и начинают это пересказывать своим детям и т. д.

Это закономерная тенденция. Массовое распространение любой идеи сопровождается примитивизацией в грандиозных масштабах. Рубеж XIX и XX вв. внешне можно считать временем невероятного успеха марксизма. Повсюду возникают рабочие партии, принимающие идеи Маркса в качестве основы своей программы и идеологии. «Капитал» переводится на множество языков. Повсюду издаются популярные брошюры, излагающие взгляды великого философа. Профессорские кафедры, ранее высокомерно игнорировавшие его труды, теперь требуют от молодого поколения знакомства с ними как необходимого элемента теоретического образования.

Но в то же время уже к концу XIX в. мы сталкиваемся с очевидным кризисом марксизма как теоретического инструмента. Теория не может развиваться без дискуссий, без оригинальной мысли. Между тем почти вся марксистская дискуссия того времени свелась либо к пересказу тех или иных тезисов дважды, трижды, четырежды одними и теми же авторами, либо к спорам об интерпретации какого-то отдельного пассажа в «Капитале» и «Манифесте». Причем не забывайте, что к тому времени далеко не все, что написал Маркс, опубликовано (строго говоря, всё не опубликовано до сих пор). То есть автор «Капитала» уже является признанным классиком, а содержание его идей далеко не полностью ясно. Работы молодого Маркса прочно забыты, а некоторые вообще неизвестны читателю.

В безвестности остаются «Парижские рукописи» («Экономико-философские рукописи 1844 г.»). Они были обнародованы лишь в 1932 г. и сразу совершили некий переворот в теории. Когда мы говорим про марксизм 1890-х гг., надо помнить, что за его пределами остается целый ряд важнейших идей и текстов. Поэтому, кстати, некоторые идеи и тексты, формально доступные публике, остаются непонятыми. И наоборот, Маркса критикуют за то, что он не уделил внимания тем или иным проблемам, над которыми он на самом деле очень много работал, только про эти работы пока никто не знает.

Очень поучительным примером может быть молодой Николай Бердяев. В 1904–1905 гг. он как раз проходит эволюцию от марксизма к собственному довольно своеобразному христианству. Тогда появляется журнал «Проблемы жизни», в отличие от сборника «Вехи» все еще левый, но, бесспорно, не марксистский. Если мы внимательно вчитаемся в критику марксизма Бердяевым, то обнаружим, что тот ломится в открытую дверь. Его собственные идеи о проблемах самореализации личности в обществе совпадают с тезисами молодого Маркса, только автор «Парижских рукописей» гораздо основательнее и глубже понимает проблему, когда говорит об отчуждении личности при капитализме. Но Бердяева понять можно: «Парижских рукописей» он в 1904 г. не читал.

У Карла Каутского и других апостолов официального марксизма нет ничего об отчуждении, ничего о проблемах личности. Для них все сводится к эксплуатации рабочего капиталистом, к отношениям прямого подчинения одного класса другому. Социальные отношения выглядят совершенно одноплановыми, плоскими, картонными.

Такой примитивный марксизм был растиражирован учениками Каутского по всему свету. И в такой форме он был усвоен рабочим движением. Причем именно простая теория, с элементарными идеями, была важным условием пропагандистского успеха. Массы рабочих получали ответы на ключевые вопросы, волновавшие их. А тонкости теории на тот момент не имели значения.

Рабочий класс начал получать представление о своей исторической миссии, о своей задаче, о своих проблемах. Он осознал, что надо организовываться для защиты своих интересов. Он почувствовал гордость за себя. Классовое сознание приходило вместе с чтением марксистских брошюр, какими бы примитивными они ни были, с точки зрения современного интеллектуала.

Беда в том, что функциональное использование марксизма находилось в противоречии с его теоретическим развитием, более того, оно находилось в противоречии даже с задачами развития самих рабочих партий. Ведь дело не только в интеллектуальной красоте теории, в том, насколько тонко мы понимаем нюансы. Жизнь меняется, теория должна анализировать ее и давать ответы на все новые и новые вопросы. А картонная теория для такого дела непригодна.

Рабочие партии в ходе своего существования порождают новую политическую практику, появляются новые проблемы. Слова, написанные Марксом тридцать, сорок, пятьдесят лет назад, не помогают.

Тысячи членов социал-демократических партий в Западной Европе уже вовлечены в ежедневную политическую борьбу. Многие из них заседают в парламентах, в муниципалитетах. Их уже приглашают участвовать в правительстве. Как быть в подобной ситуации? Про это в «Капитале» ничего не написано.

8. Бернштейн

Первая попытка самокритики марксизма была предпринята Эдуардом Бернштейном. Она получила название «ревизионизма». Дело в том, что Бернштейн исходил из очень простой методики. Термин «ревизия» относится по части бухгалтерского дела. Мы пришли на склад, осмотрели вещи, обнаружили, что есть в наличии, чего нет. Что пригодно к использованию, а что вышло из строя.

Бернштейн относится к марксизму как к такому же складу готовой продукции, только идеологической. Вот то, что написал Маркс, а вот то, что мы видим сегодня. Естественно, мы видим чисто механические несовпадения. Берем баланс и смотрим. Ненужное списываем, нужное оставляем. Бернштейн совершенно не склонен к сложным теоретическим построениям, у него вообще нет никакого анализа. Он не задается вопросом, а что же произошло, почему та или иная идея сейчас не работает. Просто не работает, и все. Значит, надо списать.

На деле в теории все взаимосвязано. Если какой-то ее элемент не работает, недостаточно это просто констатировать. Надо разобраться — почему? Какие отсюда выводы можно сделать по отношению к другим аспектам теории? Почему у меня не сходятся концы с концами и какие должны быть проделаны операции, чтобы все это сошлось?!

Ключевым для Бернштейна оказывается тезис Маркса об абсолютном и относительном обнищании пролетариата. Автор «Капитала» пишет, что буржуазия нуждается в постоянном выкачивании прибавочной стоимости, а рост заработной платы этому противоречит. Внедрение более современных машин приводит к росту затрат на основной капитал. Но именно эксплуатация человеческого труда, по Марксу, приносит прибавочный продукт. Значит, по мере развития конкуренции, по мере того как производство модернизируется, норма прибыли будет падать. Проблема не в объемах прибыли, потому что обороты будут расти, но норма прибыли падает. Чтобы компенсировать такое падение прибыли, буржуазия должна постоянно увеличивать эксплуатацию труда. Для того чтобы капитал сохранял свои прибыли, он должен снижать заработную плату.

Забегая вперед, скажу, что данная схема абсолютно верна — исторически и математически, но с двумя поправками, которые Маркс в конце жизни сам и сделал. Первая поправка состоит в том, что описанный цикл относится к периодам технологической стабильности. Тенденция нормы прибыли к понижению очень заметна в условиях стабильного рынка. Но если в экономике неожиданно появляется новая отрасль на основе принципиально новой технологии, на первом этапе прибыли там зашкаливают. Все остальные отрасли как бы платят дань новаторам. Это то же самое, что вспахивать целину, собирать первый урожай. Лишь потом, когда отрасль стабилизируется, когда развитие технологии становится уже не революционным, а эволюционным, конкуренция возрастает, рынок насыщается, норма прибыли начинает снижаться. Мы недавно видели это на примере компьютерной индустрии, мобильных телефонов, Интернета.

То же самое относится к завоеванию новых рынков. Когда колонизаторы приходят в варварские страны, еще не знающие капитализма, свободного рынка и либерализма, прибыли на первых порах собирают запредельные. Но потом аборигены привыкают жить по буржуазным правилам. Спрос на бусы и другие блестящие украшения несколько падает. Опять же всего десятилетие назад мы наблюдали, как капиталистический рынок захватывал бывшие коммунистические страны, так называемые возникающие рынки (*emerging markets*). Таких прибылей, как в начале 1990-х, десятилетие спустя уже сделать было нельзя.

Сейчас, когда собран большой массив статистики, мы видим, что стабильные периоды развития оказываются временем снижающихся прибылей. Именно поэтому на определенном этапе капитал начинает отчаянно искать новые рынки или создавать новые товары.

Другой аспект проблемы, который видит уже сам Маркс, состоит в том, что способность буржуазии снижать заработную плату не беспредельна. Она ограничена не только физическими условиями выживания рабочего, но и уровнем организованности и боеспособности рабочего движения. Маркс называет это политэкономией рабочего класса. Рабочие организации не дают буржуазии возможности принимать односторонние решения. Появляются профсоюзы, социалистические партии, появляются новые законы (начиная с фабричного законодательства в викторианской Англии, которое Маркс очень высоко оценивал).

Эпоха Бернштейна была как раз таким временем, когда, с одной стороны, мы видим завоевание колоний, появление новых отраслей (электротехника, автомобили, аэропланы, радио, первые телефоны) и т. д., а с другой стороны, налицо мощный подъем социал-демократического и профсоюзного движения. Однако Бернштейн не анализирует всех этих обстоятельств. Он лишь говорит: норма прибыли не падает, а уровень жизни рабочих повышается. А раз это так (тут у него есть конкретные факты), значит, данный раздел теории устарел. Выкинем его.

Раз пролетарии живут лучше, значит, происходит скорее не движение к революции, а наоборот, движение к компромиссу. Ведь чем сильнее рабочее движение, тем больше оно способно добиться от буржуа выгодного компромисса, тем меньше необходимости в революции. Кстати, справедливости ради надо отметить, Бернштейн не говорит, что революция не нужна, он не утверждает, будто революция никогда не произойдет, он просто решает закрыть эту дискуссию. Будет происходить какой-то процесс, а как он пойдет, скоро увидим. Главное, у нас есть интересы рабочей партии, и мы будем защищать эти интересы сегодня, сейчас.

Легко заметить, что здесь Бернштейн начинает с того самого места, на котором Маркс остановился. Но не для того, чтобы идти дальше в теоретическом осмыслении рабочего движения и его роли в истории, а для того, чтобы вообще никуда не идти. Он, фактически, отменяет теорию. Марксизм сработал, сделал свое дело, выполнил свою задачу, теперь он больше не нужен, а нужно, чтобы зарплату хорошую платили. Это очень немецкое понимание классовой борьбы.

С точки зрения последующих поколений левых, это и есть главная угроза. Ведь Бернштейн не просто рассуждает о политике, он опирается на определенные настроения, которые в рабочей среде реально существуют. И эти настроения на протяжении XX в. на Западе будут, к ужасу левых идеологов, нарастать. В 1960-е гг. радикальные студенты будут говорить — рабочих подкупили, они продали первородство за чечевичную похлебку!

Хотя, если бы марксисты начала XX в. лучше читали Маркса, они заметили бы, что автор «Коммунистического манифеста» объясняет революционность пролетариата не бедностью, а положением наемного работника в системе капиталистических производственных отношений. Иными словами, даже если рабочего удастся замирить, подкупить, создать ему достойные условия существования и выработать хороший политический компромисс, он, пролетарий, все равно остается опасным классом, все равно продолжает представлять угрозу для системы. И он по-прежнему готов выступить если и не убийцей капитала, то уж могильщиком в любом случае.

Воззрения Бернштейна не могли не вызвать возмущения у большинства марксистов. С этого момента ученики Маркса раскалываются на ревизионистов и ортодоксов. Первые поддерживают Бернштейна, вторые его осуждают. Ко второй группе относятся Каутский и Плеханов. К ним примыкают и молодые революционеры с Востока — В. И. Ленин, Ю. О. Мартов и Роза Люксембург. Однако если мы внимательно приглядимся к ходу полемики, то заметим, что Ленин и Роза Люксембург критикуют Бернштейна не так, как их старшие товарищи. Для старшего поколения достаточно защиты ортодоксии. Для молодых — нет. Они пытаются дать собственные оригинальные ответы на вопросы, поднятые Бернштейном.

9. Ленин

Ленин выступал, с одной стороны, как последовательный ортодоксальный марксист, а с другой стороны — ставил проблемы, о которых другие ортодоксальные марксисты предпочитали не задумываться. Его ответ ревизионизму — это развитие теории. Другое дело, что взгляды Ленина отнюдь не возникают сразу в готовом виде, как Афина из головы Зевса. Он находится в поиске, постепенно нащупывая не только новые ответы, но порой и новые вопросы. К тому же, его взгляды эволюционируют (не только вследствие теоретических размышлений, но и под воздействием собственного политического опыта). Ранний Ленин 1900-х гг., например, сильно отличается от лидера партии большевиков в 1917–1920 гг.

В отличие от своих предшественников, взгляды которых формировались под влиянием западноевропейского опыта, Ленин столкнулся с проблемой экономического и политического кризиса в отсталой стране.

Первый русский марксист Г. В. Плеханов к идеям Маркса приобщился уже на Западе, причем теории русских социалистов своего времени он отверг как отсталые и провинциальные. Ленин тоже не разделяет взгляды социалистов-народников относительно особого пути России. Но, отвергая их теории, он понимает необходимость собственного марксистского ответа на те же вопросы.

Маркс анализировал опыт передовой страны — Англии. В «Капитале» он пишет, что передовая страна показывает более отсталой картину ее собственного будущего. Для Плеханова на этом вся дискуссия заканчивается: Россия через десять-двадцать лет повторит путь Англии и Германии.

На самом деле Маркс в последние годы жизни начал пересматривать свои взгляды на проблему отсталости. До конца разобраться в его взглядах по этому вопросу мы сможем лишь после того, как будут опубликованы его поздние записи и наброски. Автор «Капитала» приходит к выводу о том, что траектория развития капитализма в отсталых странах оказывается иной, чем на Западе. Он пишет об этом Вере Засулич. Русские народники трактуют это как свою победу, а ортодоксальные марксисты из круга Плеханова отказываются печатать это письмо, прячут его несколько лет, пока, наконец, оно не публикуется в народническом журнале.

Но дело не в том, что думал по тому или иному вопросу сам Маркс. Про его поздние записи Ленин не знает. В молодости он рассуждает примерно так же, как и его учителя — Плеханов, Каутский. Но он не просто ученый муж, пишущий теоретические статьи в эмиграции. Он революционер, озабоченный созданием сильной политической организации. Он видит, что революция надвигается, и он намерен вместе со своими товарищами принять в ней самое деятельное участие. Значит, теоретические вопросы — в точном соответствии с заветами Маркса — становятся для него практическими. И рассматриваются уже по-другому.

У Ленина ключевые вопросы — политические.

По существу, большая часть ленинской мысли относится к сфере политологии. Даже когда он, создавая теорию империализма, затрагивает экономические вопросы, для него особенно важны политические выводы, которые следуют из экономического анализа.

Ленин пытается выработать политическую теорию марксизма. Причем эта теория в известном смысле — прикладная. Она ориентирована на решение конкретных проблем, в конкретной специфической ситуации. Но при этом Ленин — не прагматик. Он подходит к практическому вопросу как к серьезной теоретической проблеме. Он рассматривает его в контексте накопленного прошлого опыта и пытается формулировать ответ таким образом, чтобы можно было сделать выводы на будущее.

Именно поэтому Ленин, хоть и не был мыслителем такого масштаба, как Маркс, в области политической теории — безусловно фигура выдающаяся, по-своему уникальная и, как мы увидим позднее, трагическая.

Ключевые вопросы для Ленина — партия, государство, отношение масс с государством, правящими классами и со своими лидерами в процессе политической борьбы. Ленину приходится обдумывать национальный вопрос — и позднее решать его на практике в качестве лидера многонациональной страны. Он открывает дискуссию по темам, которые раньше вообще не обсуждались, его полемика бывает грубой, некорректной, у него начисто отсутствует уважение к оппоненту (даже когда речь идет о людях, с которыми его многое связывает, как в случае Мартова). Но именно благодаря его выступлениям марксизм снова становится живой динамичной системой, где идут споры, пусть и не очень вежливые, идут реальные дискуссии.

Критикуя Бернштейна, Ленин прекрасно понимает, что речь идет не просто о теоретических ошибках одного лица. И тем более — не о предательстве (сам Бернштейн был человек исключительно порядочный и по-своему принципиальный). Значит, определенные процессы происходят с западным рабочим классом и с европейским капитализмом. Общество действительно изменилось по сравнению с временами Маркса. Но Ленин, в отличие от Бернштейна, не просто констатирует перемены и ссылается на несколько лежащих на поверхности фактов. Он пытается понять глубинные механизмы превращения того капитализма, что описал автор «Капитала», в нечто другое, новое. Так появляется у него теория империализма. Он обнаруживает неравномерность развития различных стран, показывает, что эксплуатация колониальных обществ позволяет капиталу смягчить противоречия в наиболее передовых государствах. А отсюда с неизбежностью следует, что весь революционный процесс, да и история в целом, пойдут не так, как прогнозировали марксисты конца XIX в.

Еще один вопрос, который остро стоит перед Лениным и на который он не находит ответа в работах Маркса, — вопрос о крестьянстве. Ленин

живет в крестьянской стране, одновременно пытаюсь построить в ней рабочую партию. Ему нужна марксистская социология крестьянства, а такой нет. Здесь у Ленина больше вопросов, чем ответов. Но политическая реальность заставляет его формулировать проблемы — ответы будут давать уже другие марксисты, в других странах.

10. Россия

Если оценивать деятельность Ленина по достигнутым им политическим результатам, то перед нами, разумеется, история успеха. Другой вопрос — был ли это тот самый успех, к которому он изначально стремился. Победа над противниками была достигнута, но весьма дорогой ценой.

О том, что русская революция будет драматичной и кровавой, многие догадывались еще задолго до того, как рухнул царский режим. Энгельс несколько раз делал весьма мрачные пророчества по поводу будущего революции в России. И Маркс, и Энгельс подозревали, что нечто весьма драматичное произойдет в России либо в конце XIX в., либо в начале XX, но обязательно произойдет.

Вплоть до конца 1850-х гг. Россия представлялась Марксу оплотом реакции, причем реакции тотальной. Она казалась ему страной, где царский режим настолько успешно вытоптал все ростки свободомыслия, что даже его оппоненты являются плотью от плоти такого же насквозь консервативного, неспособного к демократической самоорганизации общества. Отсюда, кстати, упорная и несправедливая неприязнь Маркса к Герцену.

Казалось бы, из всех русских мыслителей того времени Герцен ближе всего к Марксу, он тоже социалист, тоже материалист, тоже сформировался под влиянием философии Гегеля. А Маркс пишет о нем с нескрываемой злобой. Обычно эту неприязнь Маркса к Герцену объясняют чисто личными причинами. Иногда ссылаются на то, что Марксу была присуща известная доля русофобии. Действительно, западная и радикальная, и либеральная интеллигенция в Западной Европе очень сочувствует полякам и не любит Российскую империю (кстати, сами русские радикалы тех лет настроены точно так же). Еще говорили, будто Марксу наклеветали на Герцена, что виной всему дружба Герцена с Прудоном. И тем не менее в отношении Маркса к Герцену есть какой-то иррациональный страх. Его пугает то, что среди русских появились социалисты. У него есть ничем не обоснованное, нечетко сформулированное опасение, что в России может произойти какое-то противоестественное скрещивание социалистических идей с имперской идеологией.

Кроме того, Маркс и Энгельс могли наблюдать за деятельностью первых русских революционных организаций. И то, что они видели, не вызывало у них энтузиазма. Энгельс пишет, что в России действительно зреет революция, но может случиться, что революция произойдет раньше,

чем капитализм там полностью сложится. А с другой стороны, эпоха классических буржуазных революций уже миновала.

В России уже возникает промышленность, пролетариат. Короче, социальная ситуация совершенно не такая, как, допустим, во Франции времен Великой революции. Легко предположить, что именно пролетариат, как наиболее революционный класс, окажется главной силой, ломающей старый порядок. Но поскольку пролетариат слаб и малочислен, он не сможет удержать власть, более того, он обречен будет принести себя в жертву процессу, который не он будет контролировать.

В другом месте тот же Энгельс неожиданно и пророчески начинает размышлять о диктатуре партии. Если рабочий класс слаб, власть класса превращается во власть партии, а сама партия становится авторитарной. Это будет не диктатура пролетариата, а диктатура партии. В конце концов диктатура одной партии обернется господством одного лидера, диктатурой одного лица не только над пролетариатом, но и над самой партией.

Подобные замечания, брошенные между делом, свидетельствуют о том, что Маркс и Энгельс уже начинали осознавать авторитарные опасности, заложенные в самом рабочем движении, чувствовали, что многие угрозы для революции скрываются в ней самой, в ее собственных противоречиях. Но это всего лишь теоретические догадки, причем не первого плана. К концу жизни Маркс, напротив, увлекся Россией, обнаружил мощный потенциал революционных перемен, назревающих в этой стране.

А для Ленина революция из теории превратилась в практику. То, что для Маркса и Энгельса было потенциальными угрозами и возможностями, стало реальностью. И готовых решений не было. Учебники Каутского и Плеханова оказались совершенно непригодны. Ленин обречен был руководить революцией, которая развивалась в условиях распада многонациональной империи, на фоне поражения в мировой войне. Он должен был создавать рабочую партию, оказавшуюся, в отличие от Западной Европы, партией меньшинства. Он должен был пройти через раскол и создать собственную организацию, жившую в иных условиях, нежели западная социал-демократия, а потому и существенно от нее отличающуюся.

Раскол русской социал-демократии на большевиков Ленина и меньшевиков Мартова стал началом размежевания между коммунистическим и социал-демократическим движениями. Но даже для самого Ленина подобная оценка оказалась возможна лишь задним числом, после Первой мировой войны и взятия власти большевиками в 1917 г. На первых порах это не было даже расколом между левым и правым крылом партии — часть меньшевиков придерживалась вполне революционных взглядов. Принципиальный раскол произошел между теми, кто, следуя за Лениным, готов был принять на себя риск борьбы за власть, теми, кто ответил на вызов истории и совершил рывок в неизвестное, и теми, кто отказался от этого вызова, спрятавшись за учебники, написанные Плехановым и Каутским.

Итогом революции, победившей в отсталой стране, оказалась та самая диктатура передового меньшинства, которую не раз критиковали марксисты. Западноевропейские социал-демократы и меньшевики справедливо осуждали отсутствие демократии и отступление большевиков от тех или иных тезисов марксизма. Но события развивались не по воле одного человека или даже одной партии. И сам Ленин, и его товарищи были уже заложниками революционного процесса, двигавшегося вперед по собственной логике. Для того чтобы побеждать в начавшейся борьбе, им приходилось делать, то, чего они сами от себя не ожидали, строить государство, которое лишь частично отвечало их представлениям о том, к чему надо стремиться, но которое позволяло революции выживать и побеждать.

А между тем новые государственные структуры, новый аппарат управления, порожденный потрясениями Гражданской войны, массы новых членов партии, пришедших в ее ряды уже после завоевания власти, — все это влияло на идеологию и политику. Победившая власть формировала собственную идеологию, это была уже идеология государства, а не класса. Внутренние противоречия этого государства породили новые вспышки политической и идейной борьбы — уже после смерти Ленина.

Итогом этой борьбы стало превращение марксизма в официальную идеологию возникшего на руинах царской империи Советского Союза. После смерти Ленина марксизм дополняется ленинизмом.

11. Ленинизм

Сразу же после смерти Ленина партийные лидеры взялись за обобщение и систематизацию его теоретического наследия. Можно сказать, что Сталин, Бухарин и Зиновьев были по отношению к Ленину тем же, что Каутский, Плеханов и ранний Бернштейн по отношению к Марксу. Было, однако, и существенное отличие. Борьба вокруг интерпретации идей Ленина оказывалась одновременно борьбой за власть.

Термин «ленинизм» появился уже во внутрипартийной полемике 1900-х гг., причем меньшевики употребляли его как ругательство. Зиновьев был первым, кто после смерти революционного лидера начал говорить о ленинизме. Именно Зиновьеву поручено было написать официальную статью о ленинизме в Большой советской энциклопедии. Однако цельной концепции он не выдвинул, ограничившись мыслью о том, что ленинизм не является ни рецептом построения социализма в одной отдельно взятой стране (камень в огород Н. И. Бухарина), ни разновидностью теории перманентной революции (булыжник в огород Л. Д. Троцкого).

Политическое падение Зиновьева и Каменева сопровождалось их официальной дискредитацией в качестве теоретиков. Это не означает, однако, будто все их идеи были отвергнуты. Впоследствии существовало совер-

шенно ложное представление о соперничавших лидерах большевистской партии как представителях несовместимых идейных тенденций. Внимательное чтение текстов показывает, что это не совсем так. Они не случайно состояли в одной партии. Многое из того, что писали Зиновьев и Каменев, не говоря уже о Бухарине, нашло продолжение у Сталина.

Следует сказать, что в становлении советского марксизма Николай Иванович Бухарин сыграл даже более заметную роль, нежели Сталин. Задним числом, когда Бухарина объявили врагом народа и расстреляли, его перестали называть по имени и прямо цитировать. А вот теоретические его построения продолжали работать во всех советских учебниках. Порой даже прямые цитаты из Бухарина без указания авторства воспроизводились составителями официальных книг, которые уже не знали, откуда они заимствуют фрагменты своего текста.

Прототипом всех этих учебников была книга Бухарина «Исторический материализм». Этот учебник был под запретом в советское время, но вот в чем парадокс: его запрещали не потому, что читатель мог там узнать что-то крамольное, а из-за того, что, ознакомившись с ним, читатель безошибочно понимал, насколько решающей была роль Бухарина в формировании официальной идеологической доктрины.

Все учебники по историческому материализму на протяжении многих лет фразами, абзацами продолжали переписывать учебник Бухарина. А ведь именно про Бухарина Ленин сказал, что тот никогда не учился, никогда не понимал диалектики.

Официальную версию новой идеологии Сталин сформулировал в «Вопросах ленинизма». По его определению, ленинизм есть «марксизм эпохи империализма и пролетарской революции. Точнее: ленинизм есть теория и тактика пролетарской революции вообще, теория и тактика диктатуры пролетариата в особенности»³.

Надо сказать, что сделанный Сталиным акцент на тактическую сторону ленинской мысли очень важен. Во-первых, потому, что Ленин действительно был не только виртуозным политическим тактиком, но и первым марксистским мыслителем, который поставил тактические проблемы политики на теоретическом уровне. А во-вторых, потому, что прагматичному Сталину именно тактические уроки Ленина были особенно важны. Иными аспектами ленинского опыта он мог и пренебречь, но не этими.

Ключевая работа Сталина — «Об основах ленинизма» представляет собой достаточно добросовестное и систематичное изложение взглядов Ленина по ключевым идеологическим проблемам: о стихийной борьбе и партийной организации, о революционном государстве и диктатуре пролетариата, по крестьянскому вопросу, по национальному вопросу и т. д. Однако, как уже говорилось, Сталин не первый, кто берется за подобную

³ Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М.: ОГИЗ. 1947. С. 106.

систематизацию. Из работ Зиновьева к Сталину пришла трактовка ленинизма как марксизма эпохи империализма и пролетарских революций, от Бухарина — попытка увязать идеи Ленина и теорию построения социализма в отдельно взятой стране.

Тезис о построении социализма в одной отдельно взятой стране считался основным достижением Сталина. Надо сказать, что вождь советского народа здесь скромно ссылался на Ленина, мысли которого он развивает. В действительности у Ленина нет ни строчки о построении социализма в одной отдельной стране. Но справедливости ради надо сказать, что в конце жизни Ленина эта проблема перед ним уже стояла. В самом деле, что делать с итогами русской революции? Не отказываться же от ее завоеваний из-за того, что немецкий пролетариат потерпел поражение?

Для Сталина вопрос о победе социализма был решен к середине 1930-х гг. Раз уничтожена буржуазия и старые эксплуататорские классы, значит, социализм победил полностью. Понятие о социализме здесь формируется от противного: раз нет капитализма, значит, торжествует социализм. Но эта победа не окончательна до тех пор, пока существует опасность военного поражения СССР, — в этом случае капитализм может быть реставрирован, принесен в Россию на штыках завоевателей и интервентов. В 1945 г., после победы во Второй мировой войне, официальная советская идеология провозглашает: социализм победил полностью и окончательно.

В 1970-е гг. левые диссиденты упорно пытались оспорить эту формулу. Последующие события сделали дискуссию бессмысленной. Никакой окончательной, да и полной победы социализма в СССР не было. Капитализм был восстановлен, причем не в результате военного поражения и иноземной оккупации. Советский строй разрушился под воздействием собственных противоречий.

12. Советский марксизм

Будучи прагматиком, Сталин понимал теорию прежде всего как политический инструмент. Несомненно, теория должна служить практике, иначе она просто не нужна. Но со времени Сталина теоретические построения уже не служили практике, а обслуживали ее. Если для Ленина каждый практический, тактический вопрос приобретает теоретический смысл, то для Сталина, наоборот, любая теоретическая проблема значима прежде всего в связи с конкретной политической практикой. Иными словами, задача теоретиков состояла в том, чтобы задним числом найти обоснование политическим решениям, принимаемым руководством.

Идеологический контроль подразумевал прекращение дискуссий по важнейшим вопросам. На самом деле теоретическая дискуссия в СССР никогда не была удушена полностью, быть может, кроме самых страшных

лет сталинского периода. Какие могли быть теоретические дискуссии в разгар репрессий 1937 г. или же в 1951 г., когда ловили безродных космополитов? Но все-таки даже в сталинские времена споры были. И не случайно Сталину пришлось несколько раз выступать со статьями, которые должны были подвести итог обсуждению тех или иных вопросов представителями официального академического марксизма.

Главная беда советского марксизма была, таким образом, все же не в отсутствии разных точек зрения, а в той форме, в какой эти точки зрения могли формулироваться и высказываться.

Марксизм, превратившийся в марксизм-ленинизм, является официальной и, что особенно важно, священной доктриной советского государства. Понятно, что подобную доктрину нельзя критиковать или исправлять — это само по себе становится покушением на основы политического порядка. Не менее существенно, что священную доктрину нельзя и дополнять. Нельзя же, например, дописывать главы к Евангелию!

Это значит, что даже новации, которые принципиально не шли вразрез с доктринами официального марксизма-ленинизма, воспринимались крайне негативно. В результате возникла теоретическая культура средневекового типа, когда автор, пытавшийся обосновать какой-либо тезис, не только не претендовал на творческое открытие, но, напротив, пытался доказать, что ничего нового он не придумал, а лишь вычитал нужную мысль в трудах классиков. Цитата превращалась в аргумент научного спора (причем темой была отнюдь не обязательно интерпретация текста «отцов-основателей»).

С другой стороны, идеи и высказывания Маркса или Ленина, которые противоречили официальной линии, принятой на данный момент, становились ужасно опасными, тщательно замалчивались. А совершенно немарксистские идейные построения могли быть успешно обнародованы и приняты в научный обиход при условии, что они будут украшены правильным набором цитат.

Можно предположить, что смерть Сталина откроет новые перспективы для развития теоретической мысли в СССР. На деле, однако, все получилось совсем наоборот.

В сакральной системе советской идеологии Сталин был одним из ключевых пророков. Это давало ему право на новаторство. Верными или нет были теоретические построения Сталина — вопрос другой. Важно то, что он один мог себе позволить оригинальные мысли.

После того как XX съезд партии посмертно низверг культ Сталина, идеология не стала менее сакральной. Но ни одного живого вождя, имеющего статус пророка, а следовательно — права на развитие идеологии, больше не было. Это значило, что официальный марксизм-ленинизм должен был законсервироваться или даже мумифицироваться в той окончательной форме, которой он достиг к марту 1953 г.

Идеологическая система получает стройность и цельность. Но из нее постепенно уходит жизнь. Определена система канонов, определены методы интерпретации (как выяснилось, не самые лучшие). Минимальный уровень марксистской теоретической культуры был достигнут миллионами людей, но обеспечен он ценой повсеместной вульгаризации теоретического знания.

13. Западный марксизм

С 1920-х гг. начинается размежевание между советским марксизмом и западным. Отныне большая часть дискуссий происходит на Западе, здесь же рождаются новые марксистские идеи, здесь же они оспариваются. Марксистская мысль, как и любая другая, нуждается в политической свободе.

К тем же 1920-м гг. относится и рубеж, отделяющий классический и ортодоксальный марксизм от того, что обобщенно принято называть неомарксизмом, или современным марксизмом.

Причем событием, определившим этот рубеж, стала публикация забытой работы самого Карла Маркса, «Парижских рукописей 1844 г.».

Произошло это в 1932 г. Гитлер приходил к власти в Германии, социал-демократы уезжали в эмиграцию и вывозили архивы. Им принадлежал и архив Маркса, но в сложившихся условиях хранить его становилось накладно. Архив купили советские товарищи, вывезли его в Москву. Ранее неизвестные материалы становятся доступны исследователям. Одной из первых публикаций оказались «Рукописи 1844 г.».

Это было подобно разорвавшейся бомбе. Обнаруживается, что у Маркса есть совсем другой критерий оценки экономических и социальных систем, кроме тех, которые описаны в «Капитале». Речь идет об отчуждении личности, о новом понимании свободы, не просто формальной свободы индивидуума, а свободы реализации своих человеческих и творческих возможностей в той или иной общественной системе.

В Советском Союзе рукописи опубликовали — и ничего. Даже не включили в Собрание сочинений. Включили в сборник «Из ранних произведений». Во втором издании Собрания сочинений «Парижские рукописи» все же вышли, но почему-то не в первых томах, как следовало бы по хронологии, а в одном из последних томов.

Напротив, на Западе начинается дискуссия. Одним из первых выступает социолог из Франкфурта Герберт Маркузе. Он работает во Франкфуртском институте социальных исследований, коллектив которого увлекался работами Зигмунда Фрейда.

Надо сказать, что ученикам Фрейда сильно не повезло со страной, где родились. И особенно не повезло с происхождением: они почти все были немецкими евреями. Выходцы из немецкой мелкобуржуазной среды, они изначально

были склонны к критике системы, восприимчивы к новым идеям. Марксизм и фрейдизм были двумя теориями, захватившими воображение радикальной интеллигенции. Даже ученик весьма консервативного экзистенциалиста Мартина Хайдеггера, Герберт Маркузе, перешел к марксофрейдистам.

В Австрии тоже фрейдизм и марксизм были чрезвычайно популярны в среде еврейской интеллигенции. Здесь сказалась и атмосфера Вены начала XX в. Это был космополитический город, но в очень большой степени еврейский город. Культура Вены делалась очень в значительной степени именно евреями. В Германии мы тоже можем видеть заметную роль еврейской интеллигенции в левой среде 1920-х гг., хотя такого значения, как в Вене, еврейская среда здесь уже не имела: Бертольт Брехт, например, был вполне чистокровным немцем.

Так или иначе, нетрудно догадаться, что фрейдизм, как «еврейская» теория, должен был оказаться под запретом в гитлеровском Третьем рейхе. Франкфуртский институт должен был перебраться в Америку. Уже в 1932 г. институт в полном составе сразу переехал в Нью-Йорк. «Франкфуртцы» создали в Нью-Йорке Новую школу социальных наук, которая действует до сих пор.

Это была попытка привить в Америке определенные европейские стандарты гуманитарного образования, более широкий подход, меньший акцент на специализацию. В США, если человек специалист по русской литературе, то скорее всего Шекспира он не читал. Франкфуртская школа приехала в Америку не просто как группа марксистов, но еще и как представители европейской традиции в образовании. Поэтому они оказали столь сильное влияние на следующее поколение интеллектуалов в Америке. Они многих учили, они формировали новую базу образования, задавали стандарты, которые отличались от традиционных. Среди учеников Маркузе, например, была, небезызвестная Анджела Дэвис, впоследствии ставшая самым популярным из лидеров американской компартии. Современному поколению молодых людей имя Анджелы Дэвис скорее всего ничего не говорит. Но те, кто жил в СССР в начале 1970-х, несомненно, помнят лозунг «Свободу Анджеле Дэвис!». Эта темнокожая интеллектуалка, коммунистка была брошена в тюрьму по ложным обвинениям. Пока она сидела за решеткой, советских граждан выводили на митинги протеста. Правда, вскоре после освобождения она покинула компартию. Для радикальных молодых людей в Америке 1960-х гг. имя Анджелы Дэвис тоже много значило.

Уже в начале 1930-х гг., когда публикуются рукописи Маркса, Маркузе обнаруживает, что вопросы, волновавшие молодого Маркса, во многом совпадают с темами, обсуждаемыми среди учеников Фрейда. Так на скрещении традиций марксизма и фрейдизма начинается формирование Франкфуртской школы.

И метод анализа, и постановка вопроса, и даже тематика исследования у «франкфуртцев» разительно отличается от того, что было привычным для

классического марксизма. Их волнует психология коллектива и личности, причем, когда они говорят об индивидуальном сознании, их интересует то, как общество формирует или деформирует личность. Когда они говорят о политических партиях, о власти, их тоже интересует массовое сознание, кто и как им манипулирует, как формируются коллективные иллюзии и как они преодолеваются. Причем не в последнюю очередь «франкфуртцев» интересует то, насколько сознание людей зависит от их экономического положения, от принадлежности к тому или иному классу. В сущности, «франкфуртцы» начинают создавать марксистскую социальную психологию, но этим они не ограничиваются, их работы оказали огромное влияние на всю современную социологию, причем не только марксистскую.

Но западный марксизм — это не только Франкфуртская школа. Сюда же надо отнести и философские работы Ж.-П. Сартра, пришедшего к марксизму от экзистенциализма, и поздние работы Льва Троцкого, не говоря уже о его многочисленных учениках, «Тюремные тетради» Антонио Грамши, Дьердя Лукача и многих других.

Можно ли в таком случае говорить о западном марксизме как едином целом? Думаю, что можно. Ибо, несмотря на серьезные различия между этими теоретиками и школами, у них есть и целый ряд общих черт.

Что характеризует западный марксизм?

Прежде всего, произошедшее в конце 1920-х — начале 1930-х гг. размежевание между политическим и академическим марксизмом. До сих пор ведущие теоретики неизменно имели отношение к политическим организациям рабочего класса. Они занимали позиции во внутрипартийных дебатах. Даже если они не возглавляли партии, как Ленин, они имели прямое влияние на их деятельность.

Теперь ситуация радикально меняется. Формально политические партии все еще ссылаются на марксизм, но на практике ни социал-демократы, ни коммунисты не проявляют особого интереса к теории, а уж тем более — к теоретикам. Социал-демократы по факту становились бернштейнианцами, хотя идеи Эдуарда Бернштейна никогда не были признаны их официальной идеологией. Более того, его долгое время по инерции продолжали осуждать.

Но Бернштейн, как говорят англичане, вытащил кота из мешка. То есть он высказал то, что говорить не полагалось. Что теория, в сущности, не нужна. Ни один ответственный политический лидер такое в социал-демократии 1920-х гг. не решился бы сказать публично. Впоследствии, уже после Второй мировой войны, об этом стали говорить уже открыто. Но не в 1920-е гг. Культура рабочего движения формировалась на марксизме, обучение кадров было основано на том, что люди должны усвоить какой-то набор марксистских тезисов. Потому теорию нельзя было отвергнуть публично. Ее просто забывают, потому что руководству она не нужна. Для принятия политических решений не надо читать книги по истории классового сознания.

Коммунистические партии в 1930-е гг., в отличие от социал-демократов, провозглашают культ идеологии. Но новая теория им тоже не слишком нужна. Во-первых, внутренние конфликты, происходящие в СССР, воспроизводятся в западных партиях. В результате партии систематически очищаются от инакомыслящих, культура дискуссии умирает.

А с другой стороны, спорить особенно не о чем. Готовая теория уже есть, единственно верная. В случае чего, советские товарищи дадут новые политические и идеологические установки. Для развития теории есть в далекой Москве товарищ Сталин или еще кто-то, кому положено этим заниматься.

Если советский официальный марксизм мумифицирует теорию, то идеологи компартий Запада лишь копируют то, что говорят и пишут в Москве. Это напоминает знаменитую формулу Платона про «отражение отражения». Какие-то бледные тени.

Западный марксизм, отвергнутый политическими партиями, уходит в академическое «гетто». Соответственно, дискуссия из сферы политической переходит в сферу академическую. Дебаты между политическими идеологами и вождями масс сменяются полемикой среди интеллектуалов. Это первая и, увы, очень важная особенность западного марксизма. Вторая особенность западного марксизма — сосуществование нескольких теоретических школ, находящихся в постоянной дискуссии между собой, явно различающихся, но постоянно влияющих друг на друга. Формируется единое теоретическое поле. Последователям Грамши невозможно не знать, в чем состоят идеи Троцкого, Маркузе или Сартра. Образованный марксист должен был быть знаком с работами Лукача. Школы находятся во взаимодействии друг с другом. Люди друг друга читают, где-то полемизируют, а где-то соглашались, порой просто принимают к сведению, поскольку разные школы развивают различную тематику. Здесь различие не обязательно означает конфликт, противостояние, соперничество. Разнообразие школ очень конструктивно. Можно сказать, что они дополняют друг друга. Специфика школ — выделение определенной тематики как центральной. Хотя противоречия и разногласия имеют место, и не только между школами, но и внутри их. Зачастую дискуссии внутри школы могут быть более острыми, чем между школами. Маркузе очень критически относится к Эриху Фромму, хотя оба принадлежат к «франкфуртцам». Про троцкистов я уже и не говорю.

Перечисляя направления западного марксизма, можно выделить несколько наиболее заметных. Начать можно с троцкизма, поскольку логика политической борьбы заставила последователей Льва Троцкого достаточно жестко обособиться, противопоставив себя как социал-демократии, так и коммунистическим (сталинистским) партиям. К тому же, троцкизм в наибольшей степени пытался сохранять традицию именно классического марксизма, в том числе и ориентацию на связь теории с политическим действием, — другое дело, что при отсутствии массовой политической организации это порой приводило к карикатурным результатам.

14. Троцкизм

Основанный Троцким IV Интернационал начал распадаться еще при его жизни. Группы, возникшие на развалинах IV Интернационала, интересны не только как самостоятельное политическое движение. По правде сказать, именно в этом качестве они менее всего интересны, ибо политические результаты, достигнутые большинством троцкистских организаций, совершенно плачевны. За немногими исключениями, после смерти Троцкого они превратились в секты, ведущие ожесточенную идейную войну друг против друга.

Однако немалая часть активистов и идеологов, работавших в более массовых левых организациях, испытала влияние троцкизма. В одних случаях речь идет о людях, в юности состоявших в той или иной революционной группе, но потом покинувших ее ради работы с массами в более умеренной реформистской организации. В других случаях перед нами интеллектуалы, с течением времени отстранившиеся от политической борьбы, но сохраняющие идейную связь со своими единомышленниками. Именно троцкистские группы на Западе придавали особое значение марксистскому теоретическому образованию, обсуждению истории и опыта революционного движения.

Троцкистская политическая культура пытается дать недогматическую интерпретацию ленинского наследия как марксистской политологии. Ее центральной темой остается роль политической партии, политического руководства, на передний план выдвигается проблема революции, пролетарской классовой организации.

Специфической темой троцкизма, впрочем, является предательство вождей. Это некий постоянный мотив, присутствовавший уже у самого Троцкого, но многократно усиленный его последователями. В классическом марксизме этот мотив тоже существует, но Маркс его трактует достаточно иронично. Точно так же и Ленин, когда пишет о крахе II Интернационала, отмечает предательство лидеров социал-демократии. Но у многих троцкистских авторов это превращается почти в навязчивую идею. Пролетариат постоянно революционен, он в каждый данный момент готов к свержению буржуазии и установлению социалистического порядка. Но раз за разом революция срывается. Каждый раз кто-то мешает. Трудящиеся не могут победить без подлинной революционной организации, а им мешают ее создать вожди-оппортунисты. У большевиков было руководство, которое соответствовало своим задачам, благодаря этому стал возможен Октябрь (или ноябрь) 1917 г. в Петрограде. Но даже если такую партию удастся создать, у трудящихся ее неизменно похищают: на место революционеров приходят бюрократы, предатели, реформисты.

Политическая история рабочего класса, разумеется, знает немало предательств. Именно поэтому тема оппортунизма, предательства, несоответ-

ствия руководства своим задачам исследована, изучена троцкистской мыслью до абсолютной тонкости. Однако невольно встает вопрос о том, почему предательство не только повторяется так часто, но и оказывается столь эффективным. Революционеры то и дело терпят поражение, а оппортунисты торжествуют. Между тем в 1917 г. в Петрограде произошло совершенно наоборот. И дело здесь, разумеется, не только в выдающихся качествах Ленина и Троцкого. Взаимоотношения революционных и реформистских, оппортунистических и радикальных течений в рабочем движении неотделимы от общей траектории социального развития класса, от меняющихся экономических условий и политических институтов. Иными словами, гораздо важнее выяснять не то, кто и когда предал рабочий класс, а пытаться понять внутреннюю диалектику развития рабочего движения. Зачастую успехи трудящихся, достигнутые под революционными лозунгами, делают массы менее радикальными. И наоборот, утрачивая радикализм в периоды относительного благополучия, рабочее движение слабеет, делаясь легкой жертвой буржуазии. Которая в свою очередь, отнимая у рабочих прежде завоеванные права, вновь усиливает революционные настроения.

С точки зрения троцкистской традиции для победы необходимо руководство, которое будет соответствовать всем требованиям революционной борьбы. Его надо формировать. Отсюда повышенное внимание к вопросу подготовки кадров, марксистского образования, осмысления накопленного опыта.

Из рядов троцкистских организаций вышло большое число марксистских и левых мыслителей. Но лишь немногие из них сохранили связь с политическими организациями, выступившими наследниками IV Интернационала. Интерес к революции вообще и к русской революции в частности был свойственен многим из этих авторов. И в первую очередь надо вспомнить Айзека (Исаака) Дойчера, оставившего нам великолепную трехтомную биографию Троцкого и очень глубокую книгу, посвященную судьбе Советского Союза, — «Незавершенная революция». Эти работы стали в 1960-е гг. бесспорной классикой на Западе, к ним обращались как историки-марксисты, так и либеральные советологи. Им подражали, порой не слишком удачно.

Говоря о троцкизме, нельзя не упомянуть и знаменитый тезис о «перманентной революции». По правде, именно Сталин и его окружение объявили «перманентную революцию» ключевой идеей троцкизма. Можно найти множество троцкистских книг, в которых эта идея не играет особой роли, да и у самого Троцкого она далеко не всегда занимает центральное место. Однако в контексте внутривластной борьбы начала 1920-х гг. легко понять, почему именно вопрос о «перманентной революции» приобрел решающее значение. В сталинистских учебниках политграмоты появляется совершенно карикатурное описание «перманентной революции», которое затем спокойно переключивается в труды либеральных публицистов,

доказывающих, будто Троцкий видел в России и ее народе не более чем материал, с помощью которого можно будет разжечь мировой пожар. Если такой взгляд и имел место в большевистской партии, то не у Троцкого, а у «левых коммунистов» 1918 г., возглавлявшихся Н. И. Бухариным. Да и соответствующие высказывания Бухарина делались скорее в полемическом запале, во время жарких споров с Троцким и Лениным.

Между тем сам Троцкий имел в виду нечто прямо противоположное тому, что ему приписывают. Волновало его не разжигание мировой революции, а то, может ли выжить и победить русская революция, оставшись в одиночестве. Вывод, который он сделал, был неутешительным. Социализм возможен лишь как мировая система, а потому изолированная революция рано или поздно погибнет или выродится, если не изменится весь мировой экономический порядок.

Совершенно ясно, что в интересах собственного выживания коммунистический режим в России должен был поддерживать рабочее движение, революционные силы во всем мире. Если эта борьба завершится поражением, то ни о каком полном и окончательном торжестве социализма в СССР речь идти не может.

Надо сказать, что задним числом советская общественная наука приняла целый ряд идей, явно восходящих к Троцкому, — когда в 1960-е гг. заговорили о мировом революционном процессе или о мировой социалистической системе. Другое дело, что проникали в советскую общественную мысль эти идеи контрабандой (без ссылки на первоисточник) и, конечно, в искаженном виде. Так, «мировая социалистическая система», построенная на основе советского военно-политического блока, не могла заменить реальное преобразование мира в целом на социалистических началах.

Задним числом тезис Троцкого о невозможности социализма в одной стране можно считать подтвержденным фактами. Советская республика сперва пережила предсказанное им бюрократическое вырождение, а затем произошла и реставрация капитализма.

15. Лукач

Имя венгерского философа Дьердя (Георга) Лукача (1885–1971) менее знаменито, нежели имя Троцкого или Грамши, но его влияние на западный марксизм тоже весьма велико. В отличие от других авторов первой половины XX в. он не сумел создать жизнеспособной школы. В годы молодости к нему был близок Карл Корш, в последние годы жизни у него появилась целая плеяда учеников, которые, однако, после его смерти дружно отrekliсь не только от идей своего учителя, но и от марксизма.

В 1956 г., когда в Венгрии на короткий период у власти оказались коммунисты-реформаторы, о Лукаче вспомнили. Он был министром куль-

туры в правительстве Имре Надя. После того как советские войска вошли в Будапешт и разогнали правительство Надя, начались репрессии. Но Лукача не трогали. Он продолжал работать в Будапеште, хотя для многих людей в Западной Европе, восхищавшихся его ранними книгами, имя Лукача было неразрывно связано с 1920-ми гг.

И все же идейное влияние венгерского философа можно обнаружить у многих представителей левой общественной мысли, особенно — в художественной среде. Отчасти это объясняется тем, что Лукач, проживший долгую жизнь и работавший много лет в Венгрии в условиях сталинистской цензуры, был вынужден сосредоточить внимание не столько на политических, сколько на культурных и эстетических вопросах. Находясь в эмиграции в СССР, венгерский мыслитель сблизился с известным советским эстетиком и философом Михаилом Лифшицем и, несомненно, повлиял на творчество последнего. В отличие от Лукача, Лифшиц был более счастлив с учениками, что и объясняет повышенный интерес к работам раннего Лукача в постперестроечной России.

Для развития западного марксизма принципиально важны две ранние работы Лукача — открыто политические. Одна из них называется «Ленин: очерк взаимосвязи его идей», другая — «История и классовое сознание». Для Лукача центральным вопросом является именно самосознание, но не личности, а класса, партии, коллектива. Когда Лукач пишет о Ленине, его тоже волнует не столько человек, возглавивший Совет Народных Комиссаров в 1917 г., а именно его идеи, имеющие внутреннюю и, по мнению венгерского мыслителя, нерушимую логику. Отсюда и подзаголовок книги о Ленине: очерк взаимосвязи его идей.

Иными словами, развитие общества — это прежде всего история борьбы классов, в данном случае Лукач опирается на «Коммунистический манифест», но борьба классов для него есть в первую очередь путь пролетариата к самопознанию. То есть через борьбу с другими классами пролетариат познает самого себя.

Надо сказать, что в юности Лукач увлекался христианством, которое у него вполне органично сочеталось с коммунизмом. Именно таким, все еще религиозным, но уже совершенно убежденным в необходимости революции, он предстает перед нами под именем Нафты в «Волшебной горе» Томаса Манна. Про этого героя Томас Манн пишет, что он может доказать вам, будто Солнце вращается вокруг Земли. Действительно, что бы ни говорил Лукач, он безукоризненно логичен.

Итак, пролетариат познает себя. В тот момент, как он познал себя, наступает революция. Тогда пролетариат способен овладеть миром. Трудно не заметить здесь влияния Гегеля, с его абсолютной идеей. Лукача интересует судьба пролетариата не с социологической точки зрения. Ему важен пролетариат, познающий и преобразующий себя в качестве субъекта истории. Кстати, именно через самосознание интерпретирует венгерский фи-

лософ и понятие диктатуры пролетариата, которая, по его мнению, направлена не только против врагов революции, но в известном смысле и против самой себя.

В старом обществе трудящихся принуждали к дисциплине и порядку эксплуататорские классы. Теперь, когда буржуа и помещики побеждены, дисциплина все равно оказывается необходима. Но пролетариат должен заставить себя сам. Коллективная воля класса — выраженная партией — должна направить его поведение.

Как говорится у Шекспира, каждый из нас — сад, и воля в нем садовник...

Удивительным образом классовое сознание Лукача оказывается похожим на «сверх-Я» доктора Фрейда. Только не на уровне индивидуальной психики, а в масштабах целого класса. Это марксистское «сверх-Я» репрессивное, но необходимое, ибо через его запреты и принуждение формируются правила новой цивилизации, организуется и направляется творческая энергия — не на разрушение старого мира, а на созидание нового.

Самоорганизация через самопознание. Многие марксисты уже в 1920-е гг. заявляли, что все это подозрительно напоминает гегелевский идеализм. Но нельзя было отмахнуться от поднятых им вопросов, от темы коллективной рефлексии, социального самоанализа.

16. Грамши

Если идеи Лукача обсуждались преимущественно среди левых интеллектуалов, то взгляды Антонио Грамши стали чем-то вроде официальной доктрины в Коммунистической партии Италии. Однако его влияние не исчерпывается одной партией или страной. В 1970-е гг. — десятилетия спустя после смерти Грамши — его имя стало важным для левой политической мысли на Западе.

В молодости Грамши увлекался идеями прямой демократии и производственного самоуправления, но наибольший интерес потомков вызвали его «Тюремные тетради», опубликованные уже после смерти автора. Текст Грамши представляет собой череду заметок, порой незавершенных, посвященных различным темам. Но для позднейших читателей самыми важными оказались разделы, посвященные демократии, гражданскому обществу, соотношению между политическими партиями и обществом, взаимосвязи между политикой и культурой. Все то, что классический марксизм относил к «надстройке», волновало Грамши чрезвычайно.

После прихода фашистов к власти в Италии, Грамши был арестован. В тюрьме им создается собственная, оригинальная теория политического процесса. Находясь в заключении, итальянский мыслитель пытался разработать марксистскую концепцию западной демократии, понять природу ее

институтов. Не отказываясь от классового анализа, он не удовлетворяется простой констатацией того, что это — буржуазная демократия. Для него важно понять, как она работает, почему эти институты признаются массами трудящихся, как революционерам бороться в демократической системе — не отказываясь от своей принципиальной оппозиционности буржуазному порядку, но одновременно соблюдая ее правила.

На этой основе необходимо выработать политическую стратегию.

Итак, лидер итальянских коммунистов Грамши сидит в фашистской тюрьме, оторванный от своих товарищей, но одновременно освобожденный от необходимости одобрять или осуждать сталинские чистки, процессы 1937 г., изгнание Троцкого и расправу со «старыми большевиками». Время от времени он посылает на свободу письма, которые его друг и руководитель партии в эмиграции Пальмиро Тольятти до времени прячет. Ведь если бы эти письма увидели свет, автора могли бы обвинить в уклоне от генеральной линии Коммунистического интернационала.

Тюрьма, видимо, самое подходящее место, чтобы размышлять о демократии. Возможно, Грамши в этом смысле повезло: у него было много свободного времени, у него была довольно сносная библиотека. Правда, он не мог содержать свои записи в полном порядке, потому что у него были цензоры, которые смотрели за тем, что он пишет. Потому в тексте возникают темные места, провоцирующие споры по поводу их интерпретации. Если бы Грамши угодил не в муссолиниевскую, а в сталинскую тюрьму, подобно многим немецким эмигрантам-антифашистам, попавшим в жернова репрессивной машины 1937 г., мы бы, возможно, не получили «Тюремных тетрадей».

Впрочем, в 1990-е гг. обнаружилось, что тюремные записи Бухарина не были уничтожены и дошли до современного читателя.

Зато в 1950-е гг., после смерти Сталина, тексты Грамши были обнародованы, а его идеи объявлены чем-то вроде официальной партийной доктрины коммунистов Италии. Их изучали, на них ссылались всякий раз, когда нужно было совершить тот или иной поворот в партийной политике. Тема гражданского общества стала крайне модной. Причем любопытно, что обсуждалась она именно в связи с теориями Грамши в марксистской среде, тогда как в либеральной литературе проблематика гражданского общества была почти полностью предана забвению. И лишь к концу 1990-х гг. ситуация резко изменилась, а словосочетание «гражданское общество» стало обязательной частью либерального джентльменского набора для интеллектуалов и политиков. При этом, разумеется, произошел возврат от идей Грамши к традиционным просветительским представлениям XVIII столетия, к идеализации гражданского общества, к отказу от любой критики.

Любопытно, что решающую роль в пропаганде «гражданского общества» как новой либеральной ценности сыграли как раз бывшие марксисты, хорошо знавшие идеи Грамши, но постаравшиеся забыть их антибуржуазное содержание.

17. Франкфуртская школа и Сартр

Пока Грамши, сидя в тюрьме, писал свою политическую философию, которая стала известна и популярна лишь два десятилетия спустя, в Соединенных Штатах работали социологи-эмигранты из Франкфурта. Для социологии, как марксистской, так и немарксистской, Франкфуртская школа (Теодор Адорно, Вальтер Беньямин, М. Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм и младшее поколение: Оскар Негт, Юрген Хабермас) стала одним из важнейших теоретических источников. Близок к «франкфуртцам» был восточногерманский философ Эрнст Блох, автор книги «Принцип надежды».

Исходный пункт «франкфуртцев» — это попытка соединить марксистскую интерпретацию общественного процесса с фрейдовской интерпретацией индивидуальной психологии. Причем это не классический фрейдизм, сводящий все к подавлению сексуальности, к либидо. От Фрейда следующему поколению ученых остается только само понятие бессознательного. В сфере бессознательного находятся не только сексуальные стремления, но также многочисленные страхи и желания, имеющие совершенно иную природу. Но для Франкфуртской школы принципиальный интерес представляло не индивидуальное, а массовое сознание. Потому в их работах появляется понятие коллективного бессознательного.

Это означает фактический разрыв с фрейдизмом, для которого бессознательное есть нечто индивидуальное. Выходит, что идеи Фрейда при всей их интеллектуальной революционности не только не дают ключа к пониманию психологии масс, но и не объясняют нам индивидуального поведения — в той мере, в какой отдельный человек становится частью класса, политической партии, толпы, в конце концов. Вот тут-то и появляется интерес к Марксу.

Надо сказать, что не у всех представителей Франкфуртской школы первоначальная выучка была фрейдистской. Например, Герберт Маркузе учился у Хайдеггера, который был экзистенциалистом. Для Маркузе стало шоком, когда Хайдеггер вступил в нацистскую партию. Формально это можно объяснить стремлением сохранить свою должность в университете после прихода к власти Гитлера. Но ведь должностью можно было бы пожертвовать ради совести! Если человек, проповедующий философию внутренней свободы, присоединяется к нацистам ради академического поста, в самой его философии есть какая-то проблема...

Массовое националистическое помешательство, охватившее немецкое общество в начале 1930-х гг., требовало объяснения. С одной стороны, схемы классического марксизма оказывались недостаточными — в них не было места психологии. Но, с другой стороны, без марксизма невозможно было объяснить движение мощных общественных сил, приведшее к краху Веймарской республики в Германии.

Маркузе после 1945 г. вернулся в Германию — в качестве эксперта американской разведки. Его задачей была «денацификация», то есть выявление нацистских преступников на разных этажах государственной лестницы. Надо было определять и меру их вины, решать, можно ли того или иного человека сохранить в государственном аппарате. Административный аппарат был наполнен нацистами, но далеко не все, кто состоял в нацистской партии, были людоедами. Среди них было некоторое количество людей, которые вступили в партию по карьерным соображениям, чтобы занять или сохранить определенную должность. Как, например, бывший учитель Маркузе Мартин Хайдеггер, которому очень хотелось сохранить кафедру.

Американские оккупационные власти просто не могли во всем этом разобраться. Вот сидит бургомистр какого-то маленького городка. Кто он: злодей и людоед или несчастный человек, который пытался обеспечить своих сограждан консервами и пивом? Американцы не обладали ни интеллектуальными, ни политическими критериями, которые позволили бы решить подобные проблемы, они не представляли, каким это общество было до нацизма. Государственный аппарат в западных странах, включая США, к концу Второй мировой войны был просто наполнен радикалами. Неудивительно, что левые эксперты, работавшие в администрации у Рузвельта, привлекли Герберта Маркузе. Когда эта работа была выполнена, он ушел из официальных структур. Впрочем, до своего ухода он получил возможность поработать с архивами и документацией американской разведки. В то время американской разведкой была собрана большая коллекция советской пропагандистской и идеологической литературы. Ее Маркузе изучил очень тщательно и написал книгу «Советский марксизм», которая была для западных марксистов и левых в каком-то смысле контручебником. Это подробное изложение того, что такое советский марксизм, каковы его концепции. С одной стороны, там было дано очень подробное и внятное изложение советских официальных учебников. С другой стороны, это была критика советских идеологических схем с точки зрения классического марксизма и с позиций неомарксистской школы.

Социологи из Франкфуртского института обращаются к изучению коллективного бессознательного. Переход от индивидуального бессознательного к коллективному требует социологического метода. Тут нужна социальная психология, опирающаяся на определенную экономическую, историческую теорию. Такую теорию дает марксизм, который был в первую очередь воспринят в духе раннего Маркса как систематическая и всесторонняя научная критика капиталистической системы. Отсюда и самоназвание Франкфуртской школы: Критическая теория.

Если для Маркузе вступление Хайдеггера в нацистскую партию знаменовало разрыв с экзистенциализмом, то во Франции в годы немецкой

оккупации экзистенциализм распространяется именно как философия антифашистского сопротивления. Здесь можно назвать целый список имен, но для истории марксизма важен в первую очередь Жан-Поль Сартр.

В известном смысле ранний Сартр находится в полемике с Франкфуртской школой. Он пишет по-другому о том же, что и Франкфуртская школа. Он ставит вопросы, порожденные экзистенциалистским пониманием личности, но очень быстро обнаруживает недостаточность экзистенциализма и обращается к марксистской социологии. Если для «франкфуртцев» важны бессознательные, темные стороны человеческой души, то, что идет из глубин неосознанных психических процессов, в том числе и коллективных, то, с точки зрения Сартра, ключевой является проблема свободы. Светлая сторона человеческой души, если можно говорить такими категориями. «Франкфуртцы» пытались разобраться в психологии нацистов, а Сартр стремился понять и обосновать психологические нормы антифашистского сопротивления.

Для него важны категории выбора, свободы личности. «Франкфуртцы» изучают людей, неспособных в полной мере отдавать себе отчет в своих действиях (потому-то необходимо, чтобы фюрер думал за них), а Сартр пытается понять мотивы личности, абсолютно отдающей себе отчет в своих поступках и мере своей свободы, но действующей в обстановке тотального политического контроля.

И опять выясняется, что никакая философия свободы не даст нам ответ на вопрос о правилах игры, не объяснит тех сил, которые эту личную свободу ограничивают. Такой ответ Сартр находит в марксизме. И для «франкфуртцев», и для Сартра очень важна категория отчуждения. Эта категория для них является более важной, чем эксплуатация, точнее, она занимает в их рассуждениях то центральное место, которое в классическом марксизме занимает категория эксплуатации. Для Сартра отчуждение является универсальным, оно распространяется на все классы общества, то есть отчуждение не является формой социального угнетения, оно является формой социальной патологии, характерной и неизбежной в условиях капитализма. Проявления этой патологии разные, но они имеются во всех социальных слоях. Буржуазия, по мнению Сартра, отчуждена точно так же, как и пролетариат.

Любопытным образом подтверждение этой мысли можно найти в одном из тюремных писем Михаила Ходорковского, который жалуется, что, пока был крупнейшим российским собственником, он был рабом своей собственности. А когда государство у него все отняло, он наконец почувствовал себя свободным человеком.

Отличие Сартра от Ходорковского состоит в том, что французский философ предлагал раз и навсегда освободить всех буржуа от подобного психологического груза, экспроприировав их капиталы в пользу народа.

18. Марксизм в контексте западной социологии

Как уже говорилось выше, «западный марксизм» в значительной степени превратился в академическое течение, которое должно было сосуществовать в рамках университетов с либеральной, буржуазной социологией.

Совершенно ясно, что они не были разделены непреодолимой стеной. Наиболее влиятельная традиция теоретической социологии в англо-американских университетах восходила к Макс Веберу.

Надо сказать, что Вебер сам испытал серьезное влияние марксизма, хотя в этом не признавался. Более того, его теория классов создается в явной полемике с Марксом. Другой вопрос, что сложившаяся в итоге теория классов по Веберу не отменяет выводов Маркса, а скорее дополняет их. Если для автора «Капитала» важно образование классов на основе общественного разделения труда, их место в способе производства, то Вебер описывает культуру классов, их идеологию, систему горизонтальных связей. Короче, все то, что делает класс устойчивым в социальном плане.

Между тем с конца 1920-х гг. становится заметным уже обратное влияние веберовской социологии на марксизм. Оно присутствует повсюду, и определенная потребность в соединении марксистских категорий с веберовскими постоянно имеется. Однако какая-либо новая школа на этой основе не формируется. Если Вебер всячески замалчивал влияние Маркса на свои труды, то марксисты платят ему той же монетой. Постоянно обращаясь к идеям Вебера, марксистские социологи избегают называть его по имени, кроме тех случаев, когда критикуют его.

Отчасти это связано с необходимостью сохранить собственное лицо в рамках либеральной академической системы. Если Вебер является официальным классиком для буржуазной общественной мысли, марксисты стараются от него дистанцироваться. Но точно так же, как Маркс использовал идеи Адама Смита, переосмысливая их в соответствии со своими собственными открытиями, так и позднейшая марксистская социология не может игнорировать Вебера и его последователей.

Разумеется, социология Вебера не была единственным теоретическим направлением, повлиявшим на академический марксизм. Определенное влияние оказали и работы французских структуралистов (другое дело, что это влияние было обоюдным). Парижский философ Луи Альтюссер прославился исследованиями марксовских текстов, сделанными под явным влиянием структурализма. Пафос Альтюссера был направлен против Франкфуртской школы, Блоха и Сартра. Он доказывал, что в марксизме нет ни грана гуманизма, что это вообще не философия, изучающая человека, а теория, описывающая функционирование социальных структур (как будто люди к этим структурам не имеют отношения). Альтюссер стремился доказать, что работы раннего Маркса не являются марксистскими. В сознании основоположника, по мнению Альтюссера, произошел «эпистемоло-

гический разрыв». Иными словами, где-то в 1847 г. Карл лег спать левым гегельянцем, а проснулся марксистом. Соответственно, «Коммунистический манифест», «Капитал» и т. д. — работы марксистские, а «Парижские рукописи» — младогегельянские.

Публикации Альтюссера вызвали острую полемику и спровоцировали целую волну новых марксологических исследований, итоги которых, увы, оказались для французского структуралиста неблагоприятными: выяснилось, что никакого «эпистемологического разрыва» не было, а темы, характерные для молодого Маркса, присутствуют в его творчестве и позднее, вплоть до последних лет. Просто, прояснив для себя некоторые вопросы, Маркс к ним не возвращался и перешел к следующему уровню исследования. Признать это вынужден был и сам Альтюссер.

Глава 2

Восточноевропейский «ревизионизм»

Западный марксизм получил возможность после 1945 г. развиваться свободно в интеллектуальном плане — за слишком смелые идеи не сажали в тюрьму, книги не запрещали. Но с другой стороны, он обречен был развиваться в академическом «гетто», оторванный от реальной политики, от массового движения, от социальной практики.

Между тем в Восточной Европе тоже происходили перемены. На фоне догматизации официальной коммунистической идеологии постоянно можно наблюдать то попытки возврата к истокам классического марксизма, то, наоборот, попытки создания новых критических концепций.

С легкой руки партийных работников, представителей обеих тенденций, несмотря на все различия между ними, окрестили «ревизионистами». Однако восточноевропейский «ревизионизм» имеет мало общего с подходом Эдуарда Бернштейна. По сути, он ему противоположен. Ведь Бернштейн пытался работать с теорией при помощи бухгалтерских методов. Восточноевропейские интеллектуалы 1950-х гг., напротив, стремились к философскому обобщению.

Термин «ревизионизм» был брошен в 1954 г. в Польше. В политическом плане «ревизионизм» связывали с ориентацией на коммунистическую партию Югославии, которая, взяв власть в стране, не желала подчиняться советскому руководству. На первых порах лидер югославских коммунистов Иосип Броз Тито никакой идеологии, отличающейся от советской, не предлагал (лишь позднее его партия озаботилась поисками «особой югославской модели социализма»). Но политический, межпартийный и межгосударственный конфликт в условиях, когда система обязана была обосновывать любые свои действия через идеологию, автоматически приобретал черты идеологического.

Хотя термин «ревизионизм» был для советских и восточноевропейских партийных функционеров ругательным, он вошел в жизнь благодаря определенному смягчению режима. При Сталине в подведомственных ему странах и партиях никаких «ревизионистов» быть не могло. Могли быть

только предатели. С предателями товарищ Сталин никакой теоретической дискуссии вести не собирался, их расстреливали. Потому само понятие ревизионизма было вызвано из небытия, возвращено в политический и теоретический обиход, когда в Польше, после смерти Сталина и XX съезда КПСС, начались массовые выступления протеста. Тогда развернулась и теоретическая дискуссия по этому поводу. Как будет изменена идеология, до какой степени, польские партийные лидеры еще не знали, а потому власть готова была дискутировать с теми, кто представлял радикальные, но все же потенциально совместимые с официальной теорией взгляды.

Власть осуждала этих людей, но, вместо того чтобы отправить их за решетку, с ними начали вести полемику. Их надо было как-то заклеить, но так, чтобы не надо было сразу сажать и расстреливать. Их обозвали «ревизионистами», и, что интересно, это клеймо самих обозначенных устроило. В Восточной Европе слово «ревизионист» в скором времени стало самоназванием.

Когда польский философ Лешек Колаковский отрекся от своих марксистских взглядов уже в 1970-е гг., то один из западных левых написал гневное письмо, где осудил Колаковского за предательство «идеалов ревизионизма».

Надо сказать, что все основные идеи, сформулированные в конце 1950-х гг., продолжали обсуждаться в странах Советского блока вплоть до его крушения в 1989–1991 гг. Ту же идеологию мы можем видеть и у поздних советских авторов. Реформаторская публицистика образца 1988 г. в СССР не сильно отличалась от польских текстов 1956 г. Другое дело, что уже к 1990 г. в Советском Союзе подобные идеи выходят из моды: вместо социалистических реформ или возврата к ленинским принципам предлагается уже реставрация капитализма.

Итак, восточноевропейский «ревизионизм» представлял собой попытку вырваться из парадигм сталинского, советского марксизма-ленинизма и поднять вопросы, аналогичные темам западного марксизма. Упор делался на две проблемы. С одной стороны, данных авторов волновал вопрос личных свобод и демократии. Они стремились в рамках марксистской теории заново обосновать потребность в демократии, показать значение свободы с точки зрения марксистской традиции. Вторая тема, волновавшая их, — как реформировать общество советского типа, вышедшее из революции 1917 г. и Второй мировой войны. Причем реформировать таким образом, чтобы сохранить его достижения.

В этом плане идеологи восточноевропейского «ревизионизма» были до известной степени утопистами. Они пытались конструировать некие идеальные модели, к которым нужно прийти. Иными словами, они были очень конструктивны. Утопизм всегда исключительно конструктивен. У него две стороны, одна — критика общества, которое есть, и вторая — это та самая конструктивная позиция, проект нового устройства общества. В этом

плане Маркс абсолютно неконструктивен, потому что он прежде всего занимает позицию критики. Автор «Капитала» слишком хорошо понимает, что будущее нельзя нарисовать заранее.

1. Колаковский

Дискуссии 1956 г. в Польше связаны прежде всего с такими именами, как Лешек Колаковский и Адам Шафф. Их интеллектуальные судьбы оказались совершенно противоположны.

Биография Адама Шаффа гораздо больше соответствует моральным критериям личной ответственности, о которых писали «ревизионисты», чем биография Колаковского, но его работы не отличаются той глубиной и остротой, какие были свойственны последнему.

Представления Шаффа о марксизме были сосредоточены на идее демократии. Для него интересен вопрос о демократии в партии, в рабочем движении, в новой экономике. Для Шаффа очевидно, что без демократической организации рабочее движение и процесс социалистических преобразований не придут к успеху. Революция, неспособная установить новую демократию, парализует себя. Это ключевая идея всего восточноевропейского «ревизионизма».

Колаковский, будучи одним из блестящих представителей этого направления в 1950-е гг., потом от него отмежевался. Признаюсь, меня всегда поражало в интеллектуальных биографиях восточноевропейских идеологов то, что они не просто с легкостью отказывались от того, что сами говорили, но и умудрялись полностью забыть собственные слова, выводы, логику и смысл собственных публикаций, забыть аргументы, которые приводили и факты, на которые ссылались. С советскими идеологами и интеллектуалами случилась такая же коллективная амнезия, только несколько позже. Тут все по Фрейду: нежелательное вытесняется из памяти.

Создается впечатление, что автор не просто стал думать по-другому, но абсолютно, полностью забыл свои собственные работы. Он сам повторяет те самые тезисы, абсурдность которых он подробно и убедительно доказывал, над которыми смеялся. Конечно, люди меняют взгляды, в этом нет ничего необычного. Но интеллектуальное развитие предполагает формирование некоего отношения к прошлому. Если я занимал определенные позиции, то я должен подвергнуть эти позиции критике, подвергнуть себя самокритике, объяснить, почему я изменил свой подход и в чем был не прав тогда. На основе такой самокритики мы можем вырабатывать новые идеи, концепции. В среде восточноевропейских марксистов, превратившихся в либералов, поражает именно отсутствие самокритики, рефлексии. Никто из этих людей никогда не подверг критическому разбору собственные работы. Они их просто забыли, «вытеснили» из памяти, по Фрейду.

Казалось бы, люди начали с чистого листа. Но ведь их интеллектуальная репутация была обеспечена как раз ранними, марксистскими работами! Если бы они с самого начала просто повторяли общие места либеральной теории (как они делали впоследствии), они, быть может, и заработали бы репутацию в качестве диссидентов. Но в качестве интеллектуалов — никогда.

В данном плане Адам Шафф оказался противоположностью Колаковскому. Это фигура по-своему трагическая. Представьте себе человека, который очень важное сказал в 1954 г. и с тех пор год за годом продолжает повторять. В отличие от своих бывших товарищей он ничего не забыл, но ничего и не добавил.

Впрочем, в 1956 г., все это имело огромное воздействие на людей. «Ревизионисты» начали, параллельно с западными марксистами, открывать работы раннего Маркса, подняли тему отчуждения. Колаковский очень остро поставил тему этики — в политике, в истории.

Марксизм сосредоточивает наше внимание на логике событий, на закономерностях. Мы думаем о том, почему то или иное событие произошло, а не о том, хорошо это или плохо. Как оценивать роль личности с этической точки зрения?

Для сталинского периода в Советском Союзе был характерен простой ответ: морально то, что содействует общественному прогрессу. А успех и развитие советского государства становились главным мерилем прогресса. Какие-то острьяки 1950-х гг. даже сформулировали данную философию в стихах:

*Был ты видом ужасно противен.
Сердцем подл. Но не в этом суть.
Исторически прогрессивен
Оказался твой жизненный путь.*

Прогресс все спишет. Преступления, обман, ошибки.

Создание американской демократии, например, очень важно для прогресса человечества. Ею порождены билль о правах, система разделения властей, многие другие замечательные начинания. Но вот беда: до сорока миллионов индейцев каким-то образом вымерло или было уничтожено в процессе создания этого прогрессивного общества. Какова будет этическая оценка произошедшего?

С точки зрения советского сталинизма этическая оценка должна совпадать с исторической. В этом плане критика колониализма или завоевательных походов царей и королей в учебниках сталинской эпохи оказывается крайне слабой, непоследовательной. Скорее дело сводится к простой формуле: наш — не наш. Иван Грозный взял Казань, Ермак завоевал Сибирь. Это хорошо, ибо расширили российскую державу. А капитан Кук присоединил Австралию к владениям Британии — это плохо, ибо расширили английскую державу, а не нашу. Хотя аборигенам, что в Сибири, что в Австралии, досталось одинаково.

Получается, что есть империализм хороший и плохой? Нет, этого советские учебники не говорили. Они просто уходили от ответов на подобные вопросы.

То же самое и с колониализмом. Сталинская традиция интерпретации колониализма была построена на том, чтобы доказать, что колониализм ничего не принес в плане прогресса, а только разрушал, употреблял, выкачивал, мучил и т. д., и ничего позитивного не произошло. Кстати, похожую линию рассуждения можно встретить и в некоторых троцкистских группах. Великолепная сатира на такой подход есть в фильме Монти Пайтона «Житие святого Брайана».

«Что дали нам римляне?» — риторически вопрошает один из героев, обращаясь к группе борцов за освобождение Иудеи. Слушатели должны дружно ответить — ничего. Вместо этого они вдруг начинают перечислять: дороги, акведуки, канализацию...

Значит ли это, что надо одобрять колониализм? Ведь именно так стали рассуждать советские профессора под конец коммунистического правления. Они вдруг вспомнили про технический прогресс, строительство железных дорог. Если дороги были, значит, надо пересмотреть выводы и оправдать завоевателей.

Но отсюда вовсе не следует, будто колониализм морально оправдан. Факт постройки железных дорог не является оправданием для империализма. К чести Колаковского, надо признать, что он поставил вопрос о противоречии между этическими и историческими оценками.

Итак, марксизм говорит об историческом значении события, но он не снимает моральную проблему. Разумеется, еще до Колаковского этот вопрос был сформулирован Марксом в его гениальных статьях, посвященных Британскому владычеству в Индии. Эти работы, однако, не входили в круг обязательного чтения в СССР.

Автор «Капитала» поставил вопрос о позитивной роли колонизаторов. С точки зрения примитивного, однолинейного сознания получается апология колониализма. Это, кстати, очень смущало в конце XX в. западных левых, помешанных на политкорректности. Но Маркс, в отличие от них, мыслит диалектически. Он видит противоречивость явления, видит его развитие. А потому он осуждает безнравственность завоевателей, но признает и позитивные результаты случившегося.

Если то или иное действие объективно является исторически необходимым для прогресса общества, это не снимает с действующего моральной ответственности. Колаковский приводит в пример английского помещика, совершающего огораживание. Лендлорд сгоняет крестьян с земли, запускает туда овец. В результате сельское хозяйство модернизируется, развивается промышленность, появляются новые технологии, формируется разделение труда, мануфактурное производство и т. д. Короче, прогресс налицо. Но у лендлорда нет никаких прогрессивных идеалов, у него во-

обще нет идеалов, он преследует свои сугубо корыстные интересы. А если посмотреть на происходящее с точки зрения крестьян, все выглядит совершенно иначе. Их обрекают на голод, нищету, бродяжничество и т. д. И даже тот факт, что их дети будут жить в индустриальном обществе, не оправдывает тех страданий, которые сейчас эти люди испытывают. Прогресс оказывается своего рода побочным продуктом происходящего процесса.

Рассказывая историю про лендлорда, Колаковский, конечно, имел в виду и опыт советской коллективизации. Просто на нее он не мог сослаться по цензурным соображениям. Его волновала именно двойственность сталинизма — ведь невозможно было отрицать наличие целого ряда прогрессивных изменений в Восточной Европе, наступивших уже к концу 1950-х гг. Именно советский опыт особенно остро поставил вопрос о цене прогресса. Когда Маркс писал о британском владычестве в Индии, он верил, что при новой системе прогресс, наконец, перестанет быть подобием отвратительного языческого божества, которое требует человеческих жертвоприношений. Смысл социалистической революции еще и в том, чтобы, в конечном счете, соединить воедино этические и исторические критерии. Прогресс должен стать управляемым и осознанным, перестать быть просто побочным продуктом в борьбе частных интересов и эгоистических личных амбиций. Когда цель осознана, общество способно понять и то, какую цену предстоит заплатить.

Разумеется, события в России и СССР в XX в. развивались далеко не по такой схеме. Однако отсюда отнюдь не следует, что вопрос поставлен неверно. Просто путь к новому общественному порядку оказался неблизким. И куда более извилистым, чем надеялись революционеры XIX в.

Антисталинский пафос раннего Колаковского отличается от примитивных антикоммунистических разоблачений, типичных для восточноевропейской публицистики более позднего времени. Дело не в том, чтобы, рассказав про преступления, осудить всякую попытку общественных преобразований или вообще отказаться от идеи прогресса. Дело в том, чтобы понять условия, порождающие эти преступления. И в том, чтобы критически отнестись к идеологии прогресса (кстати, сформулированной буржуазной мыслью).

С этической точки зрения равно неприемлемым оказывается и попытка оправдать преступления требованиями прогресса, и готовность отвергнуть идею прогресса вообще, на том основании, что ради него совершались всевозможные злодеяния. Необходимо понять трагизм истории и ее диалектическую противоречивость. Понимание исторических законов, впрочем, оставляет каждого наедине с вопросом о личной ответственности.

Сталинизм не утверждает, будто цель оправдывает средства, но сталинизм убежден, что результат оправдывает средства. Это достаточно принципиальное отличие сталинизма от других авторитарных идеологий, которое подметил даже Солженицын. В «Архипелаге ГУЛАГ» он пишет, что с точки зрения советской системы важен результат. Результаты советская система могла гарантировать (по крайней мере, до конца 1970-х гг.). Выходит, если мы запус-

тили в космос ракеты, значит, оправданы ужасы коллективизации? Вот если бы не запустили, то тогда бы зря убили людей. Но ракета же полетела!

Сталинизм с самого начала был обращен к истории. В этом смысле сталинский аппаратчик отличается от лендлорда, описанного Колаковским. У него есть историческая отчетность. За годы сталинских репрессий построили заводы, неграмотность ликвидировали, всеобщую бесплатную медицину ввели. Но значит ли это, что все издержки, идущие по разделу «мораль», списываются автоматически?

Прогресс жесток. История не может управляться чисто этическими критериями, но критериями моральными управляется личное поведение, и оценка личного поведения не меняется в зависимости от того, как мы строим прогресс.

Между прочим, вопрос о личной ответственности относится не только к политикам и государственным деятелям, но и к мыслителям. Предательство, даже интеллектуальное, остается предательством. И в этом смысле личная биография Лешека Колаковского не является примером для подражания.

Хотя, с другой стороны, она достаточно типична.

2. Рыночный социализм

В то время как поляки занимались философскими и отчасти политическими вопросами, в Венгрии и Чехословакии начинают ставиться вопросы об экономической реформе. Позднее аналогичная дискуссия захватывает Польшу и Советский Союз.

С точки зрения классического либерализма такой экономический порядок, как в Советском Союзе, вообще не должен был бы существовать. Не в том дело, что у него была низкая эффективность или что в конечном итоге он обречен был на крах, а в том, что он, если верить данной теории, вообще не мог бы функционировать, как утюг — плавать. Но наш утюг плавал, хоть и не слишком хорошо.

Либералам, для которых рынок является не просто оптимальной, но и единственно рациональной и естественной формой организации экономики, непонятно, как вообще что-то может производиться, если рынка нет. В ранней советологии шли безуспешные поиски некоего тайного рынка, который где-то в СССР спрятан и таким образом позволяет производству работать. Естественно, ничего, или почти ничего, не нашли.

Если теперь, задним числом, либеральные экономисты могут сказать: «СССР рухнул потому, что его экономика никогда и не могла нормально функционировать», то в 1956 г. сказать такое было невозможно. Было совершенно очевидно, что система работает. Экономика растет, производство развивается, причем более высокими темпами, нежели на Западе. Проблема только в том, что она развивается несколько своеобразно.

Когда Сталина спрашивали, а почему не были отменены деньги в СССР, он давал собственную интерпретацию товарно-денежных отношений при социализме. Ведь там, где есть деньги, есть свобода выбора у покупателя, значит, есть и какой-то рынок, хотя бы для индивидуального потребителя. Есть товарно-денежные отношения. Не противоречит ли это социализму?

В Советском Союзе мы имели элементарный кризис перепроизводства в некоторых отраслях, при этом дефицит в других. Значит, рынок все же работал. Но он был скорее деструктивным элементом в системе, в лучшем случае выявлял ее слабости, не помогая их преодолеть.

Сталина волновали подобные вопросы. Отвечал он так: колхозники и рабочие — разные классы, у колхозников другое отношение к собственности, у них групповая собственность, а потому свои товары они иначе как за деньги не отдают.

Подобная интерпретация имела мало общего с реальностью советских колхозов сталинского времени. Ведь именно в колхозах деньги практически отсутствовали, преобладала натуральная оплата в виде знаменитых «трудодней». Да и вообще, колхозники в 1930–1940-е гг. находились в крайне закрепощенном состоянии и работали почти бесплатно. Тем более не было у них и самостоятельной политической воли, которую им приписывал Сталин.

Товарно-денежные отношения развивались именно в городе, на потребительском рынке, который деревню практически не затрагивал. Но в системе совершенно явно существовала потребность в товарно-денежных отношениях, потому что это была форма согласования интересов через товарный обмен. Раз существовал товарный обмен, существовал и рыночный фактор в советской экономике (за исключением периода «военного коммунизма»). Даже при «военном коммунизме» существовал натуральный мировой рынок, и в этом плане объективное наличие противоречивых интересов как раз и являлось причиной того, что товарно-денежные отношения были востребованными и их роль вырастала.

Однако рыночный фактор отнюдь не был в советском хозяйстве доминирующим — по крайней мере, не во времена Сталина и Хрущева. А ведь именно в этот период советская экономика добилась наибольших успехов.

В самом классическом марксизме нет полной ясности относительно того, как видели его теоретики судьбу рынка после пролетарской революции. С одной стороны, для Маркса и Энгельса достаточно важно, что социализм «нетоварен». Что совершенно логично. Ведь, хотя рыночные отношения существовали до капитализма, именно капитализм доводит их до максимального развития, делает их универсальными, всеобщими. Соответственно, социалистические преобразования направлены против диктатуры рынка, против превращения людей в товар. В противном случае не было бы оснований бороться с капитализмом. В рамках рыночной экономики вся левая политика сводится к реформированию капитализма. Прин-

ципы, которые лежат в основе социалистического производства, по Марксу, лежат вне сферы товарных отношений.

Для Маркса здесь принципиальное различие между производством и обменом. С его точки зрения, рынок — система, которая подчиняет производство обмену. Не потреблению, а именно обмену. Рынок — это не сфера потребления, а сфера обмена. Это не диктатура потребителя (как утверждают либералы), а господство покупателя. Потребитель, лишенный денег или не имеющий достаточных средств, не может диктовать свою волю рынку. Его рынок просто не видит. Его потребности не учитываются. На рынке человек не получает то, что не может купить. Рынок — это одна из форм распределения. По Марксу, это такой порядок, при котором производство подчинено платежеспособному спросу, следовательно — механизму обмена. Это одна из основ его критики капитализма. Преодоление социализмом ограниченности рыночной экономики состоит в том, что производство начинает ориентироваться не на спрос, а именно на человеческие потребности — как индивидуальные, так и коллективные, общественные.

Но каков механизм выявления этих потребностей? Именно здесь и возникает поле для дискуссии.

С точки зрения Маркса, потребность при социализме возникает уже из организации промышленного производства. Отсюда знаменитая идея Ленина о том, что социализм есть общество, организованное как одна большая фабрика. Ведь внутри предприятия нет рыночных отношений. Там господствуют отношения не обмена, а потребления. Один цех потребляет продукцию другого и может ничего не давать взамен. Все просто работают на один общий результат. Технологическая цепочка проста и понятна, она не нуждается для своего функционирования в рыночных отношениях.

Но, с другой стороны, слова Ленина про общество, которое работает как одна большая фабрика, можно интерпретировать так, что все общество организовано как одна большая капиталистическая фабрика. Ведь форма организации производства на капиталистической фабрике тоже специфична именно для капитализма. Восточноевропейский «ревизионизм» столкнулся с тем очевидным фактом, что советское предприятие функционирует в точности так же, как и американское предприятие.

Естественно, напрашивался вопрос: а является ли такое предприятие социалистическим? Однако большинство «ревизионистов» в Восточной Европе склонны были говорить о вещах более практических. Главным их выводом из анализа производственной системы обществ советского типа была реабилитация рынка.

В их анализе потребление и обмен в значительной мере отождествляются. Такой возврат к либеральному взгляду на рынок вызван разочарованием в практических результатах коммунистического хозяйствования. Выяснилось, что ориентация на непосредственное потребление в этой системе лишь декларирована, но не реализована. Мы говорим, что производим продукцию не для

рынка, а для потребления, не для платежеспособного спроса, а для реальных потребностей трудящихся. Но нет механизма, позволяющего узнать потребности трудящихся. Можно, конечно, подсчитать, сколько нужно пар ботинок на одного среднестатистического человека, но как мы вычислим, какая будет мода?! В итоге всех оденут в одинаковые ботинки. Все будут правильно одеты, обуви будет столько, сколько надо. Стаптывать ее за год среднестатистический человек будет в соответствии с прогнозом. Но счастья не будет.

Пределный пример подобного подхода можно было наблюдать в Китае при Мао. Все были одеты одинаково, у всех был примерно одинаковый рацион питания. Все это больше походило на огромный трудовой лагерь, чем на общество свободных людей, обещанное Марксом. Что касается Советского Союза, то здесь, как ни парадоксально, даже в 1930-е гг. провозглашалась ориентация на индивидуальное потребление и, больше того, на индивидуальное счастье. Знаменитая формула Сталина — «жить стало лучше, жить стало веселей» была отнюдь не просто лозунгом. Вождь формулировал установку для руководства более низкого уровня. Советские люди должны жить в условиях «изобилия». Но, открыто провозглашая это своей целью, система тем более не могла скрыть неспособности справиться с собственными же задачами. Запустить космический корабль оказывалось проще, чем удовлетворить потребности модниц...

С методологической точки зрения, разделив обмен и потребление, сталинская школа экономической мысли сама себе создала проблему, поскольку не предложила критериев того, что обществу нужно, а что нет. Где-то, как-то люди должны выразить свою потребность.

При рыночном капитализме люди несут свои потребности на рынок. Такая система, как уже говорилось, приводит к искажению реальной картины общественных и частных потребностей, поскольку все должно пройти через узкое горлышко платежеспособного спроса. А корпорации создают целую систему манипуляции человеческими потребностями — через рекламу, массовое искусство и т. д.

Но проблема при советской системе не решалась даже таким несовершенным способом. Именно поэтому, кстати, советский человек постоянно ориентировался на западную модель потребления. Не потому, что та модель была хороша, что она оптимально соответствовала его потребностям, а потому, что своей собственной он выработать был не в состоянии. Хуже того, на западную потребительскую модель — по той же самой причине — начинали понемногу ориентироваться и плановые органы.

Распределительная система пыталась симулировать результаты работы рынка. Результаты, как мы только что видели, достаточно несовершенные. Но если рынок искажает систему потребностей, то распределительная советская система искажала (и никоим образом не исправляла) результаты рынка, причем — иностранного! Получается что-то вроде «отражения отражения» в философии Платона. Нагромождение ошибок.

При этом система неустанно провозглашала, что ориентирована на потребности людей. Поскольку же экономика была товарной, у людей были деньги и индивидуальный потребитель мог все же «голосовать рублем» (злотым, левом, чешской кроней), то это голосование неизбежно оказывалось отрицательным. Индивидуальный потребитель своим поведением лишь вносил в систему дополнительную дезорганизацию.

Ему давали достаточно денег, чтобы он купил определенное количество товаров. Но он эти товары не покупал. У него накапливались «лишние» деньги. Благодаря этим средствам начинал функционировать «черный рынок», а на складах пылились горы нереализованной продукции. А некоторые изделия вдруг становились дефицитом. Возникала потребительская истерия, когда люди бессмысленно бросались вдруг скупать какой-то товар, на который возник повышенный спрос.

Причем количество денег, необходимое для жизни в данном обществе, было рассчитано правильно, иными словами, деньги у всех были. Точно так же было правильно подсчитано количество простых, базовых товаров, необходимых для физического выживания, — хлеба, молока и т. д. Хотя порой перебои случались и с такими продуктами, но это скорее аномалия. Тут уже речь идет не об ошибках планирования, а об ограниченности его возможностей, неспособности учесть все внешние факторы.

Выяснилось, что, если наши потребности определяет бюрократия, масштабы отчуждения могут вырасти. И рост благосостояния к концу советской эпохи не снимал проблему, а, наоборот, обострял ее.

В начале 1960-х гг. появляется новое направление, получившее название рыночного социализма. Вообще-то подобные концепции начали разрабатываться гораздо раньше. Уже в начале XX в. немарксистскими экономистами выдвигались идеи совместимости рынка и социализма. Среди марксистов одним из первых подобные идеи стал развивать польский экономист Оскар Ланге (1904–1965). Будучи членом Польской социалистической партии (1928–47), он, после того как его страна вошла в коммунистический блок, вступил в 1948-м в Польскую объединенную рабочую партию, которая должна была заменить ликвидированную Сталиным компартию Польши. Хотя он и стал членом ЦК ПОРП, важных политических постов он не занимал, предпочтя должность ректора Главной школы планирования и статистики, а потом профессора Варшавского университета. Он участвовал в разработке планов экономического развития Индии, Цейлона, Египта и Ирака как советник по экономическим вопросам.

Идеи Ланге о необходимости совмещения плана и рынка формально относились не к развивающимся странам. Но их применимость для Восточной Европы была изначально очевидна.

Идея рыночного социализма получила разные интерпретации. Прежде всего, вспоминаются ранние работы — Яноша Корнаи. В 1957 г. он назвал свою диссертацию «Сверхцентрализация в экономических системах».

Данная работа стала теоретическим манифестом рыночного социализма. По-английски был тогда же издан ее реферат, который оказался доступен и советским специалистам. Это очень интересный реферат, дающий качественное описание того, как реально функционировала советская система планирования. Описание модели планирования показывает, что цели, ставящиеся верхами системы, не совпадают с тем, как интерпретируют свои задачи средние и нижние ее звенья. В итоге поставленные цели оказываются в принципе недостижимы. Цель может быть совершенно реальная, но она недостижима в данной системе. Почему? Ведь, чтобы дойти до исполнителей, цель должна быть переформулирована в виде ряда конкретных задач, которые в свою очередь, доводятся до исполнителей в виде системы показателей. Сталинская система, кстати, не была сверхцентрализованной. Она была централизована авторитарно и не была столь же бюрократизирована, как система планирования, сложившаяся позднее. Товарищ Сталин или Серго Орджоникидзе могли просто вызвать к себе кого-то из директоров заводов и сказать: «Мне нужны такие самолеты, они должны так летать и так стрелять». Тот уже сам ломал голову, как это делать. Цель была ясна исполнителю, между ним и руководством было взаимопонимание на интуитивном уровне. К тому же было ясно: если с продукцией что-то будет не так, расплачиваться придется собственной головой. Это очень способствовало пониманию. Но в сверхцентрализованной бюрократической системе поздних 1950-х гг. все по-другому. Управлять большой многосекторной экономикой нельзя, как во времена начала индустриализации. Теперь центр формирует некую задачу, эта задача сначала дезинтегрируется — разделяется на ряд показателей, которые должны быть выполнены конкретными исполнителями. От них задания распределяются дальше, вниз. Так вы проходите еще три, четыре звена. После этого выясняется, что участники процесса работают не на выполнение первоначальной целостной задачи, а на реализацию тех конкретных показателей, которые вы им спустили. Никакой целостной задачи для них не существует. Потом начинается обратный процесс, информация возвращается назад и агрегируется. По мере того как мы узнаем о выполнении поставленных задач, обнаруживаются странные вещи. Получается не совсем то, что было задумано. Все показатели вроде бы формально достигнуты, а результат не соответствует поставленной цели.

В СССР был популярен анекдот про работницу завода швейных машинок. Когда она пыталась собрать из деталей свою продукцию в домашних условиях, почему-то всегда получался пулемет. Но с экономикой советского типа именно так и получалось. И руководители страны бывали обескуражены результатами выполнения своих планов не меньше, чем та работница из анекдота. Происходит классический процесс искажения информации. Чем больше у вас звеньев, тем больше будет искажение. В процессе формализации достигается уже не исходная целостная задача, а не-

что такое, что специально никто не планировал. Это своего рода диалектика централизации.

Например, если показатели производства продукции устанавливаются в тоннах, все изделия будут чрезмерно тяжелыми. Потому что я не буду производить станки, я буду производить тонны. И чем тяжелее у меня получится станок, тем лучше. Японцы даже специально покупали советские станки на металлолом: в них была огромная станина, сооруженная с единственной целью — утяжелить продукцию.

Потом, когда стало ясно, к чему ведет такая практика, задания стали определять в рублях. В итоге вы получаете те же станки, только они почему-то становятся все дороже. Вы совмещаете показатели цены и веса — становится еще хуже: сразу и тяжело, и дорого. На протяжении всей советской истории плановики бились над «оптимальными показателями», да так ничего и не выходило, поскольку порок здесь в самом методе.

По мере того как единая система распадается на ряд подсистем, имеющих различные задачи, сформулированные в виде плановых показателей, начинают возникать и специфические интересы. Экономика начинает жить своей жизнью, становится все менее управляемой. Но она по-своему функциональна. Ее элементы взаимосвязаны. Нарушается не целостность экономики, а целеполагание. То есть отрицается тот самый изначальный социалистический идеал, согласно которому экономика должна быть подчинена неким осознанным и рационально сформированным целям, соответствующим коллективным интересам общества. Вот этот принцип как раз и нарушается. Маркс не писал про эффективность системы. Он прекрасно понимал, что эффективность — понятие относительное, что в каждой системе свои критерии эффективности.

Но Маркс, как и Вебер, исходит из того, что в системе должно быть рациональное целеполагание. Именно оно является коллективной демократической функцией общества.

А в экономике, которую описывает Корнаи, как раз эта главная функция, ради которой и нужно было устраивать все революции, полностью отменена. Система начинает жить своей жизнью по совершенно другим законам. Почему нужно сдавать металл? Потому что системе нужны килограммы! Люди получают работу, и управленческий механизм себя поддерживает, соответственно, уже работают реальные интересы.

Легко догадаться, что Корнаи предлагает снять возникшие противоречия с помощью рынка. Однако это чисто управленческое обоснование, которое исходит не из потребностей общества, а из того, как повысить эффективность и рациональность в этой довольно странной системе. Неудивительно, что Корнаи эволюционировал в сторону либерализма. Иными словами, от пропаганды рынка как эффективной системы обмена он перешел к апологии рынка как оптимальной системы обратной связи и, наконец, к рынку как системе универсального контроля. А это и есть ли-

беральное ведение экономики. Но так было значительно позже. В 1950-е и 1960-е гг. сформировалась целая школа рыночных социалистов, таких как Ота Шик в Чехословакии, Влодзимеж Брус и Тадеуш Кавалик в Польше. Одна часть из них постепенно эволюционировала в сторону либерализма, другая критиковала не только бюрократическую централизацию, но и свободный рынок, в котором видела другую крайность, столь же иррациональную, как и бюрократическая централизация. Эта группа эволюционировала в сторону идей Дж. М. Кейнса об управляемом рынке, но пыталась соединить Кейнса с Марксом. В том же духе рассуждали и левые кейнсианцы, такие как Дж. Робинсон, М. Калецки и др.

Ота Шик выступал за то, чтобы соединить социалистический рынок с развитием самоуправления и демократией трудящихся. Он пытался доказать, что рынок является местом согласования интересов, но сам плюрализм интересов порождается внерыночными факторами. Разное общество создает разный рынок. Это очень важный момент с точки зрения марксистской теории.

Либерализм учит, что наличие множества покупателей и конкурентов на рынке и есть источник плюрализма, противоречия интересов. Потому без рынка не может быть плюрализма и демократии. Противоречия рыночных интересов продолжают в политике, в обществе, в социальной системе. А через обмен мы выявляем различие интересов (одни хотят продать подороже, другие купить подешевле), и через этот акт обмена мы формируем некие коллективные, групповые интересы. Такой плюрализм интересов в обществе делает необходимым политическую демократию. Вот либеральная трактовка сюжета. Ота Шик утверждает, что все обстоит как раз наоборот. Плюрализм интересов образуется естественным образом из общественного разделения труда, из иерархии власти и собственности, из системы управления, а также из необходимости распределять ограниченные ресурсы между целым рядом участников экономического механизма. Распределение этих ресурсов может происходить как рыночным, так и внерыночным способом (например, в формах бюрократического распределения, карточной темы, в форме коррупции). В конце концов, зачем нужен рыночный механизм, если можно просто принести секретарше начальника коробку конфет, чтобы получить желаемое?

С точки зрения Шика, рынок сам не порождает никакого плюрализма интересов, он лишь является тем местом, где можно найти определенное разрешение этих противоречий, вызванных плюрализмом реально сложившихся интересов.

В данном случае Шик резко отмежевывается как от либеральной, так и от сталинской традиции. И в первом, и во втором случае рынок трактуется внеисторически.

Легко догадаться, что ревизионисты попытались решить проблему за счет максимального включения рыночных методов. Во всяком случае, это

должно было придать системе какую-то рациональность. К тому же очевидно, что рынок не противоречит государственной собственности. Пусть будет общественная собственность, но одновременно пусть будет и рынок. В Югославии, где экономические идеи ревизионистов получили одобрение на уровне официальной партийной верхушки, решено было пойти еще дальше. Наряду с государственной собственностью и рынком начало развиваться рабочее самоуправление.

Демократия рабочих коллективов должна была, во-первых, смягчить отрицательные последствия рыночных отношений для трудящихся, а во-вторых, породить новую модель предприятия, отличную от пресловутой капиталистической фабрики. Однако последующий исторический опыт показал, что в столкновении со свободным рынком система самоуправления в конце концов разрушилась.

Что касается идеологии рыночного социализма, то она в разных формах получила развитие в Чехословакии, Венгрии, Польше и даже в СССР. Позднее эти же идеи легли в основу экономических реформ в Китае. Официальное советское руководство относилось к идеям рыночного социализма двойственно. Формально они были отвергнуты. На практике ими интересовались.

В 1964–1965 гг. началась экономическая реформа, которая, однако, вскоре затормозилась. Среди специалистов по политической экономии шли длительные, абстрактные и догматические дискуссии о природе социализма. Одни говорили, что он «товарен», другие, наоборот, что он «не товарен». Соответственно, получилось две школы — «товарников» и «антитоварников». С позиции сегодняшнего дня все это сильно напоминает дискуссии об ангелах в средневековых университетах. Одновременно появилась целая волна журналистских публикаций, пропагандировавших идеи экономической реформы. Статьи написаны были ярко, читались легко и сформировали в среде интеллигенции твердую убежденность в преимуществах рынка. Самостоятельной теоретической ценности подобная публицистика, разумеется, не имела.

Лишь под самый занавес советской истории появились работы Александра Бузгалина и Андрея Колганова, которые скептически оценивали перспективы рынка, но признавали и реальные противоречия централизованной бюрократической системы, сложившейся в СССР.

В Чехословакии очень быстро от экономических экспериментов перешли к политическим, «ревизионистские» теории дали толчок движению «коммунистов-реформаторов», которое овладело руководящими позициями в правящей партии. Советский Союз вмешался, движение было подавлено. В 1968 г. вторжение советских войск кладет конец любым дискуссиям. В 1969 г. завершилась «нормализация». Ота Шик и другие теоретики «рыночной» школы вынуждены были эмигрировать или замолчать. Зато в Венгрии экономические реформы поощрялись — в той мере, в какой оказывались совместимы с сохранением партийного контроля над политической жизнью. Позднее этот опыт стали перенимать в постмаоистском Китае.

3. Будапештская школа

Благодаря экономическим реформам, начавшимся после 1968 г., Венгрия получила прозвище самого веселого барака в коммунистическом лагере.

Побочным эффектом дискуссии о рыночном социализме в Венгрии было появление Будапештской школы. Под этим именем стали известны ученики Лукача. Правда, концентрировались они на проблематике, весьма далекой от Лукача. По крайней мере — от раннего Лукача, прославившегося работами о диалектике классового сознания. Молодые будапештские интеллектуалы получили от него изрядную дозу марксистской выучки, определенную теоретическую культуру, но сосредоточились на других проблемах. Их интересовала критика коммунистического порядка в странах Восточной Европы, особенно же вопросы о взаимоотношениях личности и системы. Одна из ключевых идей Будапештской школы — идея навязанных потребностей. С этой точки зрения общество, сформировавшееся в Восточной Европе после 1945 г. (а в СССР после 1932 г.), рассматривается не просто с точки зрения политических или экономических институтов.

Авторы Будапештской школы доказывают, что ключевым видом контроля является не слежка за людьми со стороны тайной полиции или партийная пропаганда, а диктатура над потребностями. Создается система навязанных потребностей. Эту тему можно найти в работах Агнеша Хеллера, Ференца Фехера. Понятно, что такие мысли возникали у авторов, работавших именно в Венгрии с ее относительно мягким политическим режимом. Ведь, если контроль сохраняется, несмотря на отсутствие репрессий, значит, есть какие-то более глубокие механизмы, которые работают.

Правда, возникает вопрос: чем в таком случае система советского типа отличается от капитализма? Ведь там тоже создан мощный механизм формирования потребностей и контроля над ними — реклама, телевидение с мыльными операми и т. д., навязываемые корпоративными системами представления об успехе и «успешном человеке».

Другим интересным персонажем Будапештской школы является М. Раковский. Под этим псевдонимом скрываются два человека: Янош Киш и Дьердь Бенце. Позднее они разошлись, а их взгляды существенно изменились. Таким образом, несуществующий человек Марк Раковский, похоже, остался в истории марксистской мысли самостоятельным персонажем, совершенно отделившимся от своих создателей. Между тем именно Раковский является наиболее ярким представителем Будапештской школы.

Вышедшая в 1979 г. в Лондоне под псевдонимом Марк Раковский книга «К восточноевропейскому марксизму» оказалась последней в череде публикаций Будапештской школы. Авторы предлагали «восточноевропейский марксизм» как некую альтернативу «западному марксизму». Надо сказать, что, как только авторы опубликовали эту работу, они сами перестали быть марксистами. Но парадоксальным образом собственными пре-

вращениями Бенце и Киш лишь подтвердили прогноз, сделанный Марком Раковским: оппозиционная интеллигенция в коммунистических странах стремительно деградировала.

Одним из наиболее интересных аспектов книги Марка Раковского является как раз теоретический анализ этой деградации. В поисках альтернатив официальной идеологии, рассуждают авторы книги, восточноевропейские оппозиционеры начинают пользоваться материалом все той же господствующей идеологии. В условиях, когда другие информационные источники фактически отсутствуют, а официальная идеология дискредитирована, люди начинают обращаться к ней уже затем, чтобы найти в ней самой опору против нее же. Иными словами, если человек, например, не любит коммунистов, он понимает, что я должен стать антикоммунистом. Но кто такие антикоммунисты? Какова их позитивная программа? Информацию об этом можно почерпнуть лишь в тех же сталинистских учебниках.

Как в песне Владимира Высоцкого «Антисемит»:

*И вот я решил,
И кому-то быть битым.
Но надо ж узнать,
Кто такие семиты?*

Можно, допустим, стать либералом. В официальных книгах много написано про либерализм. В сталинском «Кратком курсе истории партии» можно отыскать необходимые сведения. И вот люди продолжают изучать все тот же «Краткий курс», только теперь отождествляют себя не с большевиками, а с кем-то из отрицательных персонажей этого учебника. Отрицательные персонажи становятся положительными. Но дело в том, что все персонажи изображены карикатурно, они зачастую неадекватны реальным историческим фигурам. Это некий идеологический конструкт, фантом, который был создан с пропагандистскими целями для обоснования официальной идеологии и успешно функционировать он может только в ее рамках. Этот фантом имеет что-то общее с реальными фигурами, на родство с которыми претендует, но эта общность относительна. Потому что фантом устроен таким образом, что утрированы наиболее отвратительные, реакционные, негативные в интеллектуальном плане черты той или иной «вражеской» идеологии.

Соответственно, именно такие модели поведения усваиваются оппозиционерами. То, что было почти карикатурой, становится образцом. Теперь это уже реальная модель поведения, которой надо следовать, чтобы бросить вызов системе. Итак, фантомы, порожденные сталинской пропагандой, приобретают способность материализоваться, оживают. Политическая жизнь в Восточной Европе, по пророчеству Марка Раковского, сведется к торжеству материализовавшихся фантомов. Позднее, в 1990-е гг., в России и в Восточной Европе часто жаловались, что и либералы у нас неправильные, и социал-демократы какие-то странные. Но все эти странности были закономерны.

Всевозможные монстры, чудовища, которые были порождены воспаленным воображением политических пропагандистов, приобрели реальную жизнь, вышли на улицу и до сих пор ходят вокруг нас.

4. Группа «Праксис»

Если Венгрия отличалась известным либерализмом в рамках советского блока, то еще больше это относилось к Югославии, которая проводила политику неприсоединения. На первых порах разногласия югославского коммунистического лидера Иосипа Броз Тито с Москвой были чисто политическими, но легко догадаться, что политический разрыв со Сталиным заставил Тито культивировать идеологические различия.

В итоге «югославская модель» обрела как собственных теоретиков, так и собственных диссидентов. Идеологом официальной концепции самоуправления был Эдвард Кардель (1910–1979). С другой стороны, в Загребе, столице Хорватии, сложилась оппозиционная марксистская группа вокруг журнала «Праксис» (*Praxis*). В 1968–1969 гг. материалы этого журнала были хорошо известны не только в Югославии, но и за ее пределами. Популярности им придали, впрочем, и советские официальные идеологи, которые по каждому удобному случаю вспоминали «праксистов» недобрым словом.

Группа «Праксис» была близка к западному марксизму и довольно мало повлияла на восточноевропейские дискуссии. Она оказалась скорее частью академического марксизма, входившего в моду в европейских и американских университетах. Разумеется, как и все восточноевропейские «ре-визионисты», члены группы «Праксис» подчеркивали значение демократии и доказывали, что югославское рабочее самоуправление оказывается неполноценным, поскольку в стране нет политического плюрализма, многопартийной системы и полной свободы печати (другое дело, что на фоне советского блока югославская печать выглядела чрезвычайно независимой).

Главная теоретическая особенность «Праксиса», объединяющая их в особую группу, впрочем, находилась в другой плоскости. Авторы журнала подвергли систематической критике взгляды Фридриха Энгельса, и в особенности его работу «Диалектика природы».

Противопоставляя друг другу Маркса и Энгельса, загребские философы пытались таким способом очистить марксизм от остатков гегелевского наследия. Они доказывали, что диалектика есть лишь метод мышления, соответственно, она — субъективна. А природа — объективна, и, следовательно, невозможно говорить о существовании в ней какой-то собственной диалектики.

Однако здесь взгляды «Праксиса» наталкивались на серьезные возражения не только со стороны ортодоксов-сталинистов, но и со стороны большинства антисталински настроенных марксистов. Надо отметить, что

исследования в области диалектики (и диалектики природы, в частности) были своеобразным убежищем для свободомыслящих философов в Советском Союзе. Ведь природа не нуждается в указаниях партии и правительства.

Надо сказать, что главная претензия критически настроенных советских философов к сталинизму состояла именно в отсутствии диалектики, в том, что, формально заявляя о верности диалектическим принципам, официальные советские мыслители рассуждали совершенно механистически, что они были скорее позитивистами, которые украшали свои тексты цитатами из Маркса и Ленина. Главная работа Эвальда Ильенкова, выдающегося советского мыслителя 60-х гг., называлась «Диалектическая логика».

Надо сказать, что западные теоретики науки весьма ценили даже работы более официальных советских философов: способность увидеть диалектику природы расширяла сознание ученых и давала им возможность сделать нетривиальные, парадоксальные выводы, двигавшие науку вперед.

Действительное различие Маркса и Энгельса состояло как раз в том, что последний более находился под влиянием позитивизма и меньше — под влиянием Гегеля. А господствовавшие в XIX в. представления об устройстве Вселенной были основаны как раз на механике, что вполне соответствовало позитивистским взглядам на мир. И наоборот, физика XX в., с эйнштейновской теорией относительности и другими парадоксальными открытиями, вызвала острую потребность в философском переосмыслении своих достижений на основе диалектики. В этом плане Энгельс в книге про диалектику природы опередил как самого себя, так и свое время.

Методологически аргументация «Праксиса» тоже была весьма слабой. Она строилась на чисто догматическом сравнении текстов Маркса и Энгельса. Между тем критически мыслящий читатель нуждается в более весомых аргументах, чем ссылка на то, что Маркс не просматривал рукопись Энгельса до ее публикации. В конце концов, мышление именно потому и эффективно, что оно оказывается адекватно своему предмету — в данном случае природе. Если в природе нет диалектических противоречий, перехода количества в качество, отрицания отрицания, то почему люди, именно исследуя природные явления, с древних времен задумывались о подобных вещах?

Если метод нашего мышления неадекватен объекту, то и результаты будут соответственные. Это поняли уже ученики Декарта в XVII в. Никола Мальбранш писал: защитники Вены стреляют в турок, которых они видят в своем сознании. Но попадают почему-то в реальных турок. Если бы их органы чувств, например, давали им неправильную информацию, то они стреляли бы мимо. А может быть, и турок никаких не было?

То же самое и в теории. Если диалектическая логика не верна, если она отражает лишь развитие мысли, то почему эта мысль продуктивна?

К сожалению, то, в чем «праксисисты» были интеллектуально состоятельны, они в значительной мере были неоригинальны. А там, где они были оригинальны, они были интеллектуально несостоятельны. Потому от «Праксиса», кроме названия журнала, мало что осталось.

К середине 1970-х мы видим полный упадок «ревизионистского» движения в Восточной Европе. Это движение политически оказалось не востребовано. В основе ревизионистского подхода лежало представление о том, что обществу предстоит социально-политическая реформа или хотя бы экономическая реформа. Экономическая реформа имела место, но оказалась крайне ограниченной по своим последствиям.

«Ревизионисты» не хотели враждовать с коммунистическими режимами, они пытались их реформировать. Не будучи востребованными властью, их идеи стали рассматриваться как все более опасные. Многие идеи из сферы допустимой дискуссии, из сферы легального, разрешенного обсуждения вытеснялись в сферу диссидентства. Причем в сфере диссидентства интеллектуально доминировали другие концепции, здесь распространялись и господствовали либеральные идеи. Понятно, что чем больше было конфронтации с официальным «советским марксизмом», чем более она становилась жесткой, тем более привлекательными становились антимарксистские подходы. Такая психологическая инерция вполне объяснима. И все же марксистская оппозиция в Восточной Европе не исчезала никогда, вплоть до 1989–1991 гг.

5. Советские «шестидесятники»

В Советском Союзе смерть Сталина и начавшиеся после нее перемены не могли не отразиться на развитии общественной мысли. Кампания по десталинизации, предпринятая Хрущевым и его соратниками после XX съезда КПСС, очень мало затронула сферу теории — все основные формулировки официальных учебников по марксизму-ленинизму остались неизменными, из них лишь вычистили упоминания о Сталине (так же, как раньше устранили, по возможности, следы авторства Н. И. Бухарина).

Однако, если официально провозглашенная идеологическая доктрина как будто застыла в монументальной неподвижности, в академической среде происходили достаточно активные дискуссии, нередко выплескивавшиеся на страницы книг и журналов. В начале 1980-х гг. в самиздатовской книге «Мыслящий тростник» я назвал этих авторов «легальными марксистами» (не столько по аналогии с П. Струве, С. Булгаковым и другими русскими профессорами 1900-х гг., сколько в противоположность «нелегальным» марксистам, «публиковавшимся» в самиздате). Однако жесткого разрыва между теми и другими не было. Потому скорее стоило бы говорить об отечественной версии «критического марксизма».

Бесспорно, можно обнаружить отголоски восточноевропейского «ревиизионизма» в советской общественной науке, особенно в конце 1960-х — начале 1970-х гг.

Вообще, конец 60-х — начало 70-х было достаточно продуктивным временем для советской общественной науки. В первую очередь вспоминается философ Эвальд Ильенков. Эта фигура, во многом близкая к Франкфуртской школе. У него мы тоже найдем размышления о коллективном сознании, об этически обоснованных и необоснованных поступках, причем совершаемых массами людей. Точно так же, как и Эрих Фромм, он отвергает вульгарное представление о марксизме как о теории, которая основана на грубом экономическом детерминизме. Напротив, основой марксистского материалистического понимания истории является диалектика личного и общественного. Личность формируется обществом, которое, в свою очередь, основано на определенном способе производства.

Точно ту же мысль развивает в 1968 г. Эрих Фромм в своей книге «Марксово представление о человеке». Фромм подчеркивает, что способ производства формирует господствующую социальную систему, господствующую культуру, нормы поведения. А уже эта господствующая культура формирует преобладающий тип личности. Но это не значит, что каждая личность механически детерминирована экономическими обстоятельствами. Точно так же отсюда не следует, будто все люди будут подчиняться системе. Когда Ильенков пишет книгу «Об идолах и идеалах», он приходит к очень похожим выводам. Но если Фромм опирается на восходящую к Фрейдю концепцию бессознательного, то Ильенков пытается выводы обосновать на традиционной просветительской рационалистической основе. То есть избегая понятия бессознательного.

Другое имя, которое приходит на ум в связи с советским критическим марксизмом, — историк Михаил Гефтер. Рассматривая историю революции и рабочего движения, Гефтер, по существу, ставил те же вопросы, что и Исаак Дойчер.

Официальная трактовка революции — путь от победы к победе, сплошной триумф партии и никогда не ошибающегося, никогда не колеблющегося Ленина. Итог — полная и окончательная победа социализма в отдельно взятой России. Для Гефтера, работающего уже после разоблачений XX съезда, такое отношение к истории не имеет смысла. Он рассматривает революцию как трагический процесс, в духе античной трагедии — как борьбу с роком. Революция неизбежна и необходима, но в то же время обречена. Именно поэтому Гефтера так интересует фигура Ленина — политика, ведущего постоянную борьбу с обстоятельствами, учащегося на своих поражениях.

Русский капитализм явно не созрел для социализма. Но он точно так же явно созрел для революции. А революция, набрав обороты, неизбежно должна стремиться к социализму. В этом трагическом парадоксе объяснение всех драм первой половины XX в.

Гефтер убежден, что развитие русской революции и ее трагический исход тесно связаны с характером капитализма, который существовал в России. Какой был капитализм, такая получится и революция. Он анализирует русский капитализм накануне 1917 г., чтобы понять, почему у нас получилось то, что получилось. Дело не в том, что «злой» Сталин отверг заветы Ленина. И уж тем более не в том, что Ленин не послушался Каутского. Все участники революционной трагедии обречены действовать на основе тех обстоятельств, в тех условиях, которые сложились в результате распада имперской системы в России.

Партия не творец истории, не демиург из сталинского мифа. Действительность не творили, она как-то сама творилась. И партия, и ее вожди детерминированы внешними факторами, той предысторией и историко-экономическим контекстом, из которых вырастают события революции. Поэтому история русского капитализма абсолютно необходима для понимания вот этого всего посткапиталистического советского периода.

Другим выдающимся представителем критического марксизма был ныне здравствующий Г. Г. Водолазов. В 1968 г. вышла его книга «От Чернышевского к Плеханову», затем, в начале 1970-х, вторая книга — «Диалектика и революция». Обе работы посвящены становлению и развитию политической теории марксизма и ленинской политической теории, причем написаны они не в ортодоксальном ключе, не в виде панегирика вождям, как было принято в официальной литературе. Это книги, которые повлияли на дальнейшее формирование политологии в Советском Союзе.

Наконец, в сфере эстетики работал Михаил Лифшиц, который многим представителям молодого поколения казался ортодоксом и даже консерватором, ведь он отстаивал принципы реалистического искусства. Спустя десятилетия мы обнаруживаем, что наследие Лифшица по-прежнему, через много лет после его смерти, остается востребовано (только в начале XXI в. вышло две его книги), причем его эстетические взгляды серьезно повлияли на художников, отнюдь не причисляющих себя к школе традиционного реализма.

К середине 1970-х гг. в Советском Союзе наблюдается явный интеллектуальный и духовный кризис, жертвой которого в первую очередь оказывается критический марксизм. Разумеется, сыграло свою роль ужесточение цензуры и 1972–1974 гг. Но главная причина кризиса «легального марксизма» была не в этом. Его идеи не только оказались не востребованными властью, но и начали отвергаться самой интеллигенцией, все более эволюционировавшей в сторону западного либерализма или православного национализма, почвенничества. Подобная перемена, происшедшая с интеллигенцией, отражала общий упадок системы, оказавшейся неспособной конструктивно реформировать себя. Многие представители поколения «шестидесятников» умерли, спились, некоторые просто замол-

чали. Многие ушли вправо. Некоторые, подобно Гефтеру, под конец жизни публиковались в самиздате.

Однако свою роль советский критический марксизм все же сыграл. К началу 1980-х появляется новое поколение марксистов, к которому принадлежат Александр Тарасов, Александр Бузгалин, Андрей Колганов и, разумеется, автор этих строк.

Глава 3

Гроза 1968 г.

Травма разделения между политической практикой и академической теорией преследовала «западный марксизм» с 1920-х гг. Академический марксизм жил в университетах, был достоянием интеллектуалов. А политические активисты и лидеры обходились простым набором общих, в значительной мере вульгаризованных, прикладных идеологем, которые были характерны для рабочих партий, прежде всего для социал-демократов и для коммунистов.

Между тем после 1945 г. в Западной Европе происходили очень существенные перемены, которые предопределили трансформацию общественного сознания и достаточно резкие сдвиги массового поведения, начиная от политики и кончая бытом.

1960-е гг. остались в истории как времена студенческих выступлений, хиппи, рок-н-ролла, мини-юбок, сексуальной революции и т. д. Но происходившая тогда поведенческая революция была социально обусловлена не просто изменением структуры общества, но и тем, что изменились процессы формирования интеллектуальной элиты. Что же, собственно, произошло после 1945 г. на Западе? В итоге Второй мировой войны был побежден фашизм. Однако победа над фашизмом в Западной Европе была одновременно первой, и в каком-то смысле единственной, фундаментальной политической победой реформистских левых. Практически всюду после, а иногда и в процессе войны начали происходить серьезные социальные реформы, которые в большой степени изменили характер западного капитализма.

Другой вопрос, что эти изменения оказались обратимыми. Но тогда, в первые послевоенные годы, казалось, что пути назад нет.

1. Послевоенные перемены

В годы борьбы с фашизмом левые партии проявили себя как наиболее последовательные участники сопротивления, они мобилизовали массы рабочих на бой, набирали огромный политический вес. Их влияние ощуща-

лось даже за пределами их привычной социальной базы. Они приобрели безусловный моральный авторитет для общества в целом. Это относится как к социал-демократам, так, в еще большей степени, к коммунистам. Не случайно после войны во Франции коммунистов называли «партией расстрелянных». Это партия, которая понесла самые большие потери в годы сопротивления. Но в итоге она выросла, окрепла. Принадлежать к левым стало престижно, романтично. Это значило приобщиться к подвигу.

Во Франции и Италии коммунисты возглавили Сопротивление, лучшие кадры, боевые кадры пришли именно отсюда. В Англии коммунисты были слабы, но левые социалисты сыграли огромную роль в организации победы. Во время войны было сформировано коалиционное правительство, которое возглавлял консерватор Черчилль. Это было правительство очень специфическое. Программа социальной реформы, выдвинутая лейбористами, начала выполняться задолго до их официального прихода к власти в 1945 г. Уже с 1942 г. коалиционное правительство фактически реализует лейбористскую программу. Консервативный премьер ничего не может сделать без поддержки рабочего класса, чтобы вести войну и победить, буржуазия нуждается в народной поддержке.

Правительство пытается показать народу, что демократия способна обеспечить социальный прогресс. Именно поэтому войну против нацистской Германии начинают вести уже не только армия и правительство, а народ.

Британия никогда не переживала настоящей республиканской революции. В XVII в. короткий период республики почти не оставил следов в политической культуре. До 1940-х гг. британское общество оставалось иерархичным, сохраняло феодальные традиции, которые успешно перенимала и поддерживала победившая буржуазия. Правила джентльмены, которые выходили из закрытых школ Итона и Харроу, потом заканчивали Кембридж, Оксфорд. Они были с детства подготовлены к тому, чтобы управлять страной. А «неджентльмены» знали свое место. Они сознавали свои права, могли ими пользоваться, но не управлять страной. Наверху, безусловно, должны были оставаться джентльмены. Вне зависимости от того, кто к какой партии принадлежал, элита охраняла свои привилегии. По мере того как старая аристократия разбавлялась выходцами из буржуазных семей, складывалась своеобразная система подготовки кадров, которая призвана была из потомков «неджентльменов», имеющих деньги, сделать «настоящих джентльменов».

Представители аристократии могли быть по своим взглядам довольно радикальны — как те представители «оксфордской четверки», которые в годы войны стали по идейным соображениям работать на Советский Союз: они пользовались своим влиянием и статусом, чтобы получить секретную информацию и передать в Москву. Джентльмены могли презирать капитализм. Но все равно сохранялась дистанция между традиционной элитой и всеми остальными.

Именно против этого порядка были направлены реформы, начавшиеся в 1945 г. С одной стороны, началась радикальная экономическая реформа. Капиталистический порядок сохранился, но была проведена широкомасштабная национализация. Победив в 1945 г. на выборах, лейбористы передали в государственную собственность угольную промышленность, оборонные предприятия, транспорт. Армия дружно голосовала за лейбористов, а зачастую и за коммунистов. Компартия была очень слаба, но все равно коммунисты получили изрядное количество голосов среди солдат. Бойцы действующей армии не всегда могли голосовать, еще продолжалась война с Японией. Если бы проголосовали все, кто находился на фронтах, коммунисты могли бы стать влиятельной партией.

Реформа 1945 г. создала государственный сектор, сформировала основу для смешанной экономики, для более демократического распределения и для более демократического управления ресурсами. Одновременно разворачивались реформы образования и здравоохранения. Под влиянием советского опыта была введена система общедоступного образования, возникла служба здравоохранения, которая обеспечила фактически для всех рабочих семей доступ к бесплатным медицинским услугам.

Достижения послевоенных лет были признаны всеми, после поражения лейбористов на выборах 1951 г. их политику в области образования и в других сферах продолжили консерваторы. В стране сложился новый консенсус, сделавший реформы необратимыми.

Результатом реформ стало создание новых университетов, открытых для выходцев из рабочих семей. Появились так называемые «кирпичные университеты». Эти учебные заведения сильно отличались от Оксфорда и Кембриджа с их средневековыми колледжами. Новые университеты не имели больших исторических традиций, возможно, не имели элитного состава преподавателей, но способны были дать хорошее общедоступное высшее образование для миллионов представителей социальных низов.

Произошел своего рода переворот. Иерархия власти — это еще и иерархия знания. Власть опирается не только на насилие и принуждение. Господство одних людей над другими закреплено в иерархии знаний. С древнейших времен преимущество господствующего класса закреплялось неравным доступом к образованию. Когда мы имеем общество, где массы лишены образования, то низы не могут эффективно претендовать на власть. Для управления нужен определенный уровень информированности. Крестьян, копающихся в земле, нельзя сразу превратить в политиков, дипломатов, военачальников. Кадры власти дает образованное сословие, городские жители. Там, где нет образованного слоя, способного претендовать на власть, не получается революции, в лучшем случае выходит бунт (как у нас принято добавлять, «бессмысленный и беспощадный»).

А старая система все равно воспроизводится, начинает работать по-старому.

Британский джентльмен времен королевы Виктории с детства готовился управлять страной. А массы могли только подчиняться, ибо не имели образования, необходимого уровня компетентности. Власть должна была принадлежать элитам, которые были не только порождены сложившимся общественным разделением труда, но и были заинтересованы в его незыблемости. Поэтому либерализм конца XIX – начала XX в. был сугубо элитарен. Политическая дискуссия не предполагала участия некомпетентных народных масс.

Элементы этого были и в России 1917 г., хотя революция в крестьянской стране стала возможна благодаря существованию квалифицированной части рабочего класса и радикальной интеллигенции.

Власть незыблема, пока она защищена от претензий низов информационным разрывом. Потому массовое распространение образования является одним из условий реального народовластия. Образование может стать дестабилизирующим фактором, ведь, получив знания, любой из нас начинает понимать, что те, кто нами правит, в лучшем случае не умнее нас. А может быть, и глупее.

Неудивительно, что реформистская левая, пришедшая к власти в большинстве стран Запада в ходе и после Второй мировой войны, не решаясь нанести капитализму главный удар — по системе производственных отношений, одновременно радикально изменила систему распространения и распределения знаний. Огромное число выходцев из низов получили образование. Информационный разрыв между верхами и низами резко сократился.

Образовательная революция, развернувшаяся в конце 1945 г. в Британии, лишь дает нам более яркий пример того, что происходило по всей Западной Европе и отчасти в Америке. К началу 1960-х гг. на сцену вышло уже новое поколение — не воевавшее, но пожинавшее плоды победы. Дети и младшие братья тех, кто вернулся с войны в 1945 г.

Разумеется, дело не только в успехах левых. Происходила модернизация западного капитализма. Именно эта потребность в модернизации заставляла правящие классы с легкостью идти на уступки требованиям реформистских рабочих партий.

2. Кейнсианство

В соответствии с теориями Дж. М. Кейнса государство, брало на себя заботу об ускорении и стабилизации экономического развития. Капитализм вступил в фазу экспансии. Долгосрочная экспансия требовала на этом этапе в сочетании с технологической модернизацией также резкого увеличения численности квалифицированных кадров. А кадры надо обучать, готовить, надо их воспроизводить, надо поддерживать их культуру, обеспечивать им определенный образ жизни. Мы наблюдаем резкий рост средних слоев. Потребность в массовом образовании была экономически

обоснованной. Иными словами, здесь было счастливое сочетание социальной политики, ценностной ориентации левых и объективного запроса экономики, в данном случае капиталистической.

Образование — система инерционная. Чтобы пополнить кадрами новые предприятия с передовыми технологиями, нужно увеличивать число студентов, создавать новые кафедры. Но никто не знает точно, сколько инженеров понадобится через десять лет. Сколько потребуется управленцев. И насколько нужно увеличить численность университетского персонала, чтобы удовлетворить спрос общества.

В конечном итоге мы, скорее всего, получаем перепроизводство специалистов. Что было бы не особенно серьезной проблемой само по себе, если бы не накладывалось на другие общественные противоречия.

Людям в молодом возрасте свойственна, как правило, завышенная самооценка. Это нормально. Как, в конце концов, мы можем понять, завышена наша самооценка или нет?! Только по жизни. Завышенная самооценка молодого человека — это своего рода заявка на будущую жизнь. Заявка, которую предстоит обосновать, доказать.

В середине 1960-х на рынке труда появляется целая масса молодых людей, которые получили образование, но обнаруживают, что в основных своих чертах капиталистическое общество осталось неизменным. Социалистическая по своей сути система общедоступного образования оказалась в противоречии с нормами капиталистического рынка, торжествовавшими в других сферах жизни.

Больше всего людей нужно, чтобы пополнить нижние этажи системы. Но именно здесь все ее противоречия и проблемы ощущаются в наибольшей мере. А молодые «солдаты» уже видят себя будущими маршалами.

К середине 1960-х гг. капитализм столкнулся с перепроизводством интеллектуалов. А сам интеллектуал перестал быть представителем элиты. Образованными стали все. Интеллектуалов много, а их общественный статус снижается.

Бурный рост послевоенных лет к 1960-м гг. замедляется. А инерционная система образования продолжает выбрасывать все новых и новых специалистов на рынок труда. Экономика уже не может их всех «переварить». Тем временем обнаруживается разница между старыми элитами и выпускниками новых университетов. Какие бы передовые идеи ни распространялись в «кирпичных университетах», все равно в Оксфорде учат лучше. Джентльмены остаются джентльменами. Пока рынок рос, пока был спрос на новые интеллектуальные кадры, это не имело значения. Все получали работу. Но к началу 1960-х гг. ситуация меняется.

Левые к тому времени власть утратили. Они сделали свою работу по демократической модернизации капитализма — быстро и эффективно. Но именно поэтому старые правящие классы поспешно стараются теперь от них избавиться.

В начале 1950-х гг. левых отстраняют от власти в Англии, Италии и Франции. В Германии оккупационные власти при передаче полномочий местным политикам сделали все, чтобы ослабить коммунистов и не дать социал-демократам шанса стать правящей партией. Начинается «холодная война».

Нигде не демонтируются реформы, проведенные в годы правления левых, но сами левые как политическая сила теряют позиции.

В США начинается «маккартизм», «охота за ведьмами». Его цель — вытеснить левых из структур власти и управления, где они обосновались во времена Рузвельта. В Европе левых отодвинули в оппозицию электро-ральным путем, в Америке путем интриг и репрессий. Широкая и аморфная коалиция левого центра, возникшая при Рузвельте, уходит в прошлое. Левых вычищают из идеологического аппарата. Потому сенатор Маккарти так интересуется Голливудом. «Фабрика грез» — это еще и мощнейшая пропагандистская система. Это то же «министерство правды». Поэтому люди, даже чуть-чуть заподозренные в нелояльности, типа Чарли Чаплина, который никогда не был красным, изгоняются. Чаплину приходится вообще уехать из Америки.

Власть более не заинтересована в раскручивании маховика социальной трансформации, она заинтересована в том, чтобы остановить перемены на определенной точке. Вот тут-то и появляется первое поколение новых недовольных. Их называли в Англии «сердитые молодые люди». Это были выпускники «кирпичных университетов».

3. Потребление и бунт

Представьте себе рабочего 1945-го или даже 1952 г. в Западной Европе. Люди жили тогда еще очень бедно, они не имели доступа к условиям комфорта, которые были уже вполне доступны для средних слоев, не говоря уже о буржуазии. Но с середины 50-х — начала 60-х гг. большинство общества стало средним классом, люди получили доступ к жизненным благам буржуазной цивилизации. Появились машины, более или менее приличные квартиры, появилась горячая вода, холодильники, газовые плиты, бытовые приборы. Сложилось «общество потребления».

Для предыдущего поколения появление в доме холодильника было, конечно, очень большим событием. Но выросло новое поколение, которое считало, что поклоняться холодильнику абсолютно неинтересно. Изменились ценностные ориентации, возник разрыв между поколениями. Молодежь начала бунтовать. Она стала считать себя не осчастливленной, как их старшие братья, а обиженной. Хотя прошло немного времени, всего лишь 10–15 лет.

Обида выразилась в массовой радикализации молодого поколения, студенческой революции и формировании целой системы норм поведения,

которые были осознанно построены как вызов старым элитам. Отсюда весь набор шокирующих действий, типичный для «новых левых» 1960-х гг. Начиная от появления «Битлов» и рок-музыки, заканчивая резким укорачиванием юбок. Начинается сексуальная революция. Это было не просто раскрепощение молодых, но и вызов обществу. Вы хотите, чтобы мы были приличными, а мы будем неприличными! Мы не хотим быть похожими на наших родителей!

Протест имеет сразу два адреса. С одной стороны, против буржуазии. Но с другой стороны, это и протест против своих родителей. Тех самых людей из рабочей среды, которые кажутся молодежи скучно-покорными, принявшими свою роль в буржуазной системе, усвоившими навязываемые капитализмом ценности. Дети пролетариев уверены, что их родители обменяли первородство революции на чечевичную похлебку потребления.

На политическом уровне «новые левые» выступают и против буржуа, и против «старых левых».

Идет вьетнамская война. Вместе с мини-юбкой, с песнями «Битлов» приходит участие в антивоенных движениях, в разного рода радикальных организациях. Приходит и дискуссия о марксизме. Молодые люди выучились в университетах, усвоили терминологию, общие идеи. Они научились понимать язык Маркса. Им было приятно на этом языке говорить, потому что это отличало их как от необразованных родителей (которые, возможно, считали себя марксистами, но прочитать «Капитал» были не в состоянии), так и от буржуазии, от старой элиты с ее обрыдлыми либеральными ценностями.

Вместе с разочарованием в старых элитах и традиционной миссии рабочего класса приходит разочарование в старых левых партиях. Кто такие старые левые? Это социал-демократы и коммунисты. Организованное рабочее движение — это профсоюз, партийная бюрократия. Это скучно. Здесь нет движения, нет импульса, нет игры, это машина. Да, «старые левые» сделали свое дело, сделали, может быть, очень хорошо, спасибо им, они дали нам холодильники. Да, они сражались с фашизмом. Но что они могут нам предложить сегодня? Какие идеи, какие ценности?

Тем временем социал-демократы и даже коммунисты начинают работать как партии по воспроизводству собственных кадров. Они обеспечивают, зачастую очень эффективно, местное самоуправление. Но опять же занимаются совершенно скучными вещами: помойками, муниципальным транспортом, детскими садами.

То ли дело революция!

Коммунисты теперь уже не партия революции, даже не партия реформ, потому что реформы уже завершены. Это партия повседневной мелкой работы на местах.

А что могут эти партии предложить своим сторонникам на интеллектуальном уровне? Коммунисты продолжают читать учебник, переведенный в издательстве «Прогресс» на все языки, включая целый ряд афри-

канских, но у них нет ответов на текущие вопросы. Социал-демократы... ну с ними еще скучнее. Это просто управленцы, которые не могут никаких больших идей предложить. Кто-то из австрийских молодых социал-демократов, обращаясь к своим старшим товарищам, говорил: «Wir Brauchen eine Vision!» Ему ответили: «Wer Visionen hat soll zum Arzt gehen!» По-немецки видение будущего и привидение, галлюцинация — одно слово, Vision. Молодой человек говорил о видении будущего, а его послали к доктору, чтобы он излечился от видений.

4. Отчуждение

Великой борьбы, как у старшего поколения, сражавшегося с фашизмом, молодому поколению история не предоставила. Старшие считают, что это огромное счастье — не надо воевать, нет концлагерей, голода. Но молодым нужна динамика, нужен подвиг.

Новое поколение само для себя создает фронт борьбы.

Где они находят источник вдохновения? Во-первых, возникает представление о западном обществе как тотально коррумпированном, подчиненном логике потребления и лишь отчасти — логике производства, причем производства жестко организованного, лишаящего человека возможности самореализации.

Что такое внедренный Генри Фордом конвейер? Те, кто видел «Новые времена» Чарли Чаплина, прекрасно помнят, как Чарли стоит у конвейера и все время делает одну и ту же операцию, пока не начинает сходить с ума. Конвейерная лента, заставляющая людей непрерывно повторять одну и ту же простейшую и монотонную операцию, — это воплощенное отчуждение личности. Человек больше не принадлежит себе, он выступает как придаток к машине. Он отчужден на производстве, он подчинен внешней власти в государстве, он подавлен бюрократией, он зависим от технологии. Иными словами, не человек создает технологию под себя, а технология заставляет подстраиваться, адаптироваться к себе человека. Отчужденная личность компенсирует свои стрессы потреблением. В тот момент, когда он стоит у прилавка магазина, ему кажется, что он свободен. Он врывается в супермаркет с карманами, набитыми деньгами, и начинает сгребать все, что может, с полок. Деньги дают свободу! — объясняют ему либеральные идеологи. Но и в этот заветный момент он на самом деле несвободен, потому что им манипулирует реклама, потому что он может взять с полок лишь то, что туда положили, и купить только то, на что у него хватит денег. Соответственно, управляет тот, кто закладывает эти все параметры. Сколько можно потратить? Как? Когда? Все это решаем не мы.

Позднее Герберт Маркузе назвал такую полностью управляемую личность «одномерным человеком». Здесь прямая параллель между Маркузе

и ранним Марксом, и Маркузе не случайно опирается на Парижские экономическо-философские рукописи 1844 г., где Маркс пишет про отчуждение пролетариата.

Рабочий — это отчужденная личность, он не принадлежит себе, не только его труд, но и в значительной степени его личность принадлежит не ему. Вместе с отчуждением труда происходит отчуждение личности, поскольку труд — это одна из возможностей выражения личности. Теряя контроль над трудом, он теряет контроль над собой. Но Маркс подчеркивал, что речь идет именно о положении пролетария на производстве. Для Маркса пролетарий не является потребителем, он прежде всего производитель. Это соответствует ситуации капитализма XIX в. Тогда потребляли средние классы, мелкая буржуазия. А рабочий класс жил на нищенскую зарплату и на рынке всерьез не выступал в качестве потребителя товаров. Поэтому Маркс подчеркивал, с одной стороны, что воспроизводство рабочей силы происходит на минимальном уровне потребностей, что унижает человека. А с другой стороны, Маркс пишет, что пролетарию остаются только самые примитивные, животные наслаждения — еда, секс. Сексуальность, с точки зрения Маркса, — это нечто биологическое. Здесь «франкфуртцы» были иного мнения, потому что они все-таки ученики Фрейда. Они прекрасно понимают, что человеческая сексуальность не так биологична, как животная. Для них сфера сексуальности отнюдь не ограничивается биологическими факторами. Это более сложный процесс. Но с другой стороны, именно потому, что сфера сексуальности не является, по их мнению, сферой биологической, они здесь тоже обнаруживают проявление отчуждения, проявление несвободы. Они гораздо более высокого мнения о сексуальности как форме проявления человеческой личности, но если Маркс не видит здесь репрессивного начала, то они видят.

5. Репрессивная терпимость

Анализ «франкфуртцев» рисует западное общество как внешне благополучное и формально свободное, но на глубинном уровне тотально репрессивное. Маркузе говорит про «репрессивную терпимость». Даже демократические процедуры, заявляет он, имеют репрессивный потенциал.

Что такое репрессивная терпимость? Есть два варианта ответа. Первый, наиболее простой, состоит в том, что общество дает тебе возможность выступать, позволяет говорить то, что ты думаешь. Тебе никто не запрещает шуметь. Но почему? Потому что говори не говори, все равно ты ничего не можешь изменить. Собака лает — караван идет.

Если ты не можешь ничего изменить, свобода оборачивается выпуском пара. Можно издавать радикальные книги, можно дискутировать о марксизме, но вас не слушают. И эта система будет работать. Радикальный

интеллектуальный импульс блокируется политической системой, она его гасит: в том числе и через демократические институты. Бюрократия крупных партий зависит от внешнего финансирования. Институты парламентаризма постепенно укрощают радикалов. Бунт, превращенный в акт голосования, заканчивается косметическими изменениями в системе.

Другая интерпретация состоит в том, что сам по себе капиталистический успех коррумпирует тех, кто его добился. Возьмем, например, ливерпульских «Битлов». Вот четверо радикальных парней из рабочей среды, из пролетарского города Ливерпуля. Это город, где всегда, при любом раскладе избирали только лейбористов. А среди лейбористов — всегда представителей самого радикального левого крыла. Абсолютно «красный» город. Город, где троцкизм стал массовым движением. Говорили, что если бы здесь лейбористы выдвинули в парламент лошадь, то и лошадь бы выбрали, потому что за буржуев голосовать все равно не будут. Лучше за лошадь.

И вот ливерпульская четверка начинает петь свои песни, а их песни звучат как вызов системе, как пощечина общественному вкусу. Даже если они поют не о революции, они все равно поют не так, как принято в приличном обществе. Но неожиданно буржуазное общество этот радикализм принимает. Раз на нонконформизм есть спрос, значит, им можно торговать. «Битлы» получают огромные деньги, достигают общепризнанного успеха, становятся звездами, миллионерами. Если вы строите себе дворцы, можете сколько угодно петь про революцию, это уже никого почему-то не убеждает. Заканчивается это все очень плохо: один из поклонников ранних «Битлов» вдруг приходит и убивает лидера четверки — Джона Леннона.

Это история, которая на разные лады повторяется множество раз, — не всегда, впрочем, со столь кровавым финалом. На радикализме можно сделать успех, но чем более ты успешен, тем менее ты серьезен в своем радикализме, даже если формально не изменил своих взглядов. Именно потому поколение «новых левых» начинает искать опору в «третьем мире», и бывших колониальных странах, еще не разъединенных ржавчиной потребительской культуры.

Западный пролетариат кажется им насквозь коррумпированным, он интегрирован системой, обменял свою идеологию на потребление. Его потребление обеспечено за счет сверхэксплуатации трудящихся в бывших колониях. Не забывайте, все происходит в 1960-е гг., это пик деколонизации, разворачивается антиколониальная революция. Совсем недавно победила китайская революция, она не была в буквальном смысле антиколониальной, но вдохновила на борьбу людей в колониях. Затем побеждает кубинская революция. Разворачивается война во Вьетнаме. Боевые действия там идут, практически не прекращаясь, с 1940-х гг. Только что завершилась победой освободительная война в Алжире. Добиваются успеха и другие антиколониальные движения, как мирные, так и насильственные.

Но борьба далека от завершения. Политическая независимость не освобождает от экономической эксплуатации. Растет понимание того, что страны Запада обеспечивают комфортабельную буржуазную жизнь для большинства своих граждан на костях «третьего мира». Другое дело, что это вполне верное понимание сути мировой экономики тут же начинает мифологизироваться, обрастать целым рядом идеологических образов. Революционер «третьего мира» становится героем западной молодежи. Советский Союз давно уже никого не привлекает, уже прошел XX съезд КПСС, прошла венгерская революция 1956 г. Теперь никто не ждет от Советского Союза, что он предложит привлекательную модель нового общества. А вот «третий мир» — другое дело. Это не модель общества, а модель поведения, борьбы, неотчужденного, пусть и крайне драматичного бытия. У них нет политических свобод, но есть внутренняя свобода. Такой вот романтический образ (вспомним Байрона, вспомним молодого Пушкина).

6. Маоизм

В Советском Союзе не понимали массового увлечения западной молодежи Китаем, Мао Цзедуном. А в западном молодежном движении 1960-х гг. было две легенды: Председатель Мао и Эрнесто Че Гевара. В Советском Союзе Че Гевару признали: герой, партизан, сражался, погиб. Бунтарь-одиночка, но вооруженный марксистской теорией. Кстати, Мао специально осуждал образ «борца-одиночки». Он считал, что бунтарь-одиночка — это буржуазный миф, который препятствует формированию коллективного бунтаря.

И все же, почему так популярен Мао у западных молодых людей в 1960-е гг.? Его воспринимали в советской интеллигенции как второе издание Сталина, китайское издание, с гораздо большим размахом, с еще большим числом жертв. Хотя, когда в Китае были массовые голодовки, в Европе об этом ничего не знали. Впрочем, не надо думать, будто голод был специально организован государством. Ни Мао, ни Сталин не ставили перед собой специальной задачи выморить какое-то количество людей в процессе коллективизации. Просто они не считались с жертвами. Много ли погибнет людей, мало ли, для них не имело значения. Они думали о других проблемах.

На самом деле Мао не был, конечно, вторым изданием товарища Сталина. В свое время Энгельс сказал про Кромвеля, что тот был одновременно и Робеспьером, и Наполеоном английской революции. Вот про Мао можно сказать, что он был одновременно и Лениным, и Сталиным китайской революции, а может быть, еще и Троцким. Во всяком случае это фигура, которая прошла все этапы революционного развития. В России на разных этапах революционного процесса оказывались востребованы разные фигуры. А Мао менялся сам по мере развития процесса. Был один

Мао в период вооруженной борьбы, другой Мао был в период установления коммунистической власти, потом у него был свой нэп, было время, когда «расцветали сто цветов». Потом был «Большой скачок» — первая, неудачная попытка форсированной индустриализации. Наконец, была культурная революция.

Мао менялся вместе с историческими задачами, как настоящий мудрый восточный политик. И всегда соответствовал своим задачам.

У Мао было две идеи, абсолютно перевернувшие классический марксизм. Первая идея состояла в том, что страны «третьего мира», крестьянские по составу населения, подвергаясь капиталистической эксплуатации извне, являются революционной силой.

Ленин говорил о союзе рабочих и крестьян. Мао идет дальше. В его теории крестьянство уже выступало не просто как отсталая масса, которую рабочие должны были за собой повести. Мао показывал, что китайское крестьянство имеет собственный организационный, идейный, культурный потенциал. Оно не может обойтись без рабочего класса, но именно оно сыграет решающую роль в революции. В годы народной войны Мао выдвинул лозунг: «Деревни окружают города!» После того как рабочее движение потерпело неудачу в городах Восточного побережья, коммунисты уходили в деревни и там находили свою новую социальную базу.

Произошла, если угодно, регрессия, или определенная теоретическая эволюция от классического марксизма в сторону русского народничества. Однако все не так просто. Например, Ленин, будучи принципиальным критиком народничества и идей крестьянского социализма, общинного уклада и т. д., на практике действовал совсем не так, как учил ортодоксальный марксизм по Каутскому и Плеханову. Другое дело, что Ленин упорно отрицал собственное теоретическое новаторство и представлял себя просто ортодоксальным марксистом, верным идеям своих предшественников. Маркс тоже не был особенно ортодоксальным марксистом. Его интересовало русское народничество, и он подчеркивал, что его идеи сформулированы на материале Западной Европы. Для того чтобы успешно применять их в других местах, надо переосмыслить марксизм, исходя из нового социального опыта. Чем, собственно, и занялся Мао.

С другой стороны, в 1960-е гг., когда становится очевиден срыв «Большого скачка», когда выясняется, что индустриализация Китая не может быть успешно реализована по советскому сценарию (страна слишком отсталая), Мао начинает, как положено, искать виноватых. И находит их в лице партийного аппарата. Культурная революция оказывается ответом на политический кризис, порожденный неудачами и догматическими подходами партии в предшествующее десятилетие.

Здесь обнаруживается важное различие между советскими «чистками» 1930-х гг., завершившимися массовыми репрессиями, и китайской культурной революцией. Отличие, которое не было понято советской интелли-

генцией. Отличие абсолютно не в мере жестокости. В Китае жестокости было не меньше. Но методы политической борьбы были совершенно иные. Сталин опирался на репрессивный аппарат, на тайную полицию, на структуру, на ту же бюрократию. Одна часть бюрократии чистила другую, а потом, до известной степени, начала очищать себя. Руководители террора — Ежов и Берия — закончили свои дни точно так же, как и их жертвы. Работала бездушная полицейская машина, которая была определенным образом отлажена, определенным образом воспроизводилась.

Мао пошел по другому пути. Он сделал репрессии элементом демократии. Или сделал демократию репрессивной, а репрессии... демократичными. Он провозгласил лозунг: «Огонь по штабам!» Он обратился к народу и дал ему свободу. Но свободу только в одном — выявлять и самостоятельно наказывать врагов революции.

И массы народа откликнулись. Также откликнулась молодежь, студенты первого, второго курсов. Такие же образованные люди в первом поколении, как и их сверстники на Западе. Им нужно было расчистить себе место, получить должности, рабочие места, перспективы в жизни. Они начали своими руками расправляться с теми, кто им мешал. Это было по-своему очень демократично.

7. Демократия и массовое движение

Это только в либеральных трактатах демократия выглядит гладко и благостно. На самом деле демократия может быть крайне жесткой. В конце концов, именно демократический афинский народ тайным голосованием решил отравить Сократа.

Либеральные процедуры на протяжении XVIII–XIX вв. систематически оттачивались для того, чтобы свести к минимуму эксцессы демократии, но одновременно выхолостить ее подрывное содержание, заложенный в ней потенциал плебейского бунта.

Мао сказал: «Огонь по штабам!» Он не стал, как Сталин, проводить политические чистки с помощью тайной полиции, а вызвал народ и призывал его самого разобраться. Легко догадаться, как относился народ к партийной бюрократии. В этом смысле маоизм действительно резко отличается от сталинизма: он решает проблемы не с помощью аппарата, а на основе стихийности.

В конце концов, суд Линча тоже порождение прямой народной демократии. Решили большинством голосов человека повесить и повесят — тут же на месте. Не нужен ни палач, ни полиция, люди все своими руками сделают, и бесплатно. Когда подобные методы применялись в Китае хунвейбинами во время культурной революции, сам товарищ Мао пришел в ужас и начал сворачивать их деятельность. Погромы, устроенные хунвей-

бинами, могли быть совершенно символическими. Но могли быть и крайне жестокими. Все зависело от настроения в массах. Старые механизмы государственных репрессий, как выяснилось, отнюдь не были демонтированы. Их снова включили, задействовав не против старых бюрократов, а против разбушевавшихся молодых людей.

Из далекой Европы культурная революция выглядела взрывом бунтарской демократии масс. Надо не забывать, что репрессии и в китайском, и в советском варианте имели... демократическую составляющую. Они обеспечивали вертикальную мобильность, смену кадров. Более гуманного способа ротации кадров система выработать не смогла. Проштрафившихся чиновников надо было куда-то удалять (в тюрьму, в ссылку, на тот свет). Другое дело, что наказание могло последовать не только за провал, но и за успех. Ведь успех вызывает зависть, провоцирует соперничество. Что, впрочем, происходит и в демократической политике — только с менее кровавыми результатами.

На смену истреблявшимся кадрам приходила новая волна выходцев из низов — вертикальная мобильность, демократизация аппарата. Занятно, что потом советская интеллигенция с 1970-х гг. себя отождествляла с жертвами репрессий. А большинство ее составляли семьи, поднявшиеся как раз благодаря репрессиям. Было расчищено пространство для появления огромной массы «выдвиженцев», которые потом поднялись до различных высот, включая интеллектуальные, культурные, духовные и т. д.

Маоизм решал ту же проблему напрямую, давая народу возможность самостоятельно разобраться со «штабами». Это накладывалось на определенные представления о спонтанности, о стихийном движении, типичные для Запада. Достаточно вспомнить идеи Розы Люксембург, ее критику бюрократии, идеологию стихийного пролетарского протеста.

Че Гевара тоже многое взял у Мао. Прежде всего это идея «революционного очага». Че понимал очаг прежде всего в военном плане. Революция может начаться еще до того, как созрели все ее предпосылки. Точнее, предпосылки революции созревают в процессе самой революции. Решающим фактором здесь становится политическая воля.

Это резко отличает Че и от советских теоретиков, и от ортодоксальных марксистов времен Каутского. Они учили, что нужен ряд объективных и субъективных предпосылок революции. Нужен определенный уровень общественного развития, нужна революционная ситуация, нужна правильная пролетарская партия с правильным руководством. Что делать, если одни предпосылки есть, а других — нет? Ничего не делать. Заниматься пропагандой теории...

Че Гевара не согласен. Он говорит, что революционная ситуация никогда не обернется революцией, если не придет группа людей, обладающая политической волей. А обладая революционной волей, они смогут развить ситуацию. В процессе борьбы создать то, чего не было до ее нача-

ла. Дозревание социальной и политической ситуации происходит не стихийно. Многое может зависеть от конкретных людей. Здесь можно найти параллели с русским народничеством,

Че Гевара стал символом личной ответственности, личного риска и самопожертвования. Не случайно, конечно, Че Гевара начинает ассоциироваться с образом Христа. На уровне символическом происходит контаминация символов марксистских и христианских (особенно в католической Латинской Америке). Неудивительно, что фотография с мертвым Че Геварой, погибшим в Боливии, воспринималась как современная версия «Снятия с креста».

Смерть Че становится своего рода искуплением, вершиной его революционной карьеры. С другой стороны, Че символизирует прямое индивидуальное действие, готовность к личной ответственности. Это сильно отличало идеи Че, формально принадлежавшего к коммунистическому движению, от культуры, господствовавшей в следовавших за Советским Союзом партиях. Неудивительно, что Че сразу стал иконой «новых левых».

8. Идеологический синтез

Итак, в движении «новых левых» 1960-х гг. мы видим синтез целого ряда идейных традиций: влияние маоизма, Че Гевары. Заметны и следы анархистской идеологии. Но все же наиболее заметным было влияние Франкфуртской школы, фрейдомарксистов.

Представителей Франкфуртской школы назвать учениками Фрейда можно лишь условно. Они не учились никогда у самого Фрейда. Например, Карл Юнг, который создал более консервативную версию постфрейдизма, непосредственно работал с Фрейдом. Надо сказать, что Фрейду одновременно повезло и не повезло с учениками. С одной стороны, повезло, ибо у него были такие замечательные ученики, как Юнг, а с другой стороны, первым делом все его ученики начинали с критики Фрейда. Они брали у Фрейда понятие бессознательного, но в отличие от учителя полагали, что сексуальность не является единственным источником бессознательного. Юнг уверен, что существуют разные типы личности с разными формами бессознательного. Для кого-то доминирующим фактором оказывается воля к власти, для другого — сексуальность, либидо. Для Франкфуртской школы принципиален не вопрос о том, что приходит из подсознания в сознание, а о том, что вытесняется из сознания в подсознание. Именно то, что вытесняется в подсознание, начинает потом исподтишка управлять личностью. Но и личность, и ее комплексы развиваются в обществе. Психические патологии личности в буржуазном обществе отражают социальные и культурные патологии самой капиталистической системы.

Основоположником Франкфуртской школы считается Теодор Адорно. Автор, очень трудно понимаемый и очень трудно переводимый. Влияние

гегелевской философии на его стиль в сочетании с элементами фрейдистского жаргона делает многие тексты Адорно труднодоступными даже для того, у кого немецкий язык родной. Более молодой Герберт Маркузе тоже пережил сильное влияние Гегеля, особенно в ранних работах. Но Маркузе все же не безразлично, понимает его читатель или нет. Гегельянство Маркузе — это скорее проявление влияния Адорно. По мере того как Маркузе освобождается от влияния старшего товарища, он все меньше внимания уделяет Гегелю и все больше — Марксу.

Рядом с Адорно стоит Макс Хоркхаймер. За ними следует молодое поколение — Герберт Маркузе и Эрих Фромм. Наконец, третье поколение — Юрген Хабермас и Оскар Негт. Старшее поколение пишет по-немецки, среднее — по-английски. Младшее поколение — опять на немецком. Политическая эволюция школы тоже интересна. Для старшего поколения свойственно скорее трагическое сознание. В революцию они не слишком верят. Среднее поколение возлагает надежды на революционное изменение мира, а младшие «франкфуртцы» становятся социал-демократами.

На первых порах Маркузе воспринимался главным образом как ученик Адорно. Правда, Адорно пишет очень темно, а Маркузе доступно, внятно, по-человечески. Естественно, вместо того чтобы копаться в Адорно и разбираться, что этот профессор хотел им сказать, люди брали с полки книгу Маркузе и все понимали. Маркузе писал о культе потребления, об отчуждении и революции, которая должна разрушить коррумпированное потребительское общество. Но вот вопрос: кто будет могильщиком системы? Маркузе, в отличие от Маркса, не возлагает больших надежд на западный рабочий класс. Потребительское общество развратило всех, включая пролетариев. Оно негуманно, оно унижает и деформирует всех, но в то же время никто не готов восстать против этого порядка. Все в цепях, но цепи — золотые. Или, во всяком случае, позолоченные.

Пролетарий вроде бы заинтересован защищать свои права от капитала. Но он не способен к революционному разрыву с ним.

Эти воззрения Маркузе часто противопоставляют классическому марксизму. Однако давайте вспомним работу Ленина «Что делать?». В ней Ленин пишет про то, что у рабочего класса может быть две политики — социалистическая и буржуазная. Экономическая борьба сводится к буржуазной политике рабочего класса — к заботе о лучшем положении для себя в рамках сложившейся системы. И тот же Ленин говорит, что без помощи революционной интеллигенции рабочие выше «буржуазной политики» самостоятельно не поднимутся. Подобные рассуждения Ленина современники активно критиковали. В частности, Плеханов обвинил его в недооценке рабочего класса. Однако в данном случае для нас важно не то, кто был прав — Ленин или Плеханов. Важно, что идеи раннего Ленина парадоксальным образом близки к взглядам Маркузе. Различие лишь в том, что Ленин видит выход из этой ситуации в деятельности революционной партии,

которую создает интеллигенция. А Маркузе уверен, что весь рабочий класс вместе со своими политическими партиями — даже теми из них, что называют себя социалистическими и коммунистическими, — полностью находится в плену у буржуазной политики. Он настолько коррумпирован системой, что действовать в качестве революционной силы не может. Потому идея революции у Маркузе теряет черты классовой эмансипации.

Маркузе пишет книгу «Одномерный человек». В истории, рассказываемой философом, нет положительных героев. Все коррумпированы. Но также — все жертвы. Никто не виноват, всеми манипулируют, никто не имеет собственной воли. А у того, у кого нет воли, — нет и вины. Круг замкнулся.

Надо сказать, что одномерный человек, по Маркузе, существует в двух ипостасях. В одной ипостаси он существует на Западе, когда им манипулируют через потребление, рекламу, навязанные потребности. И с другой стороны, есть иные формы отчуждения, характерные для советского общества. Там идеология сама по себе выступает непосредственным фактором управления. Что нехарактерно для западного общества, где предлагают более тонкие манипуляции. Любопытно, что в советском марксизме Маркузе обнаружил и своеобразный освободительный шанс, совершенно четко заложенный в самом идеологическом механизме. Ведь интенсивность идеологического контроля и принуждения ослабевает по мере движения к периферии системы. Центром системы является вопрос о политической власти, чем дальше мы находимся от темы политической власти, тем менее интенсивен контроль (что отнюдь не обязательно при капитализме с его более тонкими методами). Это заставляет всех недовольных уходить из сферы политической идеологии в сферу культуры. Иными словами, чем больше людей начинают загонять на партсобрания, заставляют голосовать по указке, осуждать врагов, тем больше люди начинают интересоваться стихами, покупать томики Ахматовой, читать поэзию Серебряного века, ходить в театры. Именно здесь, по Маркузе, скрыт секрет беспрецедентного расцвета культуры и искусства в СССР, несмотря на жесткую репрессивную среду.

Система в качестве защитной реакции провоцирует у людей массовую потребность в культуре. Понятно, что идеологи осознают это, они начинают вмешиваться в сферу искусства, эстетики, культуры, пытаются там тоже установить свои нормы. Возникает цензура в сфере искусства. В том числе направленная не только на выражения политического инакомыслия, но и на художественные формы (абстракционизм, нетрадиционная музыка и др.). Но здесь система все равно не может достичь той интенсивности контроля, которой она обладала в чисто политических вопросах. Применение таких мер контроля к эстетическим образам заведомо неадекватно. Художественный образ не может быть, на самом деле, подцензурен, он не сводится к чисто логическим, артикулируемым формулировкам, которые могут быть скорректированы. Речь даже не идет о скрытом протесте. Писатели сочиняют

про Древний Рим, а у читателя возникают ассоциации с Политбюро. Иногда даже незапланированные. В знаменитой пьесе Леонида Зорина «Дион» кто-то из римского начальства призывал вызвать в столицу варваров «временно, до стабилизации положения». Это было написано еще до советского вторжения в Чехословакию. А когда вторжение случилось, официальные лица использовали ровно те же слова, что вложил драматург в уста древнего римлянина!

Искусство работает не на уровне конкретно артикулируемой реплики, оно работает на уровне сюжета, на уровне восприятия образа, ощущения, настроения и т. д. Поэтому, если вы вырезали реплику, вы испортили текст, но настроение все равно осталось. Возникает парадокс. Искусство занимается «прекрасным». Но «прекрасное» становится политическим, потому что сфера эстетического становится сферой протеста, сферой ухода. Тот самый уход, который для Маркузе, в западном варианте, представляет собой отказ от потребления. В советском варианте, оказывается, отказ не нужен. Люди уходят в сферу искусства, в сферу прекрасного и здесь находят свою защитную среду. Получалось, что «Советский марксизм» давал читателю более оптимистичный взгляд на жизнь, чем «Одномерный человек». Это написано, прежде всего, про западного человека. Книга про одномерного человека была запрещена в Советском Союзе: она вызывала нежелательные ассоциации. Но одномерный человек советского образца был загнан в свою одномерность формальными ограничениями. Его пустили по коридору, коридор узкий. А западный одномерный человек сам бежит туда, куда нужно, не пытаясь сворачивать. Он сам одномерное существо, потому и движется по прямой. Сфера западного искусства тоже достаточно поражена вирусом коммерции. Маркузе оказался куда более снисходителен к советскому человеку.

Капиталистическая система на Западе, считает Маркузе, плоха не потому, что приводит — по Марксу — к обнищанию пролетариата, абсолютному или относительному, а потому, что ведет к деградации личности. В этом смысле положение буржуа не лучше, чем положение пролетария. Ключевым моментом является духовное обнищание, а не материальное. Потому бунт, провозглашаемый Маркузе, — это бунт в том числе и против потребления.

Революционным принципом становится отказ. Не просто отказ от избыточного, навязанного системой потребления, но от всей системы потребительских ценностей. Маркузе не призывает людей выбрасывать в окна холодильники и телевизоры. Он говорит о философии потребления, хотя предполагает и определенные сдвиги в поведении. Кстати говоря, идея отказа, по Маркузе, сразу находит отклик у молодежи. Ведь молодежи гораздо легче, нежели старшему поколению, дается нонконформизм. В двадцать лет человек может отказаться от благ цивилизации и стать, например, хиппи. После сорока такой подход к жизни гораздо более проблематичен — появляются связи, дети, обязательства. Потому идеи Маркузе прежде всего были восприняты молодежной средой.

Но с другой стороны, если революцию не совершает рабочий класс, как учили Маркс и Ленин, то кто? Молодежь становится сама по себе революционной силой? Маркузе надеется на студентов и разного рода маргиналов, не вписанных в систему потребительского общества. Студент, например, еще не включен ни в систему производства, ни в систему потребления (эти две системы в условиях позднего капитализма тесно взаимосвязаны). Он еще не до конца социализирован. Он социализирован как личность, но не как субъект производства, не как объект управления. Его участие в управленческих иерархиях минимально. Ему не дают прямых указаний, его участие в системе ограничивается нормами посещения занятий, которые тоже постоянно и безнаказанно нарушаются (французских и американских студентов, в отличие от их советских сверстников, не посылали копать картошку).

Книга Маркузе «Эссе об освобождении» становится крайне популярна среди радикальной молодежи 1960-х. Однако сам ее автор в конце жизни начинает сомневаться в своей правоте. Может быть, он недооценил рабочий класс? Смогут ли студенты самостоятельно совершить социальный переворот? Революция 1968 г. показала, что не смогут.

Поздний Маркузе серьезно занимается самокритикой. В одних случаях он публично корректирует свои взгляды, в других заявляет, что был неверно понят. Появляется книга «Контрреволюция и бунт». Маркузе, анализируя поражение революции 1968 г., возвращается к более традиционной стратегии, весьма близкой к ленинской. Он не отказывается от поддержки студенческого движения, но видит в нем лишь детонатор — малый мотор молодежного протеста, который должен запустить большой мотор рабочей революции. Студенты должны пробудить в рабочих классовое сознание. Тем самым философ 1960-х гг. возвращается к идеям раннего Ленина, только в другой, уже западной культурной интерпретации. Поздний Маркузе, в сущности, подвергает свои собственные взгляды достаточно фундаментальной ревизии, возвращаясь в большей степени к традиционному марксизму, но по весьма странной траектории.

В 1968 г. в Париже студенческие волнения действительно спровоцировали забастовки рабочих. Но рабочие боролись отдельно, а студенты отдельно. Это были два параллельных процесса. Впрочем, Маркузе приходит к заключению, что революция студенчества потерпела неудачу не только в силу ограниченности своей социальной базы. Он делает еще один вывод, который крайне важен для дальнейшего развития марксистской политологии. Он говорит о превентивной контрреволюции. Иными словами, контрреволюция начинается уже не только как ответ на революционные действия (так было в XIX в.). А в XX в. правящие элиты, понимая возможность революционного взрыва, могут начать контрреволюцию превентивно, еще до того как началась революция. Че Гевара пишет, что революция может начаться еще до того, как созрели все ее предпосылки. Но Маркузе замечает, что и контрреволюция разворачивается раньше, чем возник революционный кризис. Что,

кстати говоря, и произошло с Че Геварой в Боливии, где он попытался на практике реализовать свою идею стимулирования революции и спровоцировал превентивную контрреволюцию, жертвой которой сам и стал.

В изменившемся обществе политическая воля и сознание играют возрастающую роль. Однако Маркузе, в отличие от Че, не возлагает чрезмерных надежд на политическую волю. Ключом к победе является расширение социальной базы движения. Это единственный ответ на превентивную контрреволюцию. Более того, как показывает последующий опыт, неправильно проведенная превентивная контрреволюция сама по себе может толкнуть новые силы в революционный лагерь, ускорить его консолидацию. Путинщина в России 2003–2004 гг. — типичный пример превентивной контрреволюции. Правящая элита боится социального взрыва, боится негативных последствий собственной политики и начинает закручивать гайки. А в итоге — недовольство либеральной буржуазии, рост политической конфликтности в обществе.

9. Марксизм и психоанализ

В рамках Франкфуртской школы Эрих Фромм был менее знаменит и политически менее радикален, нежели Маркузе. Их личные взаимоотношения были не слишком хорошими. Но взгляды Фромма тоже повлияли на развитие марксистских дискуссий.

В отличие от Маркузе, Фромма интересовала психология политики. Он начал рассматривать большие группы людей как своего рода совокупные коллективные личности. Ведь масса состоит из конкретных людей, а индивидуальный человек, хочет он того или нет, является частью социальной массы. Здесь работает статистика, закон больших чисел. Фромм изучает коллективное бессознательное. Ведь у большой массы людей обнаруживаются однотипные комплексы.

Фрейдистская социология, на самом деле, сугубо дуалистическая. Психология массы не чужда фрейдизму. Но у Фрейда нет понятия коллективной личности. У Фромма, напротив, возникает такое понятие. Классы действуют как некая совокупная коллективная личность, которая подвергается своеобразному коллективному психоанализу: ведь общий механизм социального поведения — тот же, что и механизм индивидуального поведения.

Перед нами проходят типичные массовые реакции, коллективные страхи и фобии. Благодаря этому мы раскрываем механизмы манипуляции, с помощью которой управляют массовым сознанием. Надо сказать, что в России 1990-х гг. национально озабоченные публицисты написали множество книжек про манипулирование сознанием и даже придумали новое словечко — «зомбирование». Но ничего нового по сравнению с Фроммом им придумать не удалось. Напротив, они лишь сами запутались. Ведь в их

рассуждениях манипуляция предстает некой универсальной технологией, а источник ее в некой абстрактной злой воле — заговорщики, масоны, иностранцы, евреи. Можно добавить инопланетян. По существу, речь идет лишь о проецировании собственных страхов, фобий объекта манипуляции на того, кто им манипулирует.

Напротив, Фромм показал связь между социальной реальностью и возможностями психологических манипуляций. Здесь работают совершенно конкретные классовые интересы. Более того, успех манипуляций совершенно не гарантирован. Он зависит от конкретной социальной ситуации, от степени развития классового конфликта.

Классическая книга Фромма «Бегство от свободы» посвящена становлению гитлеровского тоталитаризма. Для «франкфуртцев», эмигрировавших из Германии в связи с приходом к власти нацистов, вообще характерно особое внимание к подобным темам. Адорно очень много места уделяет исследованию того, как функционирует пропаганда, как контроль над информационными потоками позволяет контролировать поведение. Пропганда, с точки зрения Адорно, преступна как таковая. Когда государство или некая политическая машина начинают формировать массовое сознание, они начинают тем самым вторгаться в сферу индивидуального бытия, деформируя личность.

По логике Адорно политтехнологов надо объявлять врагами человечества и сажать в тюрьмы.

Но наиболее подробный анализ психологии тоталитаризма дает всё же Эрих Фромм. «Бегство от свободы» — работа одновременно и социологическая, и психологическая. Фромм анализирует коллективное сознание социальных групп и классов, поддержавших нацизм. И объясняет, что же происходило с сознанием немецкого мелкого буржуа, превратившегося из добропорядочного бюргера в сторонника фашистской диктатуры.

Переход к свободному рыночному капитализму означает торжество страха. Мы можем вспомнить классическую систему фрейдистских образов, связанных с рождением. Так называемый «шок рождения», когда ребенок выходит в мир из утробы матери и ему сразу становится страшно. Он плачет. Пока ребенок был в утробе, он находился в закрытом пространстве, чувствовал себя защищенным и зависимым одновременно. Теперь он выходит наружу, обрезается пуповина. Маленький человек испытывает внезапный ужас перед этим бесконечно открытым пространством, незащищенностью. Фрейдизм учит, что одним из возможных человеческих комплексов является абсурдное, а потому подсознательное желание попасть назад в утробу, чтобы не нужно было заботиться о пропитании, об организации жизни, ни о чем. Чтобы тебя там держали в устойчивом и немного подвешенном состоянии. Фромм рассматривает переход к рыночному капитализму как своеобразный аналог такой индивидуальной трансформации. Докапиталистическое традиционное общество создавало порядок, где человек, с одной стороны,

несвободен, но, с другой стороны, защищен. И его несвобода, и его защищенность полностью предсказуемы, устойчивы. Если человек родился, допустим, крестьянином, то и умрет крестьянином, родился самураем, то и останется таковым до конца своих дней. На протяжении всей жизни он знает, кем был и будет, и об отношениях с остальными индивидуумами; он знает, что его ждет, чего может достичь и на что неспособен. Он абсолютно уверен в своей жизни. Но эта уверенность оборачивается несвободой, отсутствием вертикальной мобильности. Почти невозможно изменить свой социальный статус, образ жизни. Такая связь между безопасностью, несвободой и предсказуемостью обеспечивает определенную стабильность. Но начиная с эпохи Ренессанса возникают новые общественные силы и отношения. Первый этап — открытие свободы и возникновение капитализма в конце XV — начале XVI в. Этот этап продолжается до середины XVII столетия. Перед нами потрясения, разрушение старых связей, когда в один прекрасный день люди обнаруживают, что можно жить совершенно иначе, чем прежде. Появляются огромные возможности, человек может стремительно обогатиться, переехать в другую страну, но его уже никто не защитит. Связь человека с государством сводится к минимуму: надо платить налоги и чтить Уголовный кодекс. Да и это не всегда обязательно. Рушатся цеховые правила, моральные устои. Невозможно полагаться на окружающих. Азарт соединяется со страхом. Люди вокруг становятся непредсказуемыми, ведь каждый из них точно так же экспериментирует со своим будущим. Вместе с незащищенностью, непредсказуемостью приходит и столкновение с новыми силами, с которыми человек раньше не сталкивался. Главная из этих сил названа Марксом: рыночная стихия, анархия рынка. Свобода от старых пут, феодальных обязательств, лояльности перед государством дополняется зависимостью от курса денег, от внезапных колебаний экономического цикла. Если старые связи были предсказуемы, то «невидимая рука рынка» карает и поощряет непредсказуемо (не случайно возникает протестантский фатализм).

Рыночная стихия оказывается очень мощным и совершенно неуправляемым процессом. Самый замечательный предприниматель может вдруг обанкротиться. Протестанты считали это произволом, причудами бога. То, что могло принести успех, когда рынок был на подъеме, во время спада губило бизнес. Свобода от людей и власти оборачивается несвободой от обстоятельств. Раньше обстоятельства были как бы заданы, теперь они постоянно меняются.

По мнению Фромма, капитализм проходит через несколько периодов таких потрясений. Потрясения раннего капитализма, эпохи торгового капитала, сменяются относительной стабильностью. Но это равновесие разрушается при переходе к массовому индустриальному производству. Мелкий буржуа, который как-то приспособился к рыночной системе, сталкивается с мощной волной инноваций, подрывающих его бизнес. На смену ремеслу

и даже традиционной фабрике приходит обезличенное конвейерное производство.

Торжествуя, индустриальный капитализм радикально меняет мировую систему, нормы и стандарты поведения, которые кое-как сложились в рамках капитализма традиционного типа. Иерархия буржуазного общества вновь начинает резко перестраиваться. Правила игры формулируются заново. С технологической революцией (Фромм пишет про заключительный этап индустриализации) приходит урбанизация, приходит массовая пролетаризация и уходит мелкое производство, мелкие лавки с трудом выживают.

Тут, в скобках, надо заметить, что живучесть мелкотоварного производства марксисты всегда недооценивали. Марксу было очевидно, что ремесло уходит в прошлое. Возникало ощущение, будто скоро не будет и крестьянства, его заменит индустриализированная капиталистическая ферма с наемными рабочими. А крестьян или мелких фермеров, скорее всего, вытеснят с рынка, они разорятся. Мелких лавочек не будет, будут большие магазины. Маркс еще не знает слово «супермаркет», но тенденция ему совершенно ясна. И вот прошло сто пятьдесят лет, пришли супермаркеты, современные технологии, но лавочки все равно кое-как существуют, потому что благодаря жестокой самоэксплуатации мелкое производство оказывается очень устойчивым. Оно находит себе место в иерархии новых технологических систем. Только это относится к мелкому производству как к технологическому или организационному феномену. А вот к конкретному производителю это может и не относиться. Они разоряются сотнями тысяч. С точки зрения системы это не имеет значения: разорится один, на смену ему придет другой, такой же бедолага, который будет — в отличие от наемного работника — сам себя эксплуатировать, не протестуя, не устраивая забастовок и не вступая в профсоюзы (он ведь сам хозяин, собственник!). Для мелкого буржуа, оказавшегося в подобном положении, жизнь становится повседневным кошмаром.

Забегая вперед, можно сказать, что нечто подобное мы переживаем и на рубеже XX и XXI вв. «Бегство от свободы» хорошо помогает понять то, что происходило в России после 1991–1995 гг., когда рушились советские нормы, обеспечивавшие защищенность и устойчивость, но в то же время лишавшие граждан свободы. Точно так же можно посмотреть на современный Запад, где новый виток технологической революции подрывает правила и отношения, типичные для индустриального общества 1960-х и 1970-х гг.

Фромм глубоко убежден, что мы должны подвергнуть анализу вообще само понятие свободы. Капитализм дает людям так называемую негативную свободу. Это свобода от внешних обязательств, от корпоративных, феодальных, бюрократических пут. Возникает тот самый индивидуум «гражданского общества», о котором писали Гегель и Маркс. Он, как человек-собственник, должен себя постоянно отстаивать, защищаясь от всех других индивидуумов, на определенном правовом поле. С точки зрения Фромма, проблема капитализма состоит в том, что негативная свобода абсолютно нестабильна.

Она оставляет нас несвободными по отношению к экономической системе, к рыночным факторам, которые буржуазному сознанию кажутся стихийными. На самом деле за этими факторами могут выступать интересы крупных капиталистических корпораций. Но они, в отличие от государства, не обязаны действовать и принимать свои решения публично. Они воздействуют на рынок. Например, через управление спросом. Такое управление спросом, проводимое корпорацией, которое для нее самой является осознанным действием, для мелкого бизнесмена на другом конце рынка является некоторым стихийным, непонятым процессом. Бедствием, которое как-то само на него обрушивается. Например, нефтяные компании играют с ценами на бензин, а маленький магазинчик разоряется.

С точки зрения Фромма, задача социализма состоит в переходе от негативной к позитивной свободе. Позитивная свобода — то, что позволяет нам трансформировать обстоятельства, коллективно, совместно менять и совершенствовать правила игры. Создавать новый порядок, когда люди уже осознанно будут управлять своей судьбой. Но между негативной свободой и позитивной свободой дорога не прямая. На этом пути господствует стихия страха. Негативная свобода через некоторое время оборачивается своего рода эскалацией угроз. Демократия становится ругательным словом. Сильная власть — заветной мечтой. Непредсказуемость рынка порождает мистические ожидания, направленные на приход начальника-спасителя. Мелкобуржуазное дезориентированное сознание не способно к адекватному анализу. Начинаются поиски врагов — инородцы, масоны, евреи, мировой заговор.

Если взглянуть с точки зрения теории Фромма на опыт последних двух десятилетий, параллели просто бросаются в глаза. Рост ксенофобии, возвращение на политическую сцену всевозможных фашистских движений — это наблюдается по всему миру. Религиозный фундаментализм (хоть христианский, хоть мусульманский, хоть иудейский) находится на подъеме — он порожден теми же страхами, той же мечтой о прошлом.

Постсоветский человек, конечно, социально отличается от мелкого лавочника из книги Фромма. Но от классово сознательного пролетария, описанного Лениным, он отличается еще больше. Мелкий чиновник, функционер советской системы, сотрудник аппарата военно-промышленного комплекса, потерявший работу и привычное место в жизни, так же мечется, так же не понимает, что с ним произошло. Некоторые, везучие, становятся олигархами. Большинство превращается в маргиналов.

Напряженное ожидание спасителя — в сочетании с полной неспособностью к сознательным и адекватным действиям — объясняет, почему подобный человек возлагает надежды на политиков, подобных Владимиру Путину или Дж. Бушу-младшему, не предлагающих ничего, кроме агрессивно-самоуверенной риторики. Но именно эта показушная самоуверенность власти (нередко порожденная как раз ее внутренней неуверенностью) привлекает напуганного и дезориентированного маленького человека.

10. Солидарность, власть, агрессия

Во времена английской буржуазной революции Томас Гоббс не случайно писал про «войну всех против всех». Чтобы прекратить это ужасное состояние, нужна очень сильная власть. Пусть тираническая. Пусть незаконная. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца.

Государство всех поставит на место, наведет порядок, но, конечно, свободой придется пожертвовать ради обеспечения безопасности. Правда, замечает Фромм, безопасность не будет обеспечена. Да, Большой брат защитит вас от хаоса, но кто защитит вас от самого Большого брата? Кто гарантирует предсказуемость и эффективность его решений? Откуда уверенность, что он не приведет нас в тупик или к новой катастрофе?

Назад в утробу пути нет, невозможно вернуться в прошлое. Старые, разрушенные связи невосстановимы, они уже технологически невозможны. Мы можем только имитировать, симулировать эти связи и отношения, симулировать защищенность. По Фромму, социальная защищенность, предоставляемая тоталитарными режимами, является в значительной мере искусственной. Государство, являясь защитником, одновременно является и главной угрозой. Традиционное государство не обладало такой мощной репрессивной машиной, оно развивалось на другой технологической основе, его репрессивная машина была связана традиционными обязательствами, устойчивыми отношениями. Новая репрессивная машина работает по своей собственной логике и может придавить кого угодно. Человек снова оказывается в состоянии страха, но страх меняется. Раньше были размытые, неопределенные угрозы, тайные вызовы, теперь страх концентрируется в одном месте, и это место государство.

Источник страха и источник защиты один и тот же. Сознание маленького человека становится совершенно невротическим. По Фромму, это сознание мелкобуржуазное. Пролетариат должен черпать чувство защищенности не из связи с государством и традиционных пут, а в собственной классовой солидарности. Это не просто красивые слова. Тот, кто сталкивался с реальностью классовой борьбы, знает, что солидарность и самоорганизация являются единственным по-настоящему надежным — и возвышающим личность — способом самозащиты. Объединенные трудящиеся готовы противостоять как государству с его репрессивной машиной (которая неожиданно начинает давать сбои), так и пресловутой рыночной стихии. Да, борьба может быть проиграна, даже очень часто она бывает проиграна, но человек, вступающий в борьбу, не отдает себя на волю бога или обстоятельств. Он защищается. Действует осознанно, как личность.

С другой стороны, Фромм пишет о развитии демократии через механизм коллективной самоорганизации. Тоталитарная система держится на общественной разобщенности. Там, где общество солидарно, тоталитаризм невозможен.

Разумеется, Фромм прекрасно понимает, что кроме тоталитарной системы есть и другие формы контроля. Потому в более поздний период своей жизни он задается теми же вопросами, что и Маркузе. Он говорит о формирующемся в буржуазном обществе агрессивном характере или об агрессивной личности. Есть два сценария поведения. С одной стороны, возможен сценарий поведения идеального пролетария, который находит защиту через солидарность, организуется, отстаивает свои права, становится гражданином. Но с другой стороны, есть так называемая мелкобуржуазная личность. Причем эти мелкобуржуазные личности по социальному положению могут быть абсолютно пролетарскими. Когда Фромм говорит о мелкобуржуазной личности, он не имеет в виду, будто рабочий обязательно должен иметь пролетарскую психологию. Это ведь всего лишь идеальные типы.

Агрессивная личность склонна искать врагов. Страхи надо персонифицировать. Чувство страха становится менее острым, если его проецируют на какой-то объект. Этот объект не является на самом деле источником угрозы, более того, чем менее он является реальным источником угрозы, тем удобнее именно на него проецировать свой страх. Поэтому еврей, темнокожий, в нашем случае рабочий-мигрант или кавказец — это совершенно идеальные объекты страха, потому что на самом деле при любых проблемах, с которыми можно столкнуться при контакте с тем или иным подобным объектом, есть гораздо более опасные существа, с которыми лучше не сталкиваться вообще. Предпочтительно направить свою фобию на объект, более или менее вмещаемый в сознание. Представление о конфликте с собственным государством и крупным бизнесом для отдельного человека гораздо страшнее, чем любые кошмарные фантазии о «мировой закулисе» или воображаемая картина того, как «всю нашу страну заселят миллионы китайских и таджикских мигрантов».

Огромная государственная машина для маленького человека — тоже мистический объект. То же относится и к огромной корпорации. При столкновении с ними маленький человек твердо знает, что ТАКОЙ объект его уничтожит. Раздавит, не заметив. Шансы индивидуального сопротивления настолько малы, что нет даже смысла думать о возможности противостояния. А вот объект, выраженный в кавказце, торгующем на рынке, в еврее-ростовщике, в некультурном темнокожем, который сидит в метро и не знает правил цивилизованного поведения (кстати, объект в бытовом отношении часто и в самом деле весьма неприятный), — такой «враг» по крайней мере сопоставим с маленьким человеком по физическому и политическому весу. Этот объект, в силу своей конкретности, является оптимальным противником. Он осязаем, видим, доступен. Фобия, естественно, переносится сюда, а дальше уже вопрос технологии, как эти фобии будут использоваться государством, отдельными партиями, политиками. На основе этих фобий создаются механизмы иерархической мобилизации, которые внешне даже похожи на проявления солидарности — лишь с той раз-

нищей, что все направлено на ложный объект и управляемо вертикально. Солидарность, по Фромму, построена на сознательном объединении людей. Это совершенно другой механизм. Вертикальная мобилизация — в случае успеха — позволяет построить людей и организовать их для действий, абсолютно чуждых их интересам. Как в армии: мобилизуют крестьян, делают из них солдат и отправляют расстреливать крестьянские бунты.

Чем более человек является рабом своей фобии, тем меньше он способен осознать собственные интересы. Агрессивный характер представляет реальную угрозу. Он проявляется в двух типах поведения — коллективном и индивидуальном. Напуганный человек склонен к неспровоцированной агрессии. Известно, что на фронте многие героические поступки совершаются от страха. В быту результаты могут быть менее привлекательными. Испуганный человек готов нанести удар первым. Только не знает — куда. В Америке нередки случаи, когда вполне добропорядочный обыватель вдруг «слетает с катушек», хватается автоматическое ружье и начинает расстреливать всех подряд. Значит, тайные страхи вырвались наружу.

Однако демократический капитализм находит и способы гасить подобную агрессию, снимать стресс. Человек, например, идет в супермаркет. Вместо того чтобы всех подряд убивать, он начинает что попало покупать. Согласитесь, это все-таки не так опасно. Чем больше он покупает, тем больше успокаивается. У него появляется ощущение власти, контроля над обстоятельствами. Но потом, через некоторое время, стресс вернется. Все же супермаркет по сравнению с тайной полицией есть наименьшее зло, хотя функции их примерно одинаковые.

Пик подъема Франкфуртской школы пришелся на 1960-е гг. С 1970-х гг. начинается ее упадок. Все главное сказано. Мыслители стареют и начинают умирать. Маркузе даже в самом конце жизни был интеллектуально очень продуктивен, но школа в целом становится достоянием истории. В последние годы жизни Маркузе много думал о технологической революции, во многом опережая свое время. У него появляется мысль о том, что новая технологическая революция одновременно создает новые формы отчуждения, дает государству и корпорациям новые механизмы контроля, но те же технологии откроют и новые перспективы освобождения. Маркузе еще не знает, что это будут за новые технологии. Персональный компьютер еще не продается. Слово «Интернет» еще не придумали, мобильных телефонов нет. Потому рассуждения Маркузе кажутся немного абстрактными. Даже сам термин «новые» или «высокие» технологии, который сейчас мы повторяем на каждом шагу, тогда был не в обиходе.

Лешек Колаковский в начале 1980-х очень потешался над идеей «новых технологий», высказанной Маркузе. Что за странные технологии, которых еще нет? Что за нелепая идея про какую-то информационную революцию? Между тем Маркузе вовсе не был пророком, угадавшим будущее интуитивно. Просто все ключевые технологические идеи, породившие пе-

ремены 1990-х гг., были уже разработаны и даже внедрены в военно-промышленном комплексе 1970-х. В последующие три десятилетия мы лишь видели развитие той технологической парадигмы, которая была заложена ранее. Потому Маркузе не мог предсказать конкретные формы (например, мобильный телефон со встроенным модемом), но в отличие от ограниченного мещанским кругозором Колаковского прекрасно понимал, в каком направлении все движется.

Итак, новые технологии будут служить для контроля над личностью: с их помощью можно будет подсматривать, подслушивать, отслеживать передвижение граждан, давать им бесконечные указания, промывать им мозги рекламными сообщениями. Сами технологические новинки будут стимулировать безумную гонку потребления (у вас уже есть телефон с полифоническим звуком и модными мелодиями?). Но те же технологии дадут личности новые возможности, новый доступ к информации и, соответственно, шанс вырваться из-под контроля, преодолеть свое индивидуальное отчуждение.

В конце 1990-х гг. это выглядит уже совершенно реально. Маркузе вплотную подошел к новой проблематике связанной с Интернетом, хакерством, сетевой организацией и т. д. Он сделал первые шаги для того, чтобы дать диалектическую и марксистскую интерпретацию технологической революции. Но это не более чем странные намеки, просветления в поздних работах Маркузе. Дальше он продвинуться не может, потому что таких технологий еще нет. Он тонко, чисто философски предсказывает неизбежное их появление.

Жан-Поль Сартр в определенный момент стал, как сейчас бы сказали, культовой фигурой. Он был очень популярен в 40-е гг., потом ушел в тень. В 1970-е гг. Сартр становится кумиром. Его экзистенциализм, соединенный с марксизмом, давал своего рода культурную основу для бунта нового поколения. Другое дело, что у Сартра в 1970-е гг. остается очень мало экзистенциализма — он становится прежде всего марксистом. Да, он по-прежнему поднимает вопрос о свободе, о роли интеллектуалов (потому что для него интеллектуал — это действующий человек, который обладает абсолютным пониманием своей роли, своего места в обществе и способен совершать поступки, осознанно изменяющие это общество). Сартр противопоставляет революционного и буржуазного интеллектуала. Последний является просто «техником практического знания». Это человек, которого система востребовала для выполнения определенных функций, связанных с некоторым уровнем образования, доступом к информации и т. д. Солженицын называл таких людей «образованщиной». А есть интеллектуал, выступающий как революционный субъект. Этот больше похож на российское представление об интеллигенте. Перед нами человек, который обладает не просто набором знаний, но и набором этических норм. А главное — определенным уровнем сознания, пониманием своей роли в системе и структуре общества. Этот человек осознанно отказывается выполнять отводимую ему

роль, он способен выйти за пределы «техники практического знания», создать новые модели поведения. Интеллектуал сам становится моделью поведения, нормой, образцом.

11. «Общество спектакля»

Из французского движения 1968 г. выросло еще очень много интересных явлений. Наряду с Сартром выступали и авторы молодого поколения. Например, Ги Дебор, написавший знаменитое «Общество спектакля». Дебор воспринимает буржуазное общество в первую очередь не как систему потребления, а как систему, создающую зрелища, как имитацию реальной жизни. Если Франкфуртскую школу интересовал «хлеб», то Дебор сосредоточился на «зрелищах». То, что для Маркузе манипуляция, для Дебора представление. Политическая борьба, интеллектуальные дебаты, соперничество художественных школ — все теряет реальный смысл, превращается в зрелище, за которым нет никакого реального смысла. Выборы делаются чем-то вроде спортивного состязания, Олимпийских игр. Реальные политические вопросы решаются в другом месте, реальная экономическая власть сосредоточена в иных руках.

Мы являемся статистами и зрителями спектакля одновременно, но мы не способны его режиссировать. Средства массовой информации являются как бы таким инструментом режиссуры, с помощью которого нами управляют. Россия 1990-х гг. — классическое «общество спектакля», что отражено в «Generation П» Виктора Пелевина. Можно сказать, что Пелевин просто доступными ему средствами пересказал Дебора.

Когда работал Дебор, в самом начале 70-х, роль телевидения еще не была столь огромной, как теперь. Уже для «франкфуртцев» было понятно родство политической пропаганды и рекламы, но понимание средств массовой информации как инструмента управления в полной мере появляется именно у Дебора. Поэтому, например, для движения 60-х гг. одним из ключевых лозунгов было: «Осторожно, телевизор лжет!» — не смотреть телевизор, не верить тому, что там говорят, не участвовать в спектакле или создать свой спектакль. Отсюда — контркультура.

Другое дело, что быстро обнаруживается: контркультура легко интегрируется в массовую культуру. Прямой, жесткой границы между массовой культурой и контркультурой нет. То, что сегодня считается контркультурой, завтра становится массовой культурой. В этом, кстати, состоит феномен MTV. С помощью программ MTV импульсы альтернативной культуры преобразуются в материал для коммерческой деятельности, массового потребления. Возникает своего рода новый конформизм, использующий нонконформистскую эстетику.

Американский социолог Том Франк очень хорошо показал, как контркультура 1960-х на протяжении последующих двух десятилетий осваива-

ется и поглощается «обществом спектакля». То, что мы предлагаем как альтернативу, через какое-то время становится инструментом управления нами. Репрессивная терпимость в этом является как бы технологией превращения.

12. Анархо-марксизм

К 1950-м гг. кажется, что анархизм уже совершенно мертвое движение, принадлежащее истории. Конец 1960-х гг. становится временем, когда резко усиливается интерес к анархизму. Однако в студенческом бунте 1968 г. анархизм как будто переживает второе рождение. Критика старых левых со стороны новых левых была направлена на бюрократизм, на партийный централизм. Соответственно, марксизм как в ленинской интерпретации, так и в версии Каутского воспринимался многими лишь как подготовка к сталинизму. Все марксистские партии показали себя не с лучшей стороны, а следовательно, рассуждали активисты студенческого движения, возможно, что анархисты в полемике с марксистами были не так уж не правы.

Возникает увлечение альтернативной историей русской революции, увиденной не с позиций большевиков, а с позиций Нестора Махно и других крестьянских анархистских движений. Поразительно, сколько диссертаций пишется в это время во Франции о батьке Махно. Кстати, Махно после Гражданской войны бежал во Францию, потому было легко писать, имелись архивные материалы.

Но далеко не все критики большевистского централизма полностью отвергают марксизм. Многие считают, что элементы анархистской идеологии должны быть соединены с марксистской теорией. Другие согласны с анархистами в критике централизма, но ищут опору не в анархистских идеях, а в самом же марксизме. В частности, в идеях Розы Люксембург, отстаивавшей преимущества спонтанной борьбы, выступавшей за самоорганизацию масс. Роза Люксембург не отрицала необходимости партии, но подозревала Ленина и Троцкого в том, что они преувеличивают значение партийной дисциплины.

Здесь неоанархистская критика марксизма соединяется с самокритикой марксизма. Другое дело, что Роза Люксембург нередко интерпретируется скорее в анархистском ключе: стихийный протест как самоцель, движение, которое само находит себе дорогу. Реальная Роза Люксембург потому и была марксисткой, что понимала недостаточность стихийности, она выступала за сочетание стихийной борьбы с идейной и политической работой, которая ведется последовательно и организованно.

Некоторые марксистские течения усваивают целый ряд аргументов и идей из анархистской концепции и начинают, включая эти идеи в более широкий марксистский контекст, использовать как свои собственные.

После краха мирового коммунистического движения в начале 1990-х гг. наиболее заметно влияние анархизма и анархо-синдикализма стало именно в бывших коммунистических партиях (влевой партии Швеции, в итальянской *Rifondazione Comunista*). Это закономерно: люди пытались доказать окружающим и самим себе, что окончательно порвали со сталинизмом. И одновременно им нужна была радикальная риторика, отличающая их от социал-демократов.

Теоретическим продолжением той же традиции стали в Италии работы Тони Негри, включая крайне модную в начале 2000-х гг. «Империю», написанную Негри в соавторстве с Майклом Хардтом.

13. Неотроцкизм

События 1968 г. дали новый импульс и для развития троцкистского движения. В отличие от анархизма оно отнюдь не было к 1960-м гг. мертво. В 60-е гг. возникает бешеный интерес к работам Троцкого, огромное количество молодых интеллектуалов становятся троцкистами. События студенческой революции привели к радикализации множества молодых людей. Они искали для себя революционную организацию. Старые коммунистические партии казались реформистскими и недемократическими. Троцкистские группы, пусть малочисленные, предлагали образец настоящей революционной организации. И не проблема, что они малы. Ведь у Ленина с Троцким вначале тоже массовой партии не было. Но благодаря правильной политике они ее создали.

Значит, секрет превращения маленькой революционной группы в массовую силу — в правильной политике. Но где критерий правильной политики? Именно из-за этого троцкистские группы начинают ссориться и колотиться. Вместо нескольких небольших организаций возникает множество крохотных. Они размножаются делением.

Во Франции популярен экономист Эрнест Мандель. В Британии крупнейшую троцкистскую партию создает Тони Клифф. И тот и другой выступают за революцию, критикуют сталинизм, но ведут и резкую полемику друг с другом. Нужна новая революционная организация, но для того, чтобы не повторить ошибок прошлого, надо дать четкую оценку советской бюрократии. Различие в оценке — основа для острых политических разногласий. Мандель говорит, повторяя Троцкого, что в СССР — выродившееся рабочее государство. Клифф заявляет, что в Советском Союзе сложился государственный капитализм. Их разногласия кажутся непримиримыми.

Интерес к теоретическим вопросам привел к тому, что именно троцкистские кадры получали самое качественное марксистское образование. Многие из тех, кто увлекался Мао, ничего нового не прочитали, да и самого Мао тоже не прочитали. По окончании студенческой революции они из

«новых левых» стали обычными буржуа. Троцкисты проводили жесткое обучение кадров. Из бывших революционных студентов получались профсоюзные лидеры, множество университетских профессоров, продолжающих преподавать марксизм.

14. После революции

К концу 1960-х гг. обнаруживается, что самые серьезные успехи «новых левых» были достигнуты не в деле преобразования общества, а в плане личной карьеры. Движение было мощным, оно дало толчок для повышения вертикальной мобильности в обществе. Выходцы из «кирпичных университетов» все-таки одержали историческую победу над джентльменами. Это был тот самый последний бой, который позволил сформировать новые политические элиты, адекватные задачам социального государства. В Англии, например, появились политики, которые говорили на нормальном английском языке, а не на аристократическом жаргоне. Но чем больше они завоевывали позиции в обществе, тем менее радикальными становились. Вчерашние бунтари, герои баррикад оказались депутатами парламента, профессорами, министрами, модными социологами, известными писателями и т. д. Последнее поколение Франкфуртской школы в лице Хабермаса и Негта стали идеологами левого крыла социал-демократии. Причем в случае с Хабермасом трудно говорить уже даже о левом крыле. Это просто политическая философия, не отрекающаяся от марксизма, но вполне укладывающаяся в рамки буржуазной общественной мысли.

Хабермас пишет про очень важные вопросы. Он изучает социальную сферу, значение которой в обществе существенно повышается. Он показывает, что по мере того, как развивается общество, в нем начинает нарастать значение внеэкономических факторов. Мы освобождаемся от вопроса о том, где достать пропитание, как не умереть с голоду. Такие вопросы, как потребность в образовании, здравоохранении, культуре, потребность в общении, и, кстати говоря, потребность в солидарности и т. д., выходят на передний план.

Кто является представителем социальной сферы? Социал-демократия. Можно сказать, что социал-демократия, переставшая быть революционной и даже реформистской силой, — это политическое воплощение социальной сферы, представитель ее интересов. Разумеется — в рамках капитализма и социального государства. Бюрократическая машина социал-демократической партии — вот высшая форма представительства социальной сферы в рамках такой системы.

Часть бывших «новых левых», получив посты в университетах США, создала так называемый аналитический марксизм. Здесь можно вспомнить работы Эрика Олина Райта о классах: привлекается огромная масса эмпи-

рических данных в духе стандартной американской социологии. В итоге, написав огромный том о классах, Райт приходит к двум выводам. Во-первых, что в Америке рабочий класс существует, а во-вторых, что у него есть определенные элементы классового сознания. То есть подтверждаются два тезиса, которые среди марксистов считаются самоочевидными. Но обращается-то Райт не к марксистам и даже не к левым, а к либеральным академическим элитам. Он интегрирует марксистские гипотезы в академическую социологию, доказывая их соответствующей аргументацией.

Наконец, следующее поколение, которое в революционных битвах 1968 г. не участвовало либо застало их в совсем юном возрасте, начало отходить не только от марксизма, но и от левых идей в сторону постмодернизма.

Концептуальная основа постмодернизма есть отсутствие каких-либо целостных концепций. Значит, можно быть немного марксистом, немного либералом, слегка анархистом, кое в чем консерватором. Главное — быть эклектичным.

«Большие нарративы», «тотализирующие дискурсы» (т. е., попросту говоря, теоретическое мышление) объявляются не только достоянием прошлого, но и закрепощающим мышление. Чтобы раскрепостить мысль, надо отказаться от всякой системной логики, а в идеальном случае — вообще от всякой логики.

Это, на мой взгляд, очень закономерный результат деградации западного марксизма как общественного движения. По мере продвижения по социальной лестнице люди начинали формировать новую идеологию. Если с помощью бунта они заставили старые элиты потесниться и заняли определенное положение в системе, то теперь приходится решить очень сложный вопрос. С одной стороны, новый социальный статус предполагает примирение с системой. Но с другой стороны, простой отказ от прежнего радикализма, переход на консервативные позиции невозможен. Ведь нынешнее процветание достигнуто благодаря прежнему бунту. Интеллектуально и политически дезавуировать свой бунт значило бы подорвать собственное нынешнее положение, представить себя обыкновенным перебежчиком, карьеристом и предателем.

Значит, надо соотнести свои нынешние позиции с прежним бунтарством. Если человек (как Йошка Фишер в Германии) сначала кричал «долой государство», а потом стал министром, то надо доказать, что одно не противоречит другому. Все ведь знают, что если бы в 1970-е гг. Фишер не кричал «долой государство», то в 1990-е он бы не стал министром. Его просто никто бы не знал. В постсоветском обществе человек мог быть профессором марксизма-ленинизма, а на следующий день выйти и сказать: «Все, что я вам преподавал предыдущие годы, все, что я писал в своих диссертациях, — полная ахиня. Но я все равно профессор и великий специалист». Никто не требовал, чтобы таких людей лишали научных званий и права преподавать общественные науки. Никто не задавал вопросов, потому что

спрашивать было некому. Немногие, кто мог что-то спросить, были счастливы уже тем, что их вернули из тюрем и психиатрических больниц.

Но в западном обществе проблема существовала. Хотя бы потому, что далеко не все участники движения сделали карьеру. А память у многих оказалась на редкость хорошей. И вот тут-то на выручку нашим героям приходит постмодернизм. Эта методология идеально помогает решению личной моральной проблемы для определенной категории интеллектуалов. Можно, с одной стороны, сохранить преемственность по отношению к радикальному «дискурсу» (не предлагается же вернуться на позиции позитивизма и классического либерализма), а с другой стороны, поставить обрывки произвольно препарированных радикальных идей на службу консервативной, в сущности, идеологии. Ибо отказ от «больших нарративов» и «тотализирующих дискурсов» означает, если перевести на человеческий язык, отказ от какого-либо осмысленного и целостного проекта преобразования общества. Иными словами, отвергается не только революция, но и всякий сколько-нибудь последовательный реформизм.

Революционный смысл отвергается не во имя консервативного смысла, а во имя отказа вообще от всякого смысла. Но с точки зрения социальной практики последний вариант, может быть, даже хуже.

Для постмодернизма настоящий радикализм состоит не в том, чтобы изменить общество, а в том, чтобы осознать значение всех маленьких и частных групп в этом обществе и понять самооценку этих групп. Ален Турен во Франции, например, говорил, что главное — иметь ценности, выходящие за пределы буржуазных ценностей. То есть общество может остаться таким, какое оно есть, но я, как интеллектуал, способен выработать ценности более высокого порядка. И жить соответственно. Причем традиционные ценности рабочего движения, революционной борьбы и классовой солидарности как раз отвергаются. Ведь они порождены буржуазной эпохой, а не информационной революцией, например.

Интеллектуал с презрением отвергает узкую идеологию промышленного рабочего. Зато для него становятся крайне важны символические принципы и лозунги. Необходимо обязательно квалифицировать все возможные группы. Уточнить, в чем ущемлены права гомосексуалистов, в какой мере недоучтены интересы женщин, насколько серьезны культурно-этнические проблемы пуэрториканцев, как проявляется сегодня дискриминация негров. Все перечисленные проблемы совершенно реальны. Вопрос только в том, насколько их рассмотрение приблизит нас к пониманию общей логики, по которой развивается капиталистическая система.

Между тем обнаруживается, что ущемлены и права белых мужчин-протестантов. Затем обнаруживается, что угнетенные пуэрториканцы крайне враждебно относятся к равноправию женщин. А «мачизм» является важным элементом культуры угнетенных народов. В этом месте мнения разделяются. Одна часть постмодернистской интеллигенции понимает, что права

женщин все же важнее, ради их торжества можно даже разбомбить несколько городов в Афганистане или какой-либо другой далекой от цивилизованного мира местности. Другая часть, напротив, уверена, что права человека являются очередной ловушкой «тотализирующего дискурса» и нет никаких причин навязывать меньшинствам западные стереотипы вроде уважения к чужой личности.

Если уж заниматься практической работой, защищая интересы представителей ущемленных групп, то проблему проще всего решать в индивидуальном порядке (что уже показали на собственном примере бывшие бунтари). В итоге высший средний класс, ранее пополнившийся некоторым числом выходцев из рабочих семей, впитывает в себя определенное число афроамериканцев, пуэрториканцев, гомосексуалистов. Увеличивается и число женщин, занимающих ответственные посты.

Все это, бесспорно, очень позитивно. Но, увы, это отнюдь не изменяет жизни большинства угнетенных. И тем более никак не разрешает основных противоречий капитализма.

Даже если взять частный вопрос о положении той или иной социально ущемленной или дискриминируемой группы, то продвижение вверх отдельных ее представителей никак не улучшает ситуации. Ведь, например, темнокожий американец одновременно является еще и рабочим, и жителем депрессивного района и т. д. Отмена формальной дискриминации по расовому признаку ничего не меняет. Более того, дискриминация воспроизводится — только в новом виде.

К началу 1990-х гг. революционный импульс «западного марксизма» казался полностью исчерпанным. Герои прошлого либо умерли, либо перестали вызывать уважение. Другое дело, что подобный кризис был результатом своеобразного социального успеха. Поколение бунтующих интеллектуалов смогло не только решить свои личные проблемы, но и изменило мир.

Глава 4

Капитализм как миросистема

Если сам Маркс уделял основное внимание экономическим законам капитализма, то западный марксизм середины XX в. сосредоточивал свое внимание на проблемах психологии, культуры и политической борьбы, которые у автора «Капитала» оказывались порой на втором плане. Однако значит ли это, что все вопросы экономического развития буржуазного общества были решены в «Капитале»?

Несмотря на огромный объем работы, проделанный Марксом, «Капитал» так и остался незавершенной книгой. Энгельс после смерти Маркса дописал по его черновикам третий том книги, однако тем самым выполнено была лишь часть грандиозного замысла.

1. От политэкономии к экономике

Будучи политэкономом, Маркс начал с общих принципов функционирования капиталистического способа производства. Однако капитализм — это не только способ производства, но и экономическая система, которая на основе этого способа производства развивается. Причем в мировом масштабе.

О глобальном расширении капиталистической системы Маркс и Энгельс писали уже в «Коммунистическом манифесте». Однако в дальнейшем их внимание было сосредоточено на других вопросах. Нужно было сформулировать общие принципы и наиболее глубинные, базовые законы функционирования капитала. С этой задачей Маркс и Энгельс гениально справились. Однако открыть общий закон еще не значит проанализировать, как работает конкретный механизм. Например, законы механики хорошо понимали с конца XVII в., а двигатель внутреннего сгорания, на этих законах построенный, появился лишь более двухсот лет спустя. Нечто похожее происходило и с анализом капиталистической системы в марксизме.

Марксизм столкнулся с очень серьезными проблемами уже в начале XX в. В «Коммунистическом манифесте» Маркс писал о буржуазии: «Под

страхом гибели заставляет она все нации принять буржуазный способ производства, заставляет их вводить у себя так называемую цивилизацию, т. е. становиться буржуа. Словом, она создает себе мир по своему образу и подобию»⁴.

Спустя столетия те же мысли — хотя и в другой терминологии — высказывали уже представители Международного валютного фонда или Всемирного банка, доказывавшие, что повсеместное внедрение западных либеральных экономических норм повсюду приведет к таким же достижениям, какие мы видим на передовом Западе. Между тем внедрение капитализма в разных странах имело совершенно разные последствия. Дело не только в том, что рост благосостояния западных стран не сопровождался аналогичными успехами в бывших колониях — как бы старательно там ни копировали западные политические и экономические институты. Многие «пережитки» докапиталистических отношений не только не отмирали под воздействием частного предпринимательства и свободной конкуренции, но, напротив, продолжали сохраняться и развиваться.

В 1990-е гг. немецкий марксист Марио Кеслер метко заметил, что вопреки Марксу буржуазия перестраивает мир не «по своему образу и подобию», а по своим потребностям. Унификация деловой практики отнюдь не автоматически влечет за собой выравнивание уровня развития и даже распространение западных трудовых отношений. Докапиталистические формы эксплуатации встраиваются в капитализм — при условии, что благодаря им удовлетворяется какая-либо потребность мирового рынка.

Рабство негров в Америке не было пережитком античности, оно было порождено развитием капиталистического рынка, нуждавшегося в дешевом сырье. Точно так же и закрепощение крестьян в России и Польше отнюдь не было возвратом к Средневековью. Лично свободный крестьянин вновь превратился в живой товар не в последнюю очередь потому, что зерно, пенька, лес, лен и другие изделия восточноевропейского хозяйства нужны были товарным биржам Лондона и Амстердама. Усиление русского крепостничества не тормозило модернизацию страны, не мешало царям и купцам «рубить „окно в Европу“», но, напротив, помогало им находить ресурсы для этой модернизации. А с другой стороны, именно относительная дороговизна свободного наемного труда в Европе и Северной Америке увеличивала потребность в дешевом сырье, привозимом с Востока и Юга. Одно должно было компенсировать другое.

Совершенно очевидно, что капитализм основан на наемном труде, на продаже человеком своей способности работать, своей рабочей силы. Разница между стоимостью рабочей силы и стоимостью производимых с ее помощью товаров есть прибавочная стоимость — источник прибыли и накопления капитала.

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. С. 428.

Частная собственность позволяет присваивать чужой труд легально, без помощи насилия и принуждения. Буржуазная частная собственность, в отличие от феодальной, не обременена различного рода дополнительными обязательствами. Феодальная собственность была ограничена. Рыцарь должен был служить королю. Сегодня никто не ожидает, что собственник завода в случае войны на свои деньги должен снарядить танк, подобрать для него команду из своих рабочих и поехать в нем на поле боя.

Это капиталистическая собственность, имеющая только одну цель — обеспечивать накопление капитала. Маркс показал, что этот способ производства, в свою очередь, порождает ряд неизбежных противоречий. На определенном этапе обнаруживается тенденция понижения нормы прибыли. Поскольку именно живой труд является источником прибавочной стоимости (и, соответственно, прибыли), каждый новый цикл технологической эволюции меняет соотношение между живым трудом и оборудованием (основными фондами производства). Оборудование становится все дороже, менять его приходится все быстрее, это отражается на прибыли. Так же отражается на прибыли и растущая конкуренция.

В результате норма прибыли должна логически понижаться даже в том случае, если общая сумма прибыли растет. Отсюда Маркс делал вывод об относительном и абсолютном обнищании пролетариата. Ведь единственный способ для капиталиста переломить эту тенденцию — понизить заработную плату либо повысить эксплуатацию при неизменной зарплате. Но снижение реальной заработной платы приводит к новым противоречиям. Во-первых, рабочий класс начинает сопротивляться, обостряется классовая борьба и в итоге происходит революция. А с другой стороны, снижение заработной платы приводит к сужению внутреннего рынка, порождая, в конечном счете, кризисы сбыта.

Заметим, что Маркс рассматривает здесь либо внутренний рынок Англии, либо предполагает, что мировой рынок функционирует как единое целое, не отличающееся по структуре от внутреннего рынка той же Англии. Это условное допущение, причем для самого автора «Капитала» нет никаких сомнений в том, что речь идет об абстрактно-упрощенной модели, но именно так он может сформулировать общие политэкономические закономерности.

Маркс специально не занимается изучением мирового рынка.

Периодические кризисы перепроизводства сотрясают систему. Капиталу требуется постоянный рост производства, обеспечивающий бесконечное накопление, а рынок не расширяется. В момент кризиса, по Марксу, пролетариат может дойти до такой степени обнищания, что буржуазия вместо того, чтобы кормиться за его счет, сама начинает подкармливать пролетариат.

Напрашивается вывод, что периодические кризисы будут повторяться, становиться все серьезнее, пока, наконец, все не рухнет. Надо сказать, что у Маркса нигде прямо не сформулирован тезис о некоем финальном

кризисе капитализма, после которого систему, хочешь не хочешь, придется менять. Но совершенно не случайно, что этот тезис в начале XX в. кочевал из одной марксистской брошюры в другую. Это логический вывод, который напрашивается из чтения Маркса.

Если рассматривать вопрос логически, то теория о тенденции нормы прибыли к понижению — неопровержима. Она рассчитана как математическая теорема. На этом уровне все попытки опровергнуть схему Маркса проваливались. Ни логически, ни математически опровергнуть эту схему невозможно. Но с другой стороны, эмпирические данные не соответствуют теории. Что за чертовщина?

2. Норма прибыли

Итак, если посмотреть статистику, обнаруживается, что на протяжении большей части XX в. норма прибыли удерживается примерно на одном уровне. Точно так же в Западной Европе и в США не наблюдается обнищания пролетариата. Больше того, уже в конце Викторианской эпохи уровень жизни английских рабочих начинает расти. То же наблюдается позднее в Германии, Бельгии, Франции. Однако на теоретическом уровне многочисленные критики Маркса, апеллировавшие к этим — достаточно очевидным — фактам, все равно рассуждения автора «Капитала» опровергнуть не смогли и альтернативной модели не предложили.

Эдуард Бернштейн предложил просто забыть про теорию обнищания, поскольку эмпирические данные не соответствуют теории. В таком же духе много лет спустя выступал американский экономист Дж. К. Гэлбрейт.

Совсем по-другому рассуждали Роза Люксембург и Ленин. Они, каждый по-своему, нашли логичный ответ на этот вопрос. Правда, Ленин искал ответ скорее в плане политическом, тогда как Роза Люксембург все-таки смогла дать более или менее внятное теоретическое объяснение тому, что происходит. И Ленин, и Роза Люксембург попытались рассмотреть капитализм как глобальную и эволюционирующую, меняющуюся систему. Это подтолкнуло их к важным выводам.

Вернемся, впрочем, к Марксу. Говоря о тенденции нормы прибыли к понижению, автор «Капитала» рассматривает технологический базис капитализма как более или менее статичный. Да, в строй постоянно вводится новое оборудование. Однако в модели Маркса технологические изменения не являются революционными. Он исходит из того, что новое оборудование будет более совершенным, более производительным и более дорогим. Но он не предполагает изменений отраслевой структуры капитализма или таких технологических революций, которые создают принципиально новые отрасли. Другое дело, когда Маркс анализирует ситуацию применительно, скажем, к XVI в. Тут он прекрасно понимает, что происходит при

возникновении новых отраслей производства. Маркс основывается на конкретном историческом материале, который был собран в Англии и Западной Европе.

Первая технологическая революция начинается с XV в. и продолжается примерно сто лет (важнейшее изобретение данного периода — книгопечатание, но одновременно наблюдается совершенствование металлургии, кораблестроения, горного дела и т. д.). В конце XVIII в. разворачивается индустриальная революция, технологический переворот на основе паровой машины. Однако последствия возникновения принципиально новых отраслей Марксом не анализируются с точки зрения их влияния на прибыль. На практике влияние было огромным.

Для того чтобы проанализировать, как воспроизводится капитализм, Маркс моделирует систему как бы в статическом состоянии. По вполне понятным причинам он должен был описать это равновесное состояние, иначе понять системный механизм было бы куда труднее. Приходилось абстрагироваться от различных внешних факторов, которые влияют на чистоту эксперимента.

В данном случае Маркс в полной мере является учеником Гегеля, стремясь проникнуть в самую сущность капитала. Но в реальной жизни чистых сущностей нет. Потому вся структура «Капитала» представляет собой движение от абстрактного к конкретному, постепенную детализацию. Если бы он прожил дольше, то и томов стало больше.

Анализ «Капитала» начинает включать в себя все большее количество факторов. Первый том дает только самые общие представления о том, как устроено капиталистическое предприятие, в чем суть буржуазного способа производства, затем мы начинаем понимать, как происходит воспроизводство капитала, как происходит его накопление. В конце концов мы должны прийти к условиям мировой торговли, к отношениям общества, государства и экономической системы. Но тут Маркс умирает. А марксисты следующих поколений обычно читали только первый том «Капитала».

Если рассмотреть изменение отраслевой структуры капиталистической экономики, обнаружится, что с появлением качественно новых отраслей норма прибыли резко подскакивает. Это похоже на распахиwanie целины. Сразу удается снять огромный урожай. Не важно, эффективно ли работают компании, есть ли у них стратегия развития бизнеса. Важно быть первым. Затем урожайи начнут падать. Растет конкуренция, насыщается рынок. Выявляется неэффективность управления компаниями-пионерами. Норма прибыли начинает падать.

Внутри каждой отрасли можно проследить тот самый цикл, который отслежен Марксом, применительно к системе в целом. Но происходит это не всегда синхронно. В новых отраслях этот цикл может начинаться, что называется, с чистого листа. Периодически возникают новые отрасли, которые дают всплеск, резкое повышение нормы прибыли. В итоге средне-

статистический уровень прибыли в рамках капиталистической экономики, взятой в целом, оказывается выше.

Если же посмотреть на каждую отрасль в отдельности, обнаруживается, что внутри ее тенденция нормы прибыли к понижению торжествует неуклонно. История компьютерного бизнеса, мобильной связи и интернет-услуг последнего времени даст нам великолепную иллюстрацию этого процесса.

Технологические революции периодически «взбадривают» капитализм. Однако беда в том, что происходят они редко. Между ними расстояние в лучшем случае в 50 лет, а то и больше. Ведь не всякая новая технология является революционной. Не всякая технология создает качественно новые отрасли производства и потребления. А что делать, если технологическая революция исчерпала себя? В этот момент тенденция нормы прибыли к понижению сказывается с максимальной силой. Что может сделать капитал, чтобы подобным процессам противодействовать?

Маркс описал общество чисто капиталистическое, чисто буржуазное. Как историк экономики, он прекрасно понимал, что этот капитализм произошел из феодализма, у него есть предыстория, у него есть этапы формирования. Но эти моменты (подробно анализирующиеся в «Коммунистическом манифесте») не имеют значения в «Капитале». Тут тоже забота о чистоте эксперимента.

Прошлое постепенно отмирает, оно должно уступить место капитализму. Отсюда, кстати, и представление о том, что мелкотоварное производство должно будет уйти, не выдержав столкновения с крупным капиталом.

3. Колониальный капитализм

В «Коммунистическом манифесте» Маркс полагает, что пережитки добуржуазных отношений исчезнут, не выдержав столкновения с капитализмом. Так уже случилось в Западной Европе, преодолевшей феодализм. Колониальная модернизация, осуществляемая завоевателями в Азии и Африке, — жестока, безнравственна, но она будет способствовать прогрессу. Завоевав Индию, полагает Маркс, англичане привозят туда капиталистический способ производства, индустриальные технологии, строят железные дороги. Начинается развитие производств, связанных с обслуживанием железных дорог, происходит модернизация. Значит, рассуждает Маркс, Индия скоро станет похожа на Англию. Все феодальные, «азиатские», «варварские» структуры, существовавшие в доколониальный период, должны разложиться и исчезнуть. Проблема только во времени.

Между тем реальная история Индии не вполне подтверждает первоначальный оптимизм Маркса. Он оказывается прав, но только отчасти: модернизация происходит, но далеко не все меняется. Появляются промышленные рабочие, но сохраняется кастовая система. Элита научается говорить на

безупречном английском и делать деньги на лондонской бирже. Но те же махараджи продолжают извлекать деньги из вполне феодальной эксплуатации крестьянства, причем доход, полученный таким способом, может инвестироваться в развитие передовых технологий...

Оптимизм Маркса является в большей мере наследием общего оптимизма эпохи Просвещения, характерного для европейского общества XVIII–XIX вв. К концу жизни Маркс уже относится к перспективам буржуазной модернизации колоний куда менее оптимистично. Его волнует Россия, демонстрирующая, что закономерности, открытые им на материале Западной Европы, уже не могут быть механически перенесены на другие страны. Он пишет об этом Вере Засулич.

Ленин и Роза Люксембург принадлежат уже к другой эпохе, а опираются уже на новый, более богатый исторический опыт. Ленин вынужден поправить или, как он считает, дополнить Маркса. Он обнаруживает, что буржуазия в наиболее развитых странах имеет возможность, колонизируя народы Африки и Азии, получать оттуда сверхприбыли — за счет сверхэксплуатации туземной рабочей силы. И за счет этой сверхприбыли, в свою очередь, подкармливать уже западный рабочий класс, создавая в нем рабочую аристократию, приручая рабочую бюрократию. Иными словами, формируя колониальные империи, западная буржуазия отодвигает революцию, откупается от нее. Тезис Ленина очень логичен и подтверждается фактическими данными. В наиболее передовых странах Запада, раньше других вступивших на путь индустриализации, где существует мощный рабочий класс, этот класс достигает политической зрелости очень рано и обладает мощной структурой политических и профсоюзных организаций, которые являются реальной проблемой для буржуазии. Правящему классу приходится идти на компромиссы. Значит, должны быть где-то найдены дополнительные ресурсы, чтобы повышать жизненный уровень западных рабочих без снижения прибыли западных капиталистов, сохраняя высокий уровень конкурентоспособности.

К этому вопросу вплотную подошел уже сам Маркс. Написав про обнищание пролетариата, он в другом месте пишет про «политическую экономию рабочего класса». По мнению автора «Капитала», за счет политической и профсоюзной организации рабочий класс может остановить свое обнищание и, наоборот, стать богаче, благополучнее, при этом, однако, не меняя логики системы в целом.

В отличие от экономиста Маркса, Ленин смотрит на проблему больше с точки зрения политической. Для него колонизация — прежде всего военно-административный метод извлечения дополнительных прибылей. Представители передовой цивилизации грабят варваров. Однако такой метод примитивного военно-политического ограбления зависимых стран является в экономическом плане не слишком эффективным. Он действительно имел место в истории, но к нему феномен колониализма не сводится.

Маркс смотрел на колониализм несколько иначе. Для него функция колониализма состоит в первую очередь не в ограблении колонизируемых, а в том, чтобы заставить их включиться в мировой рынок, подчиниться экономической логике системы. Навязав «варварам» определенные отношения, экономические и социальные, буржуазия привязывает их к своему миру. Причем новые капиталистические отношения теперь будут воспроизводиться сами собой, даже без присутствия колониальной армии и полиции. В этом плане характерно замечание Маркса, что главным оружием капитала являются дешевые товары, а не канонерские лодки. Но другое дело, что заставить варваров покупать эти товары, оказывается, не так просто. Часто эти товары варварам просто не нужны. Например, не каждому человеку нужен холодильник. Он может иметь привычку ходить на базар каждый день и есть свежую пищу. И чукчам тоже не очень нужны холодильники. Но при определенных правилах игры можно заставить каждого эскимоса купить холодильник. Для этого надо переселить их в города, разрушить их традиционный образ жизни. Принуждение состоит не только в том, что колонизаторы приходят на чужую землю и поднимают там свой флаг. Они навязывают свои стандарты, нормы. Помните рекламу, где чукча едет покупать холодильники в Нью-Йорк?

Фактор военного, административного и политического принуждения играет очень большую роль на первом этапе. Затем вступают в действие другие механизмы. Об этом размышляла уже Роза Люксембург, которая пошла в создании теории колониальной эксплуатации гораздо дальше Ленина.

4. Накопление капитала

Книгу Розы Люксембург «Накопление капитала» читать трудно, она толстая, длинная, скучная. Но читать стоит, ибо это один из основополагающих текстов современного марксизма. Надо заметить, что терминология Розы Люксембург отчасти была заменена в течение XX в. новой лексикой, которую выработали теоретики миросистемной школы после Второй мировой войны. Но общая логика ее мысли сохранилась во всех работах этой школы.

Реальный капитализм как мировое общественное устройство является системой открытой и динамической. Он постоянно взаимодействует с другими способами производства, системами и укладами. Он постоянно воздействует на некапиталистическую периферию, на небуржуазные общества, он их трансформирует. Вопрос — как?

Отношения метрополии и подчиненных ей стран не сводятся к принуждению. Более того, история прошедших 150 лет показала, что, вопреки первоначальным ожиданиям Маркса, в обществах, которые оказываются вовлечены в мировую капиталистическую систему, продолжают сохраняться и даже развиваться добуржуазные социально-экономические отношения.

Другое дело, что они видоизменяются, приспособляясь к условиям капитализма, начинают решать задачи, которые ставит перед ними капитализм. Ленин называл их «хозяйственными укладами». Капитализм господствует, он задает общие правила игры. Некапиталистические уклады становятся для капиталистической системы источником дополнительных дешевых ресурсов (включая не только сырье и рабочую силу, но и финансы).

Элиты, опирающиеся на эти традиционные уклады, тоже не остаются неизменными. Они обуржуазиваются. При этом, однако, настоящей буржуазией они не становятся. Ведь источник их власти, способ, которым они присваивают чужой труд, не буржуазный.

Простейший пример — русское крепостническое поместье начала XIX в. или американская рабовладельческая плантация того же периода. Говорить о русском крепостничестве как о пережитке феодализма — смешно. Крепостное право формируется начиная с конца Ливонской войны, т. е. в то самое время, когда в России разворачивается модернизация, оно достигает расцвета в эпоху Просвещения. Зерно, выращенное русскими крепостными крестьянами, поступает в Лондон, влияя на цену рабочей силы свободного английского рабочего, собранная ими пенька идет на производство канатов британского Королевского флота, который своими пушками несет «цивилизацию» туземцам Азии и Африки. Вырученные от всего этого средства идут на накопление глобального капитала.

То же самое относится к рабству негров в Америке. Невозможно же утверждать, будто перед нами пережиток античности. В Америке ни Античности, ни Средневековья не было, а рабство появилось вместе с капитализмом.

В колониальных обществах Индии, Юго-Восточной Азии и Восточной Африки мы видим как махараджи, султаны и туземные вожди привыкают играть на бирже, покупают лондонские магазины, вкладывают деньги в европейские технологические проекты. Латиноамериканские олигархи создают латифундии, где практикуется вполне феодальная эксплуатация крестьян. Здесь нет ни свободного найма, ни западного права. Но без этих латифундий не может функционировать мировой рынок агропродуктов, на них опираются в своих технологических процессах крупнейшие транснациональные компании.

Спустя еще столетие в Лондон приезжает некий Роман Абрамович с Чукотки и покупает престижную футбольную команду «Челси» (это не просто прихоть богатого человека — вкладываются миллионы фунтов в спортивный бизнес). Вместе с ним появляются другие странные русские и скупают магазины, компании. А в то же время в Индии создается центр передовых технологий Бангалор, соперничающий с «кремниевой долиной» в США. Деятельность этого центра ничуть не способствует изменению образа жизни и росту благосостояния большинства населения, наоборот, социальное положение масс ухудшается, поскольку средства для развития

Бангалора и других престижных технологических проектов «выжимаются» из тех же масс, эксплуатация которых лишь усиливается.

Источником дополнительных средств, вовлекаемых в мировой оборот, является отнюдь не эффективное капиталистическое производство. В основе всего совершенно не буржуазные, хищнические методы эксплуатации людей и ресурсов. Но это хищническое поведение стимулируется именно капитализмом. Если бы не было «Челси», не возник бы и Роман Абрамович (вернее, он провел бы свою жизнь мирным бухгалтером в Ухте).

Внешне периферийные элиты имеют буржуазную форму, но в традиционных укладах продолжается собственный процесс воспроизводства, который идет по собственной логике. Традиционные уклады амортизируют противоречия капитализма. Они обеспечивают систему дешевыми ресурсами, туда можно экспортировать нерешенные проблемы. Другое дело, что традиционные уклады ценны для капитала лишь постольку, поскольку они включены в мировой рынок, трансформированы им. Если люди живут у себя в племени и никак не общаются с внешним миром, для капитализма они не представляют никакого интереса. А вот когда племя вступает в отношения с рыночной системой, оно уже представляет очень специфический интерес. Оно становится, с одной стороны, поставщиком ресурсов, с другой стороны, оно является потребителем товаров. При этом капиталистический рынок получает как бы дополнительные возможности сброса продукции в зоны, независимые от его собственных циклов накопления и производства. Во время кризисов перепроизводства именно такие рынки приобретают особую ценность.

Внутри капитализма все взаимосвязано. Для того чтобы что-то купить, надо что-то продать и т. д. Но как только мы доходим до периферийных структур — правила игры меняются. Цикл воспроизводства в этих укладах не совпадает с циклами мирового рынка.

Можно сказать, что некапиталистические уклады вступают в отношения с мировым рынком, с капиталистическими предприятиями, участвуют в общем процессе накопления капитала, но имеют собственную автономную логику воспроизводства. В условиях кризиса и вообще в долгосрочной перспективе возможность эксплуатировать этот некапиталистический сектор является важнейшим фактором стабилизации системы. Традиционные уклады более устойчивы, менее подвержены циклическим кризисам. У них своя система ценностей, которую тоже может эксплуатировать капитал. У варваров можно стеклянные бусы обменивать на земельные участки. И это совершенно не зависит от того, какая конъюнктура на мировом стеклянных бус.

В XVII в. происходит так называемое «второе издание крепостничества в Восточной Европе». В частности, мы видим укрепление крепостной зависимости крестьян в России. На первый взгляд эти общества сохраняют свою феодальную структуру, входя в мировой рынок. Торговый капитал выступает посредником между традиционным обществом и капиталистиче-

ской системой. Торговый капитал переориентирует традиционное производство в странах периферии на новые товары, на производство того, что нужно центрам мирового капитализма.

Капитализм остро нуждается в подобных полукапиталистических структурах, в их рабочей силе, на воспроизводство которой сам капитал ничего не тратит. Начиная с XVI в., когда началась коммерческая экспансия Запада в страны Карибского бассейна, здесь развивается рабство. Свободный труд — ключевой принцип капиталистического способа производства. Без свободного труда нет капитализма, это совершенно очевидно. Но именно рост капитализма в Европе сопровождается на периферии возникновением рабства, крепостничества там, где подобных отношений не было. И закреплением различных варварских порядков там, где они есть. Например, под влиянием спроса, предъявленного французскими, английскими и голландскими цивилизованными плантаторами в Америке оживляется работорговля в арабских странах Африки.

Турки, арабы, прибрежные африканские племена начинают развивать работорговлю как бизнес. Расовое деление не очень важно, африканские племенные вожди тоже начинают активно заниматься работорговлей. Конечно, работорговля существовала в Африке всегда, с древних времен, но она не была бизнесом, отраслью экономики. Обращение в рабство носило эпизодический характер — как последствие войн, набегов. Был некоторый спрос на наложниц для турецкой знати. Речь идет не о миллионах рабов и даже не о десятках тысяч. А вот в XVI в. работорговля на побережьях Африки становится важнейшей отраслью экономики. Города растут на этом бизнесе, торговые фактории превращаются в центры цивилизации. Кейптаун становится богатым городом, в португальских колониях строятся большие города, (нынешняя Луанда, например). Заметен бурный рост работорговли и в арабских городах, допустим в Тунисе. А на другом берегу Атлантики расцветает Бостон. Замечательный, культурный, красивый город. Он создан на деньги, заработанные благодаря работорговле.

Есть спрос на дешевую рабочую силу для экономики периферии. Этот дешевый труд обеспечивает поставку дешевых ресурсов: хлопка, сахара, табака с плантаций для обеспечения капиталистической экономики на Западе. Тем самым дешевая рабочая сила субсидирует дорогую рабочую силу в Европе.

Прибрежные племена Африки разворачивают настоящую охоту на людей в глубине континента. Они ловят их, продают в рабство европейцам, а в обмен на это приобщаются к различным благам западной цивилизации. Родившаяся на этой почве вражда между «цивилизованными» прибрежными племенами и «варварами» из глубинки стала основой кровавой резни во многих африканских странах уже в XX в.

Рабство приходит вместе с колониальной экономикой. Рабов приходится завозить из Африки, поскольку индейцы оказались непригодны к тому,

чтобы их обращали в рабов. Они в рабстве не выживали. На Кубе, например, вымерли все. Несколько миллионов негров погибло просто при транспортировке рабов через Атлантику, потому что в XVIII в. не умели вентилировать внутренние помещения кораблей. Тихие геноциды европейского капитализма, забытые ГУЛАГи западной цивилизации.

5. Перенакопление капитала

Можно сказать, что внедрение капитализма далеко не обязательно ведет к разложению и исчезновению традиционных отношений, но всегда — к их реорганизации. Происходит поверхностное обуржуазивание элит на периферии. Чем больше эти элиты обуржуазиваются, стараясь встроиться в мировой правящий класс, тем более жестокими и примитивными методами они готовы эксплуатировать собственное население — им нужно оплачивать свои счета перед Западом, в прямом и переносном смысле. Но по отношению к западной элите правящие классы периферии все равно выступают потребителями и поставщиками дешевых ресурсов. По мнению Розы Люксембург, такие полупериферийные элиты, полубуржуазные правящие классы играют важнейшую роль в стабилизации мировой системы.

Анализируя циклы накопления капитала, Роза Люксембург обнаруживает периодические циклы перенакопления. Маркс писал про кризисы перепроизводства. Эти кризисы перепроизводства анализировались уже Адамом Смитом. Каждый производитель действует самостоятельно, независимо от других он увеличивает производство, следуя сигналам рынка. Все делают одно и то же, в итоге у нас на глазах города застраиваются никому не нужными элитными домами, прилавки магазинов завалены мобильными телефонами. Как генералы всегда готовятся к прошлой войне, так и производство на рынке всегда ориентируется на вчерашний спрос. Чем успешнее производители насыщают рынок, тем быстрее наступает кризис перепроизводства. Парадоксальным образом правильная реакция на рыночные сигналы приводит на определенном этапе к катастрофе.

Самый масштабный, глобальный кризис перепроизводства вошел в историю под названием Великой депрессии 1930-х гг. В наше время тоже возникают подобные кризисы, например в автомобилестроении, когда в 1997 г. обнаружилось, что почти треть производственных мощностей, введенных в строй в Азии, являются избыточными. Сейчас производство начинают сворачивать довольно быстро, потому что кризисы скорее сопровождаются массовыми простоями оборудования, нежели перепроизводством конкретных видов товара. Хотя уничтожение неликвидных товаров тоже не редкость, просто фирмы предпочитают об этом не говорить. В этом же ряду стоит и глобальный спад 2008 г.

Между тем Роза Люксембург увидела и другой кризис, вернее, другую сторону капиталистического цикла. Капитал — это тоже ограниченный

ресурс, и не только количество капитала ограничено, но также ограничены и возможности его прибыльного вложения. Не всякие деньги капитал! Капитал — не деньги, лежащие в стеклянной банке. Деньги становятся капиталом, когда деньги делают деньги, когда они начинают работать. Для этого нужна концентрация и централизация капитала. Средства должны проходить через биржи, банки, инвестиционные системы. Чем больше денег может быть инвестировано, тем больше шансы получить хорошую прибыль. Российские политики обожают рассказывать, что, если мы будем хорошо себя вести, к нам придет капитал. Это напоминает классический советский анекдот про психов, которые прыгают с вышки в бассейн, надеясь, что рано или поздно туда пустят воду. Но дело в том, что к каждый данный момент инвестиционные ресурсы в мировой системе ограничены.

С другой стороны, рано или поздно наступает момент, когда огромные средства сконцентрированы, а достойного приложения для них нет. На первой фазе рыночного цикла есть куча инвестиционных возможностей, не хватает капитала. На другой фазе капитал есть, но привлекательных инвестиционных проектов уже не осталось.

Если у вас есть капитал, то это не значит, что вы можете получить на него удовлетворительную прибыль. А капитал, который не приносит прибыли, — мертвый. Конечно, можете вложить все деньги в разведение экзотических животных, можете помогать бедным и способствовать развитию искусств. В период перенакопления капитала предпринимателями овладевают настоящие эпидемии меценатства и благотворительности. Ведь благотворительность не всегда бескорыстное дело. Зачастую это форма рекламы, пропаганды. Но это еще и способ избавиться от избыточных средств в системе.

Вас будут очень уважать, но это — прямой путь к разорению. Происходит декапитализация денег. В такой ситуации, как пишет Роза Люксембург, возникает кризис перенакопления капитала. Избыточный капитал надо каким-то образом использовать и создать новые инвестиционные возможности искусственно.

Наилучшие пути для решения этой проблемы — война и внешнеполитическая экспансия, захват новых рынков. Как только начинается большая война (или хотя бы гонка вооружений), государство начинает выжимать из буржуазии крупные средства налогами, но предприниматели не так уж возражают. Во-первых, потому, что сами не знают, куда деньги девать, а во-вторых, потому, что капитал уходит в соответствующие производства. Вы отдаете государству излишек денег, а правительство превращает эти средства в выгодные контракты. Все это называется патриотизмом.

Второй вариант — используя политические и отчасти экономические методы, открыть для экспансии капитала новые рынки. Избыточный капитал устремляется в колонии, в страны периферии и полупериферии. Примеры просто лежат на поверхности. В 1870-е гг. в западных странах наблюдалось явное перенакопление капитала. Экономика Британии, которая

тогда была локомотивом европейской экономики, стагнировала. То же наблюдалось на континенте и в США. Историки называют это поздневикторианской депрессией.

В итоге начинается новый этап колониальной экспансии. Африка, которая раньше никому не была особенно нужна, оказывается за 15 лет поделена вся. Для колонизации она была непривлекательна, поскольку считалась слишком бедной, слишком отсталой. К тому же, там не было разведанных ресурсов. Ее жителей надо приучать к цивилизации в западноевропейском понимании этого слова, чтобы заставить этих людей стать наемными работниками. Но в конце XIX в. больше захватывать некого.

Усиливается давление на Китай. В более развитых и независимых странах происходит немного иное. Латинская Америка и позднее Россия начинают получать неожиданно щедрые кредиты от французских банков. Деньги вкладываются в русские железные дороги — расплачиваться за них будет правительство, опирающееся на доходы от экспорта зерна, производимого в помещичьих хозяйствах.

Колониальная экспансия заканчивается тем, что мир полностью поделен, а затем, когда надвигается новый кризис перенакопления в начале XX в., мир стремительно идет к новой большой войне. Первым звоночком была уже Англо-бурская война. Президент буров Крюгер начал войну с англичанами, нанеся первый удар, хотя сумасшедшим он отнюдь не был. Маленькие бурские республики атакуют огромную Британскую империю, после того, как Крюгер, посетив Европу, не только получил изрядную военную помощь из Германии, но и вернулся в абсолютной уверенности, что через год-два начнется мировая война. Тогда все расклады поменяются, и англичанам станет не до буров. Крюгер просчитался, его разгромили, и в итоге образовался Африканский союз, британский доминион на юге Африки. Мировая война началась на 15 лет позднее, и буры в ней уже участвовали уже на стороне Британской империи, громили немцев в Юго-Западной Африке, чем, кстати, очень гордятся.

В тот же период разворачивается Русско-японская война, потом Балканские войны. И наконец, наступает кульминация: Первая мировая война.

Другой яркий пример кризиса перенакопления можно было наблюдать в 1970-е гг. После нефтяного шока к 1973 г., когда арабские страны резко повысили цены на нефть, большое количество средств было перекачано из стран Западной Европы, а также из США на Ближний Восток. Эти страны не смогли выгодным образом столь огромные капиталы инвестировать. В итоге деньги вернулись в западные и отчасти японские банки. Вкладчики ждали от банков выплаты процентов, а у банкиров никто не хотел брать займы. Возникла классическая ситуация перенакопления. Кредиторы просто бегали за будущими должниками, уговаривая их взять займы, предлагая проценты ниже уровня инфляции. Деньги давались под 2 %, при высоком уровне инфляции, который тогда в Европе

достигал 10–12 % в год. В этот период в Англии уровень инфляции грозил достигнуть 25 %.

Кредиты, естественно, были взяты, причем не только государствами Африки, Азии и Латинской Америки, но и странами коммунистического блока, Польшей, Венгрией, Румынией и Советским Союзом. В последнем случае деньги брали под нефтяные гарантии, причем, по существу, предполагалось, что СССР в конечном счете выступает гарантом возврата долгов для всех своих сателлитов. Но, увы, при капитализме бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Дешевизна инвестиционных кредитов означала, что все проекты просчитывались крайне небрежно. Эффективность гарантировалась автоматически дешевизной денег. Даже если предприятия будут работать крайне плохо, вы все равно сможете расплатиться с кредиторами, особенно учитывая, что инфляция «съедает» часть вашего долга. В итоге кредиты были взяты под неперспективные инвестиционные проекты, большая часть проектов провалилась. Между тем избыточный капитал ушел из банковской системы, начался новый цикл. Теперь уже кризис перенакопления сменился дефицитом инвестиций. Спрос на капитал превысил предложение. Кредит стал стремительно дорожать. Инфляция была побеждена.

Должники оказались в ловушке. Неэффективная экономика не давала дохода, а долги и проценты по ним катастрофически росли. Целый ряд стран вынужден был переориентировать всю свою экономику на решение одной задачи: выплату внешнего долга. Так произошло, например, в Венгрии и ряде латиноамериканских, африканских стран. Можно сказать, что с точки зрения политической экономии Венгрия существует исключительно для того, чтобы платить долги. Причем экономика сравнительно быстро развивается, производство растет, но это не сильно отражается на благосостоянии граждан страны.

Крушение советского блока имело самую непосредственную связь с данными процессами. Выяснилось, что СССР был не в состоянии справиться одновременно со своими долгами и с долгами своих сателлитов. В итоге его бывшие союзники стали сателлитами Запада. Горбачев лишь оформил политически то, что было к концу 1980-х гг. уже свершившимся экономическим фактом. СССР, потеряв статус сверхдержавы, вступил в новую фазу кризиса и к 1991 г. распался. Парадоксальным образом крушение СССР было вызвано не успехами капитализма, а как раз кризисными явлениями, развивавшимися в капиталистической миросистеме. Но Советский Союз, переживавший собственный внутренний кризис, не только не смог использовать в своих интересах проблемы мирового капитализма, но, напротив, оказался заложником этой системы. Что, впрочем, закономерно. Ведь, отказавшись к концу 1960-х гг. от реформ, советское руководство искало выход из трудностей на пути интеграции в мировую капиталистическую экономику. Интеграция прошла успешно: Советский Союз помог решить экономические проблемы капитализма ценой собственного существования.

Легко заметить, что каждый раз ряд периферийных стран капиталистической миросистемы оказывается в конце цикла более зависим от центра, нежели в начале. Иными словами, кризисы перенакопления работают против периферии и разрешаются за ее счет. В обоих случаях также целый ряд стран, которые в начале цикла были вне миросистемы (африканские страны в первом случае, советский блок во втором), оказались к концу цикла подчинены логике системы.

Колониализм не обязательно предполагает вооруженное завоевание. Банки справляются с этим делом ничуть не хуже. В конце XIX в. Западная Европа посылала колониальные армии в Африку, а в конце XX в. обходились экспертами по макроэкономике. Хотя в некоторых случаях до отправки войск тоже дошло — на Балканах пришлось повоевать. Методы стали более тонкими и более эффективными. Не понимая, что происходит, русские патриоты искали какую-то мировую закулису, пытались раскрыть агентов влияния, проникших в Политбюро, проклинали предательство Горбачева и Ельцина. А на самом деле работали экономические силы. И они будут работать неумолимо, пока им не будет противопоставлена альтернативная экономическая стратегия.

6. Проблема отсталости

Роза Люксембург понимала, что каждый цикл перенакопления сопровождается экспансией буржуазной миросистемы. Но у этой экспансии тоже есть пределы и внутренние противоречия. Доказательством тому явились две мировые войны в XX в.

Роза Люксембург, проанализировав капитализм как открытую, расширяющуюся систему, доказала закономерность эксплуатации стран периферии странами центра. Но это означало необходимость переосмысления целого ряда идей, типичных для классического марксизма. С точки зрения ортодоксального марксизма начала XX в. все страны проходят одни и те же этапы, догоняя друг друга. Просто одни отстали от других. То же самое, кстати, говорили и либералы, аргументируя этим необходимость повторения бедными странами западного опыта — гарантированный путь к успеху.

Если Англия построила тяжелую промышленность, то спустя некоторое количество лет отставшая от нее страна Зимбабве тоже должна построить тяжелую промышленность. И в итоге она станет похожа на Англию. Такая схема совершенно оправдана по отношению к Западной Европе, где Франция и Германия повторили английский путь индустриализации, хотя в каждом случае была своя специфика. Уже в Германии процессы пошли немножко иначе. А в Австро-Венгрии механически повторить немецкий опыт не удавалось. В России тем более.

Знаменитый Петр Струве, русский «легальный марксист» начала XX в., а потом идеолог правых либералов, когда писал в 1898 г. манифест для Рос-

сийской социал-демократической рабочей партии, вставил туда знаменитую фразу Энгельса, заявившего, что **ЧЕМ ДАЛЬШЕ НА ВОСТОК, ТЕМ ПОДЛЕЕ БУРЖУАЗИЯ**. Объяснение этому странному фактору у Струве отсутствует. В самом деле, при чем здесь география?

Разгадку надо искать не в сфере пространства, а в сфере времени. На первый взгляд одна страна за другой проходят одни и те же фазы, только некоторые — с опозданием. Но если промышленность в Германии создается позже, чем в Англии, она уже не может повторить структуру британской промышленности. Существует международное разделение труда, новая промышленность должна найти свое место и глобальной экономике в рамках сложившейся структуры мирового рынка. Британская промышленность развивалась в условиях фактической монополии, в США, Германии, Бельгии и Франции промышленность поднималась на фоне расширяющегося глобального рынка, но уже странам следующей волны индустриализации пришлось иметь дело с совершенно иными условиями (высокий уровень конкуренции, относительная узость потенциальных рынков). К тому же, развиваются и технологии, появляются новые отрасли. Короче, запоздалая индустриализация не равноценна повторению истории стран, выступивших пионерами капитализма.

Другой вопрос — откуда приходит капитал. Осуществляется индустриализация на основе собственных ресурсов или надо использовать иностранный капитал? Страны центра способны не только опираться на собственные силы, но также привлечь дополнительные ресурсы за счет эксплуатации периферии — это исторический факт, в этом суть колониализма. За полученные таким способом ресурсы, понятное дело, либо вообще не надо платить, либо можно платить не полную цену.

Другое дело в странах, которые не успели к первой волне буржуазной модернизации. Оборудование все дороже, технологии все сложнее. Нужны капиталы и знания, которых в стране нет.

Проблема отсталости оказывается проблемой зависимости. «Отсталость», «зависимость», «слаборазвитость». Вот три термина, которые то и дело употреблялись применительно к подобным ситуациям. Если все дело в «отсталости», значит, надо просто ускорить экономический рост, пройти те же фазы, но быстрее. Теоретически это возможно: не нужно каждый раз заново изобретать паровую машину. Казалось бы, отставшие страны могут развиваться быстрее, догнать Запад. А затем — перегнать.

Россия начиная с Петра Первого боролась с отсталостью. Однако этот отчаянный бег следом за Западом, несмотря на огромные усилия и жертвы, не принес ожидаемых результатов. Хуже того. Период наиболее интенсивного развития царской России — с середины 1860-х гг. по 1914 г. Но за это же время в самих западных странах происходят перемены: Англия и Франция замедляют темп, Германия и Америка вырываются вперед. Ленин в связи с этим говорил о «неравномерности развития», характерной для капи-

тализма. Но перераспределение мест между ведущими странами, как правило, не открывает новых возможностей для тех, кто оказался на периферии системы. По отношению к новым лидерам западного капитализма отсталость России парадоксальным образом только увеличилась. Итогом оказывается катастрофа русской армии в войне против Германской империи в 1914–1917 гг.

Объясняется это тем, что система не работает по той логике, какую представляли себе теоретики буржуазного прогресса и ортодоксальные марксисты начала XX в. Это не несколько параллельных дорожек, по которым можно бежать, это целостная система, в которую все включены одновременно. Только лидеры бегут по чистой дорожке.

В 1960-е гг. уже не говорят об «отсталых» странах. Появляется тезис о слаборазвитости. Теперь становится понятно, что нужен не только экономический рост, надо достичь определенной структурной зрелости. Но какова логика и направление развития? Кто задает приоритеты? В конечном счете речь опять идет о повторении западной модели, только теперь акцент делается не на количественные показатели, а на качественные.

Спустя некоторое время на смену концепции слаборазвитости приходит тезис о зависимости. Тут мы уже приближаемся к разгадке ребуса. Центр, который контролирует капитал, выступает источником инвестиций, технологий, соответственно, определяет и параметры развития зависимых стран. Там строят предприятия, которые не нужны местному населению, но в них нуждаются иностранные инвесторы, и они соответствуют уже сложившемуся разделению труда (иными словами закрепляют сложившиеся отношения).

Политической независимости для успешного развития недостаточно, нужна независимость экономическая. Но как ее достичь? В 1950–1960-е гг. казалось, что все решит политическая деколонизация. Колонизаторы уходили, причем нередко без серьезной борьбы. Деколонизация в значительной мере стимулировалась самими колониальными державами, а отчасти американцами, которые хотели вытеснить, старые колониальные державы и занять их место. Бывшие колонии стали независимыми странами «третьего мира» (в отличие от западного «первого мира» и коммунистического «второго мира»).

Часто сами колониальные державы форсировали деколонизацию. Классический пример — это деколонизация Брунея, когда местный султан умолял британцев не уходить, но они навязали ему независимость. Потом был долгий, неприличный торг, когда султан упрашивал оставить хотя бы часть колониальной администрации, но англичане стояли на своем: будет полная независимость, и никаких компромиссов.

Примитивные методы военно-административной эксплуатации колоний ушли в прошлое, к тому же они оказались неэффективными. Это стало очевидным ещё во времена королевы Виктории. Когда, подавив восстание

сипаев, британцы оставили под своей властью Индийскую империю, было решено, что Индия не будет платить ни пенни в бюджет Великобритании. Другое дело, что английские компании, которые работали в Индии, отправляли налоги в Лондон. Эксплуатация осуществлялась не через структуры колониальной администрации, а через экономические каналы.

В 1970-е гг. многие писали про так называемый неэквивалентный обмен, о ножницах цен. Страны, продающие сырье, находятся в менее выгодном положении, чем те, кто продает продукцию обрабатывающей промышленности. Те, кто контролирует технологию, обладает более передовыми производствами, навязывает свои условия игры на рынке. Мало того, что в цену готовой продукции включена цена на сырье, но еще существует разрыв между сложными и более простыми производствами.

Существуют, однако, некоторые виды стратегического сырья, которые дают определенные козыри тем, кто их контролирует. Вспомним нефтяной шок 1973 г. Тогда многие сочли, будто можно использовать нефть как оружие «третьего мира». Ножницы цен теперь сработали не в пользу Запада. Кончилось это всего лишь очередным кризисом перенакопления, новой долговой зависимостью, в которую попали многие страны «третьего мира», и крахом СССР. Для Запада экономический цикл, начавшийся с нефтяного кризиса, завершился победой в «холодной войне».

Другая стратегия преодоления зависимости была связана с «импортозамещающей индустриализацией». С конца 1960-х гг. в странах «третьего мира» бурно развивается промышленность. Местное сырье можно не вывозить, а обрабатывать в собственной стране. Импорт иностранных промышленных товаров надо сокращать и перенимать индустриальные технологии. Короче, преодолевать зависимость на уровне производства.

На первых порах это имело успех. Повысился уровень жизни, была достигнута определенная независимость по отношению к бывшим метрополиям. Но, странным образом, это движение угасает к началу 1980-х гг. Через 10–15 лет после начала импортозамещающей индустриализации многие страны обнаружили себя в такой же зависимости, как и раньше. Разрыв между Западом и «третьим миром» сохранился. Изменились лишь ее формы. Все получалось как в Евангелии от Матфея: у кого было много, тому еще прибавится, у кого было мало, у того отнимется и то, что есть.

Объясняется это обычно тем, что, пока в Восточной Европе и в странах Азии или Латинской Америки строили заводы, в США и Западной Европе началась технологическая революция, информационная эра. Это действительно так. Но проблема не только в технологической революции.

Если бы все дело было в компьютерах и мобильных телефонах, догнать Запад не представляло бы большого труда. Больше того, внедрять информационные технологии дешевле, нежели промышленные, — компьютеры стоят дешевле, чем сложное производственное оборудование, а специалистов можно выучить за границей. Индия создала собственный высокоэф-

фективный информационный сектор. Россия и Украина унаследовали изрядный технологический потенциал от СССР (и, кстати, несколько наших компаний по производству программного обеспечения неплохо работают на мировом рынке). Однако сектор высоких технологий не вытягивает за собой остальные сектора экономики. Более того, его собственный рост оказывается достаточно скромным. Высокотехнологичные компании, возникшие в Индии, Украине и России быстро обнаружили, что работать серьезно можно лишь на западных заказчиков. А российское правительство, придумав в 2010 г. проект технограда Сколково, изначально пыталось встроить его в западную экономику, а не в свою собственную. Писаться будут только такие программы, которые нужны Западу, и в том количестве, в котором тот заинтересован. Центры принятия стратегических решений оказались опять не в странах периферии.

7. Корни зависимости

Итак, формы зависимости периферии от центра менялись. Также менялись и стратегии борьбы за экономическую независимость. Но зависимость сохранялась.

В чем причина?

В конце 1970-х – начале 1980-х гг. среди марксистов начинается очередная дискуссия на эту тему. Между периферией и центром происходит постоянное перераспределение прибавочного продукта. Но что это значит с точки зрения политэкономии? Каковы глубинные причины? Почему стратегии борьбы за независимость не срабатывают?

Главными участниками дискуссии стали экономисты: Самир Амин, араб, живущий в Париже, американцы Иммануил Валлерстайн и Андре Гундер Франк, который провел значительную часть жизни в Латинской Америке.

Самир Амин считает, что господство центра обеспечивается счет монопольного контроля над важными направлениями экономического и политического развития. Он выделяет целый ряд монополий: на передовые технологии, на оружие массового поражения, на современную систему средств информации и т. д. Однако, как показывает практика, эти монополии не являются исключительно привилегией Запада. Мы обнаруживаем, что в странах «третьего мира» зачастую есть серьезные очаги научного и технического развития. Примером может быть Индия, некоторые латиноамериканские страны. Что касается оружия массового поражения, то в наши дни Индия создала атомную бомбу наравне с Пакистаном. Если говорить о средствах массовой информации, то опять же, сегодня есть «Аль-Джазира», есть мощные телевизионные сети в Латинской Америке. Есть индийская киноиндустрия — «Болливуд». Весь мир смотрит дурацкие мек-

сиканские сериалы. Это тоже глобальная экспансия через средства массовой информации. И очень крупный бизнес.

Когда страны бывшего Восточного блока оказались включены в капиталистическую миросистему, то обнаружилось, что эти страны обладают доступом и к технологиям, и к современному оружию, и к спутниковому телевидению. Но все равно находятся на периферии.

Ответ надо искать в другой сфере. Иммануил Валлерстайн вообще не описывает механизма. Он просто говорит, что система иерархична в принципе, иной она быть просто не может. Центр эксплуатирует периферию, а способы эксплуатации все время меняются. Есть еще «полупериферия». Эти страны периферии, которые, с одной стороны, по уровню развития не принадлежат к центру, но политически имеют важные козыри. Они выступают как бы посредниками, агентами центра по отношению к периферии. Это дает им на геополитическом уровне определенное преимущество.

Пользуясь своим политическим преимуществом, такие страны порой достигают и экономических успехов. Так, Южная Корея, оказавшаяся «прифронтовым государством» в борьбе Запада против «коммунизма», получила и возможность для ускоренного развития. К тому же, американские советники в Корее не вмешивались в хозяйственные решения. Проводимый курс не имел ничего общего с рецептами либерализма, но американцы с этим мирились, главное было — опередить коммунистическую Северную Корею, неважно, каким способом.

Протекционизм и привлечение иностранного капитала под строгим контролем местной власти, военные заказы, связанные с обслуживанием иностранных войск, всевозможные субсидии, помощь на борьбу с коммунизмом — все пошло в ход. Южная Корея превращается в индустриально развитую страну. Хотя она и не достигает уровня Запада по показателям технологического развития, но в ней складываются собственные транснациональные корпорации. Корея вместе с Японией превращается в один из центров глобального накопления капитала. А это куда важнее, чем технологические новации как таковые.

Япония и, возможно, Корея представляют собой уникальный случай, когда полупериферийные страны стали частью «центра». Больше это никому и никогда не удавалось. Даже в случае с Южной Кореей нет полной ясности. Никакие нефтяные деньги не сделали, например, Саудовскую Аравию страной «первого мира» — это очень богатая страна «третьего мира», отсталая и зависимая. Зато есть целый ряд стран, которые были в «пороговом» состоянии, например Аргентина. В начале XX в. казалось, что они вот-вот войдут в число мировых лидеров. Но не тут-то было. Они либо остались на прежних местах, либо деградировали. По такому показателю, как производство валового внутреннего продукта, за 100 лет разрыв между центром и периферией увеличился, особенно на душу населения. По оцен-

кам английского экономиста Алана Фримана, разрыв по совокупности факторов вырос от 1:6 до фактора 1:60. В десять раз!

Иными словами, все усилия по преодолению отсталости привели к десятикратному ее увеличению. Есть о чем задуматься. Все работают, строят заводы, изобретают, стараются быть новаторами... а в итоге дела идут хуже и хуже, и ничего не получается.

Увеличение дистанции пытались списать на демографический взрыв. Это один из факторов, который работает против периферии. Но беда в том, что демографический взрыв в Европе XVIII–XIX вв. как раз способствовал ее бурному развитию, стимулировал рост производства (в том числе и на душу населения), а не тормозил его. Европейский демографический взрыв был фактором развития капитализма. А в Азии, Африке, Латинской Америке — нет.

Демографический взрыв в Европе сопровождался колониальной экспансией. Избыток населения направлялся за океан. В итоге мы получили такие страны, как Канада, Новая Зеландия, США, Австралия, Южная Африка. Большая иммиграция из Европы была в Бразилии, Аргентине. И опять же, интересно: те страны, которые с самого начала формировались как «свободные» территории для расширения центра, — Соединенные Штаты и английские «белые доминионы», — стали частью «центра». Те же, кто был на периферии, остался на периферии, несмотря на огромное число белых переселенцев (Бразилия, Аргентина, Уругвай). Так что расовая теория не поможет. Почему в одних случаях у «белого человека» получалось, а в других — нет?

Легко понять, что избыток населения, дававший материал для строительства колониальных империй, не мог аналогичным образом быть использован бывшими колониями. Никто не может повторить чужого развития. Фазы, когда они накладываются друг на друга, видоизменяются. Но заметьте, что есть еще и периферийные страны, страдающие от демографического упадка (Уругвай, Аргентина, сегодня также Россия). Выясняется, что тут экономическая динамика зачастую даже хуже, чем в странах демографического взрыва: вместе с сокращением населения начинает падать производство. В одних случаях производство не поспевает за ростом населения, а в других — падает или стагнирует из-за недостатка населения!

Ясно, что корень проблем надо искать в другом месте. Дело не в людях, а в системе.

Если говорить о логике системной эксплуатации, то все приведенные раньше ответы являются недостаточными. Похоже, Роза Люксембург со своим анализом накопления капитала была гораздо ближе к разгадке, нежели кто-либо из миросистемных теоретиков последующего времени. Для того чтобы деньги стали капиталом, они должны быть где-то сконцентрированы и централизованы. Капитал стремится к централизации.

Главная функция стран «центра» — обеспечивать накопление капитала в мировом масштабе. Таких центров накопления не может быть слиш-

ком много, иначе вместо того, чтобы концентрироваться, капитал будет распыляться. Но в то же время центров должно быть несколько (иначе не будет конкуренции капиталов). Соревнование между мировыми центрами накопления предопределяет противоречия основных держав в мировой политике. Переток, бегство капитала от периферии к центру является стихийным и естественным процессом. Более того, деньги, накопленные некапиталистическими структурами и укладами, чтобы стать капиталом, должны от этих укладов уйти, перейти в капиталистическую систему. Так происходит перераспределение ресурсов.

На ранних этапах происходит прямое изъятие прибавочного продукта из захваченных стран, позднее в дело идет «неэквивалентный обмен», эксплуатация сырьевых ресурсов, финансовая кабала. Но это лишь частные случаи, внешние формы, за которыми скрывается всегда одна и та же суть: периферия обслуживает накопление капитала в центре. В наиболее развитых странах периферии мы видим уже просто бегство капитала. Власти и либеральные экономисты объясняют это плохими порядками, недостаточно либеральной системой. Но чем более либеральной становится система, тем больше капитала уходит. Всякий раз, когда принимаются меры, чтобы стимулировать приток иностранных инвестиций, одновременно создаются гарантии для вывоза капиталов (кто же станет ввозить деньги, если потом их нельзя будет вывезти). В итоге любые меры по привлечению капитала одновременно облегчают и стимулируют его бегство. А бежит капитал не потому, что на периферии условия работы для бизнеса хуже (зачастую они много лучше), а потому, что накопление происходит в центре.

8. De-linking

Страны периферии должны конкурировать за инвестиции. Уход денег является стихийным и естественным процессом. Успеха в развитии достигают лишь те, кто создал собственный внутренний механизм накопления, который способен, в той или иной мере, быть автономным или независимым от мировых центров. Самир Амин называет это словом *de-linking*, то есть отключение, отсоединение.

Вот почему такое значение имел для стран «периферии» государственный сектор (не только в странах с левыми режимами, но и в Боливии, Индии, Турции). Ресурсы госсектора не вывозились, они накапливались внутри страны. Вот почему западные финансовые институты из всех сил старались в 1980-е гг. все государственные предприятия на «периферии» приватизировать — тем самым их ресурсы включались в глобальный процесс накопления.

Южная Корея, например, сумела стать черной дырой для международных финансовых процессов. Частные компании, «чеболы», до известной

степени играли здесь ту же роль, что и государственный сектор в других странах. Они были тесно связаны с правительством. Так продолжалось до конца 1990 гг., когда западные финансовые институты все же сумели — после завершения «холодной войны» — подчинить Корею своей дисциплине. Отчасти это было связано с тем, что корейские корпорации сами стали транснациональными и были заинтересованы в западных финансовых рынках. Бурный рост корейской экономики тут же прекратился. А вот корейские корпорации чувствуют себя недурно. Став частью мировой элиты на глобальном уровне, они пользуются плодами мирового разделения труда, переносят производство за границу, скупают предприятия в других странах.

Другой пример — Советский Союз. Мы отгородились от миросистемы «железным занавесом» и Берлинской стеной. На определенном этапе именно поэтому СССР достиг грандиозных успехов. Но в какой-то момент обнаруживается, что политика изоляции имеет свои пределы. После краха СССР начинается так называемая глобализация — вакханалия мирового финансового капитала, который достигает небывалых размеров глобальной концентрации и эксплуатирует ресурсы человечества в немыслимых прежде масштабах. В этом процессе скоро начинают участвовать и российские компании. Они попадают в списки ведущих корпораций мира. Но их блестящий успех отнюдь не сопровождается возрождением российской экономики. Рост производства, наблюдавшийся в 2000-е гг., был весьма скромным, если учесть масштабы краха, пережитого страной в 1990-е.

Конечно, деньги из центра часто возвращаются опять на периферию. Это уже не стихийный переток, а осознанные инвестиционные решения, направленные на получение прибыли, освоение ресурсов — опять же в интересах накопления и, следовательно, в интересах «центра». Страны периферии конкурируют между собой по отношению к финансовому центру, чтобы привлечь инвестиции, стараясь создать как можно более выгодные условия для размещения иностранных вложений. А это еще больше усиливает глобальную тенденцию перераспределения в пользу центра. Несколько стран-лидеров на периферии получают больше, чем отдают. Но количество таких призовых мест ограничено, иначе система просто не могла бы нормально функционировать. Успех немногих обеспечивается поражением подавляющего большинства. Потому в масштабах мировой экономики страны периферии являются нетто-экспортерами капитала. Периферия всегда в целом отдает больше, чем получает. Это в конечном счете является важнейшим фактором формирования мирового финансового рынка. Мировое распределение труда формируется в значительной мере на основе тех же инвестиционных процессов. Важно не то, где удобнее тот или иной товар производить, а то, где существуют лучшие условия для накопления капитала. Не страны выбирают производства, которые им нужны, а компании находят государства, которые, с их точки зрения, «инвестиционно эффективны». Например, у вас есть месторождения каких-то полезных ис-

копаемых, но вы не можете их развивать, ибо нет капитала. Да, капитал может быть привлечен, месторождения будут освоены, но на таких условиях, что почти все выгоды достанутся внешним инвесторам, а для развития других отраслей в вашей стране это производство не даст ничего.

Именно так потерпела неудачу идеология национального развития. Потерпела, до известной степени, неудачу и идеология некапиталистического пути. Страны, пытавшиеся осуществить *de-linking*, столкнулись с противоречием. Перед ними оказался выбор: либо отключение от мировой системы, которое приводит к изоляции, либо «открытие экономики», что на практике означает подчинение данной страны логике внешней эксплуатации. Попытки наладить коллективные действия и солидарность между странами периферии до сих пор терпели поражение. С одной стороны, местные элиты, даже прогрессивные, были слишком тесно связаны с элитами Запада, соперничали между собой. А с другой стороны, успешный вызов системе можно бросить, только рассчитывая на поддержку трудящихся, причем не только в своей стране, но и на мировом уровне, опираясь на солидарность западных низов. Элиты стран периферии боясь массового движения, не хотели рисковать своей властью. А солидарность трудящихся Запада и «третьего мира» была реальной, но ограниченной: «рабочая аристократия» Запада боялась потерять свое потребительское благополучие. Далеко не все западные трудящиеся в 1960–1970-е гг. представляли собой «рабочую аристократию», но господствовала все же идеология потребления.

9. Кондратьевские циклы

Итак, говоря о капитализме, мы имеем дело не с рядом стран, последовательно и поочередно проходящих одинаковые этапы развития, а некую целостную систему. Эта система сталкивается с двумя типами противоречий. С одной стороны, это противоречие, порожденное способом производства и очень хорошо описанное в классическом марксизме. Противоречие между развитием производительных сил и производственными отношениями. Меняется технологический базис общества, структура его производства, за этим следуют перемены в системе управления, механизме социального и политического господства. Но есть и противоречия другого порядка, выявляющиеся скорее на геополитическом и географическом уровнях. Между центром и периферией, между несколькими соперничающими центрами накопления капитала.

С другой стороны, система циклична. Мы видели короткие конъюнктурные циклы, периодически возвращающиеся кризисы перепроизводства, описанные Марксом, мы видели циклы накопления капитала, описанные Розой Люксембург. Но есть еще и так называемые длинные волны, или «большие циклы», открытые русским экономистом Кондратьевым.

Исследования Кондратьева были сделаны в советской России вскоре после революции 1917 г., а потому велись в общем контексте марксистских исследований. Но Кондратьев прежде всего — статистик. Он сделал расчеты на основании сведений о динамике цен, собиравшихся в Европе с XVIII в. Первоначально коллеги из Академии наук разгромили его теорию в пух и прах. Но сегодня, когда мы получили гораздо больше данных по истории капиталистической экономики, обнаруживается, что тенденции, выявленные Кондратьевым, подтверждаются.

Мировая экономика начинает фазу роста («А-фазу», или «повышательную фазу»). В ней есть свои спады и подъемы. Но в целом «А-фаза» характеризуется кризисами короткими и неглубокими, а периодами экономического подъема длительными и мощными. На определенном этапе, когда проходит от 20 до 40 лет, наступает «Б-фаза» («понижительная», по Кондратьеву). Это фаза, когда спады затяжные, глубокие, подъемы, напротив, короткие, нестабильные. Как правило, в «А-фазе» преобладает дефицит капитала. Инвестиционных возможностей много, капитала все время не хватает, идет погоня за инвестициями, кредитом. Потом в «Б-фазе» рано или поздно наступает кризис перенакопления.

Длину фазы никто не может точно определить. Маркс рассчитал короткие циклы, занимающие от 5 до 9 лет. В «А-фазе» циклы подъема, как правило, длинные, порядка 9 лет, а в «Б-фазе» короткие, кризисы происходят чаще. Здесь анализы Маркса и Кондратьева подтверждают друг друга, иное дело, что Маркс о больших циклах не думает, а Кондратьев считает на периоды 100–150 лет. Но кондратьевские циклы по продолжительности оказываются очень разными, от 20 до 40 лет. Никто точно не определил причины именно таких временных различий. Самый загадочный момент с точки зрения этой теории наблюдался в начале 1990-х гг., когда по всем признакам наступила очередная «А-фаза», но уже в 2001 г. глобальная конъюнктура резко пошла вниз. Иными словами, либо очередной кондратьевский цикл, против ожидания, не начался, либо оказался беспрецедентно коротким.

Сейчас о «больших циклах» любят говорить и либеральные экономисты, и марксисты. Но гораздо более важный вопрос — понять природу этих циклов. Механизм короткого цикла понятен, механизм цикла накопления капитала тоже понятен, а вот механизмы кондратьевского цикла остаются достаточно неясными. Дело в том, что эти циклы комплексные. В них работает целый ряд факторов, и эти циклы как бы обобщают более короткие, более частные циклы. Почему вообще происходит перелом от «А-фазы» к «Б-фазе», а затем к «А-фазе» следующего цикла? Кондратьев замечает, что перелом сопровождается военно-политическими и революционными потрясениями.

Переход от одного цикла к другому не является чисто механическим, «естественным» событием. Система достигает определенного состояния, выйти из которого она может, только перейдя в новое качество и обеспечив достаточно мощный долгосрочный экономический рост. Но переход

сопровождается не просто структурной перестройкой экономики, но и обостренной борьбой социальных интересов, ломкой существующих институтов, политическим противостоянием.

На такие переломные моменты приходятся — Крымская война, Революция Мэйдзи в Японии, отмена крепостничества в России и Гражданская война в США, заканчивающаяся отменой рабства. Так же на очередном переломе циклов вспыхивает Первая мировая война, а затем происходит русская революция 1917 г. И, кстати, не является ли нынешняя мировая нестабильность симптомом переходного, кризисного состояния капиталистической миросистемы?

Наряду с кондратьевскими циклами можно выделить и своеобразные циклы глобализации и деглобализации капитализма. Мировой капитализм — система открытая, имеющая тенденцию к расширению. Расширение является как бы защитной реакцией системы по отношению к кризисам перенакпления капитала и другим кризисным явлениям внутри системы. Это способ самолечения системы, которая снимает свои проблемы, пытаясь решить их за счет внешнего мира. Сегодняшнее максимальное, планетарное расширение системы означает одновременно и то, что остались лишь минимальные возможности лечиться таким способом. Ресурсы компенсации, похоже, исчерпаны. Именно подобная ситуация в 1905–1914 гг. привела к мировой войне, а затем, когда война разразилась, — к подъему антикапиталистических выступлений не только в России, но и по всему миру.

10. Глобализация

Иммануил Валлерстайн пишет, что капитализм возник первоначально в качестве мировой системы и лишь затем сложились национальные капиталистические экономики и, соответственно, государства. Другое дело, что экономический мир капитализма первоначально охватывал не всю планету. Он стал по-настоящему всеобщим лишь дважды — в эпоху империализма (между 1870 и 1914 гг.) и в эпоху глобализации (после краха СССР в 1991 г.). В перерыве между этими двумя эпохами существовал советский блок («коммунистическая система», говоря языком либеральных историков). Национальное государство, в современном смысле, является продуктом развития капитализма, а не его предшественником. Сначала возникает глобальная трансатлантическая экономика, куда включены локальные рынки Фландрии, наиболее развитых частей Англии и Германии. Лишь потом на этой основе складываются национальные рынки в той же Англии, во Франции.

Когда в 1453 г. турки взяли Константинополь, закрыли восточноморский торговый путь, султан и его окружение вряд ли могли предвидеть, что тем самым дают резкий стимул к ускоренному развитию капитализма на Западе. После падения Византии в Европе возникла острая потребность в

поиске новых торговых путей. Испанцы, португальцы устремляются кто на юг, кто на запад. Португальские исследования начались ещё в первой половине XV в. — в направлении атлантического побережья Африки. Искали путь к африканскому золоту, которое поступало откуда-то из глубины континента.

Надо помнить, что такое водное пространство для XVI–XVII вв. До изобретения паровой машины передвижение по суше было гораздо более медленным и гораздо менее безопасным, чем передвижение по воде. Да и грузоподъемность корабля выше, чем грузоподъемность гужевого транспорта. Не надо забывать: хороших дорог в Европе, даже в XVI в., практически нет. Кое-где продолжают использоваться римские дороги, кроме тех мест, где их просто разобрали на камни, как это происходило во Франции. В Германии, к востоку от Рейна, приличных дорог вообще нет, а уж безопасных тем более. Кстати, стремление немцев построить свои знаменитые автобаны восходит как раз ко временам, когда Германия славилась отвратительными дорогами, хуже даже, чем в России. Это своего рода историческая компенсация, осуществление вековой мечты немецкого народа. Основные коммуникации конца Средневековья — водные. В Голландии повсюду роют каналы не только из-за необходимости отвести от дамб воду, но и чтобы заодно улучшить транспортное снабжение, подавать грузы из рек прямо в лавки и на склады.

Когда закрывается средиземноморский бассейн, открывается атлантический. Атлантическая экспансия создает то, что Валлерстайн называет капиталистической мирозкономикой. Начинаются бурное развитие торгового капитала и переход его в производственный. Первоначальное накопление описано в «Капитале» Маркса и, как и всякое другое, происходит за счет эксплуатации, в том числе периферии, за счет рабства, использования крепостного труда в России и Польше, за счет колониализма.

Макс Вебер писал про связь между протестантской этикой и духом капитализма. А перуанский марксист Хосе Карлос Мариатеги показал, насколько идеи протестантского фатализма соответствовали экономической основе формирующегося колониального общества. С точки зрения испанского конкистадора, католика, индейцы — это заблудшие души, которые должны быть просвещены. В итоге их не убивают, а только крестят. Но отсталый конкистадор сам хозяйством заниматься не может, он должен этих туземцев поработить, чтобы они на него работали. Совершенно иначе себя ведет передовой протестантский фермер из Англии. Ему нужна чистая, пустая земля, на которой он будет вести свое передовое хозяйство. Потому людей, живущих на этой земле, надо поголовно истребить. Протестантская этика тут же дает объяснение. Если господь допустил, что эти люди дожили до XVII в., не зная Христа, значит, они изначально обречены на адские муки. Следовательно, нет моральной проблемы в том, чтобы их уничтожить. Геноцид очень способствует развитию рынка. В итоге протестантами создается передовая Северная Америка, а в Латинской Америке устанавливается консервативный периферийный феодальный режим.

Экспансия капитализма сопровождается соревнованием капиталов. Формируются соперничающие центры накопления. Это соревнование и становится одним из источников формирования национального государства. Потому что национальное государство должно обеспечить дополнительные ресурсы, защиту для своей буржуазии, которая вступила в эту гонку.

В периоды, когда капитализм глобализируется, растут технологии транспорта, коммуникаций, связи, торговли. Доминирует торговый и финансовый капитал. Так было в XV–XVI вв., когда бурно развивались коммуникационные, финансовые и торговые технологии. Строились и совершенствовались корабли, формировалась почта, как специфический организованный бизнес. Почта сначала возникает как частное предприятие, потом обнаруживается, что его эффективное распространение требует перекрестного субсидирования и участия государства — иначе в маленьких городах почтовые конторы поддерживать окажется нерентабельно.

Европейцам удастся перенять некоторые технологические, как им кажется, «новшества» у китайцев. Раньше на Западе не умели строить большие корабли. Когда португальцы приплыли в Восточную Африку на своих каравеллах, они хотели покрасоваться перед местными «дикарями». Пришвартовали корабли, подняли крест на берегу и ждали восторгов местных жителей. А «дикири» смеялись, увидев их корабли. Ведь сюда уже плавали китайцы. И китайские корабли были больше каравелл раз в пять. Технологический уровень различался как между кукурузником и «боингом». Но понемногу европейцам удалось перенять китайские технологии кораблестроения. Было еще одно изобретение, очень важное для мореплавания, судя по всему, европейское. Это были вентиляторы. Благодаря их внедрению произошла революция в мореплавании, важные перемены в военном деле и экономике. Вентилятор был изобретен для работоторговли. Большое количество рабов не удавалось довести до места назначения. Люди, которых набивали в трюм, задыхались. Массовые поставки рабов были невозможны, пока не изобрели вентиляторы в корабельных помещениях. Вместе с ростом работоторговли начался бурный рост производства хлопка, сахара и т. д. В то же время обнаружилось, что можно в большом количестве провозить войска, колонизация начинается на совершенно другом уровне. На тех же кораблях можно перевозить большие массы колонистов.

Расцветают банки, в том числе и международные. Банкирские дома развились в Италии позднего Средневековья именно из-за потребностей международной торговли и межгосударственного кредита. Лишь много позднее они стали кредитовать промышленность. Капиталы начинают структурироваться и организовываться в совершенно беспрецедентных для Европы масштабах. Они достигают наибольшей концентрации к началу XVII в.

Стремительный рост трансатлантической буржуазной экономики привел к кризису. Обнаружилось, что транспортная сеть росла быстрее, чем производство. Как бы ни была развита транспортная сеть, по ней что-то

нужно возить. Какую бы вы коммуникационную систему ни построили, по ней нужно передавать какую-то информацию о чем-то, что происходит за пределами этой сети. То же самое и с финансами. Для того чтобы деньги куда-то двигались, где-то должна работать реальная экономика. Финансы являются в капитализме не только кровью инвестиционной системы, но еще и информационной системой. При капитализме финансовые потоки являются одновременно источниками информационных сигналов. После периода избыточного роста коммуникационной, торговой, финансовой технологий наступает кризис. Сигналы, которые дает экономике её финансовая система, превращается в информационный «шум». Пик этого кризиса приходится на конец кондратьевской «Б-фазы». Начинается новая фаза, когда приоритетом становится развитие производственных технологий.

Коммуникационные, финансовые, торговые структуры могут быть сразу глобальными. Они не нуждаются в каком-то конкретном месте, поскольку речь идет о постоянном движении. А производство нуждается. Привязка к местности обозначает, что нужно обеспечить инфраструктуру, обеспечить воспроизводство и обучение рабочей силы, поддерживать социальный порядок и гарантировать в определенной степени социальный мир. Появляются короли вроде Генриха IV Бурбона, которые вдруг начинают задумываться о том, чтобы у крестьян по праздникам был бульон с курицей. Надо гарантировать не только безопасность торговых путей, но и социальную стабильность. А сделать это очень трудно, потому что вакханалия торгового капитализма повсюду разорила низы общества.

Производство должно быть привязано к местному рынку, чтобы хотя бы частично снижать транспортные издержки. Размещение новых производств становится все более связано с географической структурой рынков.

В период, когда на первый план выходят производственные задачи, роль государства стремительно возрастает. И мы имеем фазу деглобализации. Она, как правило, совпадает с «А-фазой». Падают роль финансового капитала, повышается роль производственного. На исходе «Б-фазы» мы видим гипертрофированную роль финансового и торгового капитала и максимальную глобализацию системы. А на входе в «А-фазу» мы видим возрастание роли государства, сокращение роли финансового капитала и возрастание роли производственного капитала. Технологические новации перемещаются в производственную сферу.

Но переход от одной фазы к другой происходит не гладко. Историки, например, говорят про «кризис XVII в.». Неспособность раннего трансатлантического капитализма перестроиться привела к Тридцатилетней войне, английской революции, англо-голландским конфликтам, потрясениям французской Фронды. В этом же ряду, между прочим, стоит и русская Смута.

Глобализация, о которой сейчас так много говорят, отнюдь не новое явление. И уж тем более нет причин видеть в ней нечто необратимое. Особенность современной глобализации состоит в том, что она представляет

собой максимальную интеграцию мирового рынка капитала, при сохранении дезинтегрированности мирового рынка труда. Капитал может переместиться за 15 минут из Латинской Америки в Россию, и наоборот.

В 1994 г. рухнуло мексиканское песо. Огромная масса финансового капитала буквально за считанные дни переместилась в Юго-Восточную Азию и отчасти в Россию. Потом, в 1998 г. все обрушилось в Азии, спустя полгода рухнул российский рубль, после чего капитал опять переместился в Латинскую Америку, причем южную ее часть. Вскоре после этого рухнули бразильская и аргентинская валюты. За собой финансовые спекулянты оставляют экономическую пустыню. Финансовый капитал перемещается с очень большой скоростью — люди за ним не угонятся. Но и производство не может перемещаться с такой быстротой, даже в рамках транснациональных концернов. В любом случае надо что-то построить, кого-то нанять, оформить какие-то обязательства, наладить производство, складирование, сбыт. Рынок труда остается локальным. На определенном этапе развития он вдруг становится важнее, чем рынок капитала. Вчера люди ничего не значили, а сегодня вдруг о них начинают заботиться. Не потому, что капиталисты вдруг прозрели и стали гуманистами. Просто капитализм вступил в новую фазу. Депрессивное состояние рынка труда начинает сдерживать развитие рынка капитала.

В XVII в. появилась теория меркантилизма, ориентирующая правителей на защиту национального рынка. Идеи «свободной торговли», которые раньше безраздельно господствовали, оказались поставлены под сомнение. В XX в. наблюдается то же самое. Появляется английский экономист Джон М. Кейнс, который призывает спасти капитализм от краха с помощью государственного регулирования и социальной политики.

Любопытно, что Кейнс мало знал Маркса, но был знаком с работами Энгельса. Кейнс пришел к некоторым выводам, которые оказались небезынтересны и для марксистов. Один из его выводов состоял в том, что капитализм нуждается во внешних стабилизаторах. К такому же выводу, кстати, пришел и австрийский экономист Йозеф Шумпетер. Эти авторы, весьма далекие от марксизма, осознали, что нельзя подчинить все общественные отношения чисто рыночным факторам. Результат будет плачевным даже с точки зрения самого буржуазного порядка.

11. Капитализм и рынок

Капитализм есть максимальное, наиболее полное развитие рыночного принципа. Рынок существовал до капитализма и, возможно, будет в каких-то формах существовать после. Но именно при капитализме рынок получает наиболее полное развитие, становится всепроникающим. В то же время мы не можем на чисто рыночных отношениях строить всю свою жизнь даже в буржуазном обществе. Рынок не дает ответа на вопрос о воспитании детей или отношениях в семье. Муж и жена не могут, напри-

мер, платить друг другу за каждую операцию, которую они в доме производят. Брачный контракт — это, конечно, проникновение рынка в несвойственную ему среду. Потому с любовью он несовместим. А феминистские призывы платить женщинам за домашнюю работу, как бы ни были они понятны на психологическом уровне, есть не что иное, как распространение сугубо буржуазного принципа на внутрисемейные отношения.

Культура, искусство, образование живут по другой логике, чем коммерция. Они в значительной мере стабилизируют рыночную систему, потому что как бы «извне» привносят в капитализм некоторые факторы регулирования, стабильности, устойчивости. Для этих же целей капиталу нужна религия, церковная организация, унаследованная от Средних веков. Если бы система была построена целиком по чисто рыночным принципам, она бы неизбежно разваливалась. Если все построено только на рыночных отношениях, внутри семьи нужно платить за любовь или развестись. Детей можно будет продавать. Торговать отечеством станет так же почетно, как и продавать пуговицы. Но сама же буржуазия с таким подходом категорически не соглашается. Она трогательно носится со средневековыми государственными традициями, требует уважения к гербам и флагам, сентиментально любит монархов, поощряет семейные ценности, вкладывает деньги в абсолютно убыточные виды искусства типа оперы и классического балета.

Внерыночные стабилизаторы нужны самому капитализму. Буржуазия совершенно осознанно сохраняет различные «докапиталистические пережитки». А Кейнс пришел к выводу, что этого мало. Он понял, что необходимо регулировать рынок. Раз есть конъюнктурные циклы, которые можно предсказывать, значит, государство, прогнозируя эти циклы, может осознанно проводить экономическую политику, создающую им противовес. Деятельность государства может быть даже неэффективна сама по себе, главное, чтобы она была нужным образом направлена. Давайте, говорил Кейнс, в разгар кризиса выроем огромную яму, правительство закопает туда бутылки со стофунтовыми купюрами. Потом правительство будет сдавать эту землю отдельным предпринимателям, которые станут бутылки выкапывать. Экономика расцветет, потому что деньги будут потрачены не только на закапывание и раскапывание ямы, но и на то, чтобы заказать строительную технику, создав рабочие места. Машиностроительные заводы будут загружены, рабочие получают зарплату, на эти деньги они купят еду у фермеров, соответственно, расцветут торговля и сельское хозяйство, предприятия заплатят налоги в казну. Все будет замечательно. Конечно, эквивалентом такой ямы может быть культура, наука, образование, но скорее всего правительство предпочтет закупать оружие.

Здесь открывается более глубокая перспектива. Кейнс много пишет о классовой борьбе. С его точки зрения, государство имеет социальную функцию, оно должно смягчить социальные противоречия и предотвратить социальный взрыв. Здесь он с буржуазной стороны описывает то же, что Маркс и Ленин рассматривают с позиций пролетариата. Когда Ленин говорит, что

буржуазия покупает пролетариат и формирует «рабочую аристократию», Кейнс говорит, что от пролетариата надо откупиться. Кейнсианская модель имеет очень четкое классовое содержание. Кейнс пишет, что считает капитализм очень несправедливой системой, но если речь идет о его личной позиции, то он присоединяется к «просвещенной буржуазии». Между тем кейнсианская теория была подхвачена именно левыми, социал-демократами, реформистскими рабочими партиями, которые попытались организовать, причем достаточно успешно, давление на буржуазию в странах центра. Ваша способность получить отступное от правящего класса прямо зависит от вашей способности его напугать. Там, где рабочее движение было хорошо организовано, сильно, агрессивно, там быстрее всего встал вопрос о социальных реформах.

Кейнсианская система имеет четкую привязку к национальному государству, внутреннему рынку и к производственной ориентации. Не случайно именно кейнсианство обеспечило переход капитализма к очередной «А-фазе». Это «золотой век» послевоенной Европы, 1950–60-е гг. «Великая депрессия» 1929–1932 гг. привела систему к катастрофическим перегрузкам, когда был не просто спад экономики, но начались и социальные потрясения. После Великой депрессии было очевидно, что надо вводить такие методы регулирования, которые обеспечат стабилизацию за счет активной роли государства как организатора внутреннего рынка. И предприниматели не просто активно шли на уступки, чтобы откупиться от рабочих, но и очень быстро обнаружили: стабилизация общества и стабилизация внутреннего рынка через государственное регулирование создает для них новые возможности заработка. Знаменитый промышленник Генри Форд произнес знаменитую фразу: «Я хочу, чтобы мои рабочие сами покупали мои автомобили». Повышение зарплаты резко увеличивает емкость потребительского рынка. Начинается рост производства. Появляется бытовая техника в доме. Возникло потребительское общество. Потребление, как мы видим из работ Маркузе, является формой контроля и манипулирования. Через процесс потребления массами управляют. Так же, как и через процесс производства. Потребление является компенсацией отчуждения, с которым люди сталкиваются в процессе производства. С появлением «государства всеобщего благоденствия» (Welfare State) был создан целый ряд институтов, связанных с управлением социальными программами. Появляется большой государственный сектор, смешанная экономика. В нем складывается своя бюрократия, своя бюрократическая этика, идет формирование собственных элит, а логика поведения этих элит и структур не совсем тождественна логике поведения менеджерских групп в частном секторе.

Можно сказать, что до Кейнса стабилизаторами капитализма были структуры, пришедшие из прошлого, а в начале 60-х гг. мы говорим о структурах, как бы пришедших из будущего. Своеобразная прививка социализма к капитализму. И тут возникают новые противоречия. С одной стороны, смысл всех этих социалистических экспериментов состоит в стабилизации капитализма. Но с другой стороны, эти структуры начинают жить по сво-

ей логике. В определенных ситуациях они вступают в конфликт с логикой накопления капитала и создавать потенциальную угрозу системе. Ведь на первых порах буржуазные отношения тоже насаждались феодальным государством для того, чтобы укрепить власть старых аристократических элит. Затем они достигли определенной критической массы, стали казаться опасными, и феодальная монархия начала борьбу с ними.

Советская версия марксизма отрицала возможность существования каких-либо социалистических отношений в рамках капитализма. Официальные советские учебники говорили, что если капитализм зарождается в рамках феодализма, то социализм может быть лишь «построен» (насажден сверху) после победы революции. В свою очередь либеральные теоретики постоянно ссылаются на эти же учебники, доказывая, что социализм есть утопия, ведь он не порожден естественным ходом вещей.

Между тем обе точки зрения противоречат эмпирическим фактам. Нарастание социалистических тенденций в рамках капитализма на протяжении XX в. достаточно очевидно. Однако отсюда вовсе не следует, будто, как считали оптимисты социал-демократии, революция не нужна и капитализм сам собой, естественным образом перерастет в социализм. Ничего подобного!

Подобный конфликт можно определить как «институциональное соревнование». Не просто класс против класса, но система институтов социального государства против системы и структуры традиционного капитализма. До поры они нуждаются друг в друге. Капитал нуждается в этой структуре, чтобы стабилизировать себя и смягчить свои противоречия, а новые структуры и новые институты первоначально выполняют чисто технические задачи, усваивают общую идеологию буржуазного общества и, казалось бы, вполне приспособляются к ней. И все же правящие классы все более чувствуют, что социальная сфера может стать для них такой же проблемой, как некогда буржуазные учреждения для феодальной аристократии.

Структуры социального регулирования становятся чересчур влиятельными. Но это ведет не к «плавному перерастанию» капитализма в социализм, а к буржуазной реакции, к неизбежному и закономерному контрнаступлению капитала.

12. Неолиберализм: буржуазная реакция

Начиная с середины 1970-х гг. мы видим нарастающий кризис социального государства — сначала на Западе, затем по всему миру. В начале 1970-х в Давосе в рамках Всемирного экономического форума зародился новый консенсус элит. Получила распространение идеология неолиберализма — возврата к традиционным принципам классического капитализма и свободного рынка. Кризис и крушение Советского Союза, равно как и тупик, в котором оказалось национально-освободительное движение стран «третьего мира», создали благоприятную обстановку для контрнаступления буржуазии.

Ни советская система, ни национально-освободительное движение в конечном счете не смогли преодолеть тяготения капиталистической миросистемы и к концу 1980-х вернулись в нее. То же относится к Китаю, Вьетнаму, даже к Кубе — странам, сохранившим в начале XXI в. коммунистические режимы, но встраивавшимся в глобальное разделение труда.

По мере того как угроза антикапиталистической революции и «красного» завоевания сходилась на нет, буржуазные классы все менее чувствовали заинтересованность в сохранении социального компромисса, типичного для 1960-х гг. Идеи Кейнса были отвергнуты.

Неолиберализм является своего рода ответом буржуазии на рост социальной сферы и государственного сектора, на рост новых, социально ориентированных институтов. Социал-демократия и созданные ею институты сделали свое дело, помогли в XX в. стабилизировать капитализм. Но если они не будут решительно ослаблены, есть риск, что они выйдут за рамки отведенной им роли, становясь из элементов стабилизации факторами дестабилизации. Нельзя бесконечно расширять потребление. Интегрируя в систему потребительства одну социальную группу за другой, буржуазия усложняет механизм эксплуатации, делает его более дорогим. Интеграция каждой новой, более массовой группы «низов», как отмечал Валлерстайн, стоит все дороже. Иными словами, интерес капитала отныне состоит в том, чтобы остановить этот процесс и запустить его в обратном направлении.

Мы сталкиваемся и с экологическими границами потребительского общества. Невозможно представить себе, что будет, если все китайцы усядутся за руль автомобилей, как американцы. Наступит экологическая катастрофа. Еще в начале 1970-х гг. бразильский экономист Сельсо Фуртадо подсчитал, что если весь мир подтянуть по уровню потребления до среднего американца, то экономический коллапс наступит мгновенно. На планете нет такого количества ресурсов, чтобы обеспечить всем американский образ жизни. Неолиберализм находит решение этой проблемы, с одной стороны, за счет сжатия социального государства, с другой стороны, за счет перемещения капитала с богатого Севера на бедный Юг. Причем капитал приходит на Юг не для того, чтобы сделать его богаче. В этом нет экономического смысла. В целом Юг становится беднее. Но и социальные низы Запада должны отказаться от своих потребительских амбиций.

Методом давления на социальное государство становится бегство капиталов. Под предлогом дороговизны рабочей силы капитал начинает уходить в страны, где люди стоят дешевле, где нет профсоюзов, забастовок. Наивно думать, будто западные правительства этому уходу капитала сопротивляются. Напротив, они его стимулируют. Отныне государства должны конкурировать между собой, чтобы выслужиться перед капиталом, который все более явно принимает транснациональную форму. Тот, кто сделает жизнь своих подданных тяжелее и несчастнее, получит поощрение.

Однако изгнание из потребительского рая провоцирует недовольство. Социальные противоречия системы начинают нарастать и «по вертикали», и

«по горизонтали» (внутри каждого отдельного общества и между обществами). Раньше капитал экспортировал свои проблемы на периферию. В начале XX в., не переставая эксплуатировать периферию, капитал усиливает давление на жителей стран центра. Те, кто еще недавно были благополучно интегрированы в потребительское общество, начинают ощущать себя чем-то вроде пролетариата в старом марксистском смысле. Психологический шок очень силен. Ведь одно дело — всегда жить в бедности, а другое дело — впасть в бедность после длительного периода жизни в достатке.

Социальное недовольство нарастает, но механически вернуться к методам классовой борьбы, типичным для начала XX в., невозможно, ибо изменились условия жизни, организация труда, технологии, культура, массовое сознание. Часть людей, вытесняемых из потребительского общества, не пролетаризируется, а деклассируется. Этим, как и в период Великой депрессии, пользуются различные фашиствующие силы — резкий подъем крайне правого экстремизма, неофашизма и радикального национализма в начале XXI в. не случайность. Дело не в том, что люди забыли уроки Второй мировой войны, а в том, что стали воспроизводиться социальные условия «Великой депрессии», приведшей нацистов к власти в Германии.

И все же торжество неолиберализма может оказаться предвестием нового революционного подъема. Обостряя классовое противостояние, политика буржуазного реванша рискует поставить под вопрос легитимность капитализма даже в тех слоях общества, которые до сих пор систему неукоснительно поддерживали.

13. Крот истории продолжает свою работу

Механизм воспроизводства элиты сделал ее более открытой, более динамичной.

Вчерашние радикалы сделались сегодняшним истеблишментом, пошлыми буржуа. Советский Союз рухнул, а вместе с ним ушло в прошлое мировое коммунистическое движение. В Китае про маоизм стали вспоминать лишь по большим праздникам. Лидеры национально-освободительной борьбы превратились в коррумпированных правителей, вымаливающих займы у Международного валютного фонда.

Раньше модно было говорить о приближающейся революции, теперь о том, что революций в современном мире быть не может. Но в тот самый момент, когда буржуазная идеология торжествовала полную победу и устами Фрэнсиса Фукуямы уже публично объявила о конце истории, на политическую сцену вышли новые массовые движения, бросившие вызов капитализму. А вместе с массовым сопротивлением системе возвращалась и потребность в марксистской теории.

Глава 5

Демократия в марксистской и либеральной теории

Если спросить либерального профессора о том, как соотносятся марксизм и демократия, он, скорее всего, закричит что-то невразумительное и бросится наутек. Ибо главное, чему учат в либеральной политической школе, — это тому, что демократия и марксизм несовместимы. Демократия, с их точки зрения, несовместима вообще ни с чем, кроме либерального капитализма. В этом смысле демократия несовместима сама с собой. Ибо демократия предполагает свободу выбора, а никакого выбора нет. Все, что не есть либеральный капитализм, должно быть отвергнуто.

Маркс, говорят нам, был предтечей тоталитаризма, даже если сам того не сознавал. От Маркса идет неизбежный, логический ряд к сталинизму, к товарищу Ким Ир Сёну и Пол Поту. В более умеренном варианте та же концепция выражена Лешек Колаковским в его трехтомном труде «Основные направления марксизма», где говорится, что сталинизм и кимирсеннизм — это не единственно возможные, но легитимные и законные интерпретации марксизма.

На самом деле подобная преемственность не совсем обоснованна. Парадокс состоит в том, что если уж искать идеологические корни тоталитаризма в европейской мысли, то начинать надо не с Маркса, а с идей Просвещения и концепции демократии.

1. Демократические корни тоталитаризма

Если признать закономерным происхождение тоталитарной практики XX в. из марксистской теории, то точно так же придется признать и родство между тоталитаризмом и демократией. Европейское Просвещение изначально было авторитарным, поскольку знание передается от немногих ко многим, сверху вниз, и отнюдь не путем свободной дискуссии. Любая школа авторитарна — нет ни возможности, ни необходимости спорить по поводу того, сколько будет дважды два. Просвещенное меньшинство руководит

отсталым большинством по праву знания. Другое дело, что свою миссию передовое меньшинство видит в том, чтобы это знание распространить на всех. Можно сказать, что большевистские представления о роли партии тесно связаны с идеями Просвещения, которые сама же буржуазия насаждала в XVIII столетии. Предшественником большевизма была партия французских якобинцев, тоже чрезвычайно авторитарная. Но именно с якобинства (со всеми ужасами революционного террора и гильотины) начинается история европейской демократии.

Хосе Ортега-и-Гассет, испанский консервативный мыслитель, написал в первой половине XX в. про «Восстание масс». Для него не так уж велики различия между демократией и тоталитаризмом. И то и другое означает конец власти элиты, конец традиции, начало массовой политики. Именно поэтому, кстати, формы тоталитарного политического действия повторяют формы демократии — съезды, партии, массовые демонстрации, выборы. Весь арсенал средств тот же, что и при демократии, только без плюрализма.

С другой стороны, на левом фланге связь тоталитаризма и Просвещения увидели Теодор Адорно и Макс Хоркхаймер в книге «Диалектика Просвещения». Хоркхаймер позднее перешел на консервативные позиции, но эта книга написана в период, когда он еще находился под влиянием марксизма.

Идея современной демократии порождена эпохой Просвещения. Все начинается с XVII в., с идеологического обоснования английской буржуазной революции. Нужно было дать теоретический анализ того, что случилось в Англии в середине XVII столетия. Это сделал, с одной стороны, Томас Гоббс, а с другой — Джон Локк. Первый писал еще во время революции, второй после — когда буржуазный порядок утвердился. Неудивительно, что Гоббс, ставший одним из бесспорных идеологов и теоретиков буржуазного права и государства, является убежденным авторитаристом. Правда, авторитаризм Гоббса по-своему демократичен. Он построен не на понятии божественного права, которое характерно было для средневекового политического мышления, когда иерархия ниспослана была от бога. Нет, с точки зрения Гоббса, иерархия и государственное насилие являются способом совладать с естественной природой человека. Как только человек получает свободу, он начинает творить такое, что лучше его ограничить. Заменой свободы становится общественный договор. Добровольный отказ народа от своих прав в пользу государства, которое наводит порядок и защищает граждан.

Что такое государство, по Гоббсу? Система, которая ограничивает свободу каждого в интересах безопасности всех. Компромисс интересов. Теория общественного договора насквозь авторитарна, поскольку суть ее как раз в ограничении свободы, в регулировании и легитимизации насилия. Причем насилия классового. Другое дело, что идея общественного договора имеет и менее авторитарную версию, например у Ж.-Ж. Руссо, который видит суть договора в совместной защите свободы.

Руссо был уже предшественником анархизма. Он, конечно, в глубине души уверен, что рано или поздно государственную власть вообще ликвидируют: должен быть такой общественный договор, который обеспечит уже непосредственную реализацию свободы, в каком-то новом обществе, построенном на равенстве.

Но господствует в буржуазном обществе все же не утопизм Руссо, а прагматизм Гоббса. А с точки зрения Гоббса, разницы между республикой и монархией и, соответственно, между авторитарной властью и демократической, по сути, нет. С его точки зрения, вопрос только в том, кто принимает решения: коллектив депутатов или отдельная личность. Как только решение принято, оно проводится в жизнь совершенно одинаковыми авторитарными методами. В этом плане, по Гоббсу, автократия лучше, потому что она менее затратна. Все равно никакой реальной свободы для народа не будет. В коллегии, парламенте долгая сложная процедура, а в условиях монархии или диктатуры один человек принимает решение. Это быстрее, а результат тот же самый.

В Просвещении есть и другая авторитарная идея. Это концепция иерархии знаний. Есть люди уже просвещенные, овладевшие знаниями, они должны просветить массы, которые не овладели знаниями. В этом плане совершенно непринципиально, о чем мы говорим — о передовой пролетарской теории или о вольтерьянстве. Непросвещенным людям знание это нужно навязать разным способом. Если не хотят, чтобы вы им объясняли добром, то, значит, их нужно заставить учиться. Их собственные предрассудки, их незнание, дикость, варварство препятствуют тому, чтобы воспринять знание. Если, например, мужики в Вандее не понимают идей прогресса и нападают с вилами на комиссаров республики, поддаются вражеской пропаганде и продолжают верить в короля, слушать попов, значит, мятеж нужно подавлять каленым железом. И точно так же спустя сто двадцать лет будет действовать в Тамбове революционный командарм Тухачевский.

Все европейские концепции знания иерархичны. Университетские системы — тоже. Знание дает народу просвещенное государство. Так Просвещение, которое, казалось бы, является бесспорно демократической идеей, оправдывает насилие. Разумеется, новая система знаний бросает вызов старым иерархиям. Якобинская диктатура демократична в социальном смысле, ибо с помощью гильотины прокладывает дорогу наверх выходцам из мелкой буржуазии, которых раньше близко к власти не подпускали. И конечно, в той мере, в какой марксизм, как и вся европейская культура XIX–XX вв., выходит из Просвещения, можно проследить определенную логику, ведущую к различным формам авторитаризма и тоталитаризма. Но в том-то и дело, что марксизм до известной степени преодолевает логику Просвещения, преодолевает внутренний авторитаризм, заложенный в традиции европейской либеральной мысли. Он сохраняет культ знания, веру в силу разума, рационализм и в этом смысле, бесспорно, является продолжением

Просвещения. С другой стороны, вместо абстрактного «знания» появляется идея классового интереса и самореализации личности.

Самореализация любой социальной группы, будь то пролетариат или буржуазия, находится в определенном противоречии с иерархией знаний. Самореализация личности или самореализация коллективов идет снизу. Ключевым словом здесь становится уже не «просвещение», а «творчество».

2. Гражданство

Не может быть демократии там, где народ не стал гражданами. Вопрос о том, кто может быть гражданином, что такое гражданское общество, остро обсуждался в Европе еще до того, как марксизм сложился в качестве самостоятельного направления общественной мысли. Какова социальная основа гражданского общества? С точки зрения либеральной теории в том виде, когда она начинает складываться в англосаксонской традиции с XVII в., источником гражданских прав и гражданского состояния является, конечно, собственность. В этом плане гражданское общество есть форма самовыражения человека-собственника. Современный либерализм не решается открыто заявлять, что только частный собственник может быть гражданином — как утверждали его основоположники. В буквальном смысле это означало бы отрицание гражданских прав в других классах общества, что в XXI в. уже не «политкорректно». Но вся логика рассуждений, неразрывно связывающая свободу распоряжения частной собственностью с политической свободой, толкает нас в том же направлении. По мнению классических либеральных мыслителей, только собственник обладает всеми чертами, необходимыми, чтобы быть полноценным гражданином. Человек, не имеющий собственности, не может быть гражданином.

Идеи раннего либерализма XVII–XVIII вв. были воплощены в государственной практике. Избирательное право было ограничено имущественным цензом. Пролетарии не имели права голоса, не могли быть депутатами парламента. Причем после победы буржуазной революции в Англии избирательное право было не расширено, а, наоборот, ограничено. В Соединенных Штатах лишены избирательного права были рабы и женщины. Кстати, лишение женщин избирательных прав вызвано отнюдь не предубеждениями относительно их интеллектуальных способностей. Главами государства женщины могли быть, книги писать могли. А голосовать — нет. И причина лежит в имущественном законодательстве, которое ограничивало правоспособность женщины. Раз женщина не может быть полноценным собственником, то и на гражданские права претендовать не может.

Английский парламент, который мы видим на закате феодальной системы, в начале XVII в., имеет ограниченные полномочия, но по своей структуре очень демократичен. Конечно, не все население участвует в вы-

борах, но фактически парламент при Стюартах избирает народ. Его огромное большинство. Совсем другое дело — парламент Кромвеля, созданный победившей буржуазией. Жесточайшие имущественные цензы превращают его в закрытый клуб.

На первом этапе буржуазии нужна была мобилизация сил демократии против монархии и феодализма, но на следующем этапе победивший класс собственников уже должен защитить себя от тех самых массовых демократических сил, которые он сам пробудил к политической жизни ради борьбы против старого режима. Нужно построить новую иерархию. Для либералов собственность является источником человеческого самостояния, основой личного интереса, гарантией ответственности. Люди, работающие по найму и не имеющие собственности, не могут иметь самостоятельного интереса и ответственности. Они становятся тем самым объектами манипуляции. Мысль о том, что человек может быть вполне ответственным и компетентным, даже не имея собственности, что существуют другие, не связанные с наживой, стимулы человеческой деятельности, просто не укладывается в буржуазном сознании. Ведь мы склонны судить о людях по себе.

Человек, лишенный при капитализме собственности, действительно зависим. Но на этом основании теоретики XVIII в. делают вывод, что массы не должны голосовать, не должны участвовать в политическом процессе. А современные политтехнологи считают, что массы должны участвовать в политическом процессе, просто ими нужно манипулировать. Они — быдло, предназначенное для манипуляции. Между тем народные массы уже в XIX в. сделали из всего этого собственные выводы. Движения протеста пытались использовать демократические права, чтобы преодолеть свое зависимое положение, заставить господ собственников считаться с собой. И в этом состоял вполне конкретный и осознанный интерес масс.

Либеральная буржуазия заинтересована в том, чтобы власть как можно меньше вмешивалась в права собственности. Но проблема здесь в том, что демократическая власть может вмешиваться в эти права равно так же, как и авторитарная. Расширение сферы компетенции демократической власти для либерализма так же недопустимо, как и расширение полномочий власти авторитарной. Хуже того, с демократией договориться труднее, поскольку иметь дело приходится не с несколькими десятками представителей бюрократической элиты, а с сотнями тысяч и миллионами людей, чей собственный интерес толкает на то, чтобы добиваться экономических перемен в свою пользу. Поэтому политическая формула либерализма может быть выражена словами: максимум свободы при минимуме демократии.

В противовес либерализму уже в конце XVIII в. формируется радикальная демократическая трактовка гражданства. Она идет от английских левеллеров («уравнителей») и диггеров («копателей») к французскому якобинству. Лозунг всеобщего избирательного права звучит уже в ходе американской революции или во французской революции. В полной мере это видение «уни-

версального», всеобщего гражданства получает выражение в радикальных, мелкобуржуазных движениях XIX столетия, в революциях 1848 г.

Новые радикальные мелкобуржуазные движения были направлены не только против старого строя, но и против претензий нового формирующегося либерального государства. Особенно это видно в Америке. Американская революция направлена была не против старой феодальной монархии, а против новой буржуазной уже монархии, которая существовала в Англии. После победы революции в Америке разворачивается конфликт, который очень мало описан историками. Официальная версия американской революции старается затушевать внутренние конфликты среди сторонником независимости. Между тем существовал конфликт между мелкобуржуазной демократической массой, которая сделала революцию, и новыми элитами, которые сформировались в результате победы. Чтобы поставить на место мелкобуржуазных радикалов, «отцам-основателям» пришлось подавить целый ряд протестов и восстаний, заменить Articles of Confederation новой американской Конституцией. В английской революции мы видим такой же конфликт, а уж в ходе французской революции радикалам удается, правда ненадолго, овладеть государственной властью.

Народные массы вырвались из-под контроля, результатом чего стала якобинская диктатура. Эта диктатура, при всем ее авторитаризме, была демократична в том плане, что вовлекла большинство народа в политику. Якобинцы провозгласили, что человек рождается свободным, что он в принципе является личностью. И по праву рождения становится гражданином. Потому в отличие от английской революции французская республика провозгласила Декларацию прав человека и гражданина, не разделяя эти понятия. Каждый человек способен выступать как самостоятельная личность вне зависимости от того, является он собственником или нет.

3. Плюрализм

Либеральная политическая наука учит нас, что сосуществование конкурирующих частных собственников создает плюрализм интересов, являясь тем самым единственным основанием для гражданского общества. Действительно, там, где есть плюрализм собственников, должен быть и плюрализм интересов. Это банальность, которая не подлежит, безусловно, обсуждению. Но дело в том, что даже там, где нет конкуренции частных собственников, плюрализм интересов все равно возникает.

В этом плане очень интересно вспомнить работу Ота Шика «План и рынок при социализме», опубликованную в Праге в 1967 г. Рассматривая либеральный тезис о том, что рынок порождает многообразие интересов, Шик задавался вопросом: как получается, что в коммунистической Восточной Европе свободного рынка нет, а многообразие интересов есть. Бо-

лее того, именно многообразие интересов вызывает в странах советского блока потребность в развитии рыночных отношений. Иными словами, логика реального развития прямо противоположна той, что описана в либеральных учебниках.

В конце концов, даже внутри одной частной и государственной корпорации мы зачастую видим соперничающие интересы (и это — в бюрократических системах, которые, в идеале, должны работать как целый отлаженный механизм!).

Плюрализм формируется не на почве хозяйственной конкуренции. Противостояние интересов между верхами и низами общества, между управляющими и управляемыми не менее реально. Существуют групповые, клановые, региональные интересы. Опять же не всегда борьба интересов создает почву для демократии, приводит к формированию гражданского общества. Достаточно вспомнить распад Югославии в начале 1990-х гг. Борьба интересов налицо, причем на всех уровнях. А демократией и не пахнет. Господствующие интересы в данном случае представлены организованными этническими группами, которые терроризируют друг друга, и тех, кто оказался за пределами данной системы. В каждой группировке существует собственная иерархия, собственная мобилизация. Любопытно, что Югославия на момент распада считалась самой свободной страной Восточной Европы. Некоторые из либеральных и леволиберальных югославских интеллигентов, гордившиеся своим гражданским обществом, увидев начинающуюся междоусобную войну, в ужасе заметили, что резня в Боснии была осуществлена именно силами хорошо организованного гражданского общества. Только это гражданское общество еще и вооружилось.

Марксистское представление о плюрализме интересов опирается не на идею о конкуренции собственников, а на анализ социальной системы, общественного разделения труда, классового состава общества. Мы видим тут три формы плюрализма интересов. Противостояние конкурентов-собственников затрагивает только часть общества, причем большинству людей подобные противоречия глубоко безразличны. В конечном счете так ли уж для нас важно, что некий закон будет принят парламентом в версии, пролоббированной компанией «Лукойл», или в версии, проплаченной корпорацией «Газпром»?

Общественное разделение труда, порождающее противоречия между социальными группами и классами в системе социальной и управленческой иерархии, имеет для людей куда большее значение.

Реальный плюрализм может быть порожден противоречиями внутри управленческой системы, что мы видели в советское время. И наконец, могут формироваться клановые, земляческие, этнические группировки, связанные с этническим разделением труда, которое культивируется при феодализме и переходит в капитализм. Подобные группировки имеют определенную устойчивость, продолжая воспроизводиться даже после того,

как разделение труда изменилось. Они сохраняются прежде всего в той мере, в какой сохраняется противостояние другим аналогичным группировкам. Например, в американской мафии конца 1920-х гг. произошла своего рода революция — итальянские банды объединились с еврейскими, и именно так было заложено основание Национальному преступному синдикату. Позднее уровень жизни итальянской и еврейской общин повысился, эти национальные меньшинства вышли из гетто, их представители стали получать образование. Вербовать рядовых бойцов мафии стало труднее. Мафия стала терять первоначальные этнические характеристики. Но организованная преступность как таковая сохранилась, пополняясь выходцами из других этнических групп. Подобные преступные сообщества являются вообще хорошей социологической моделью, объясняющей, как работают различные кланы и землячества в современном капиталистическом обществе.

Для марксистов ясно, что конструктивными для развития общества и демократии являются именно социальные противоречия, плюрализм интересов, порожденный социальным, классовым конфликтом. Вопреки либеральным теориям, люди, не имеющие собственности, имеют вполне определенные и, как правило, осознанные интересы. Просто этот интерес противоположен интересу собственников. Другое дело, что не всякий социальный конфликт является классовым (как конфликт эксплуатируемого и эксплуатирующего, борьба пролетариев и частных собственников). Есть групповые интересы внутри бюрократии, внутри правящего класса. Но также и среди трудящихся.

Отсюда, кстати, вытекает и требование политического плюрализма на левом фланге. Сталинистская концепция политики предполагает, что у трудящихся может быть только одна «правильная» партия, обладающая всей полнотой классового сознания. Все остальные — либо «агенты буржуазии в рабочем движении», либо люди, которые что-то не осознали, не доросли до правильной идеологии, не поняли теорию и т. д. Короче, возникает глубоко идеалистическое представление о левой политике как движимой исключительно теоретическими идеями. На самом деле причины сосуществования на левом фланге различных партий надо искать не в идеологии, а в социологии и экономической структуре общества. Чем более сложным и многоуровневым является разделение труда при капитализме, тем менее социально однородны наемные работники. Это означает, что появляются различные отряды рабочего класса, интересы которых далеко не одинаковы. Все эти интересы вполне «законны», с ними надо считаться, но также приходится считаться и с различиями. Идеология лишь отражает эти естественные противоречия внутри движения трудящихся. Левое движение расслаивается. Преодолеть расслоение нельзя ни с помощью механического навязывания всем одной «правильной» программы и идеологии, ни с помощью столь же механических взаимных уступок во имя «объединенного фронта». Выходом может быть только постоянная работа по формированию

классовой позиции, основанной на наиболее общих интересах трудящихся. Что, кстати, отметили уже Маркс и Энгельс в «Коммунистическом манифесте», подчеркивая, что коммунисты отстаивают наиболее общие, можно сказать, стратегические интересы движения, что, однако, не исключает сотрудничества с другими демократическими и левыми партиями.

4. Власть и насилие

Маркс и Энгельс в своих работах о государстве постоянно подчеркивали роль принуждения насилия. Государство — это в первую очередь армия и бюрократия, структуры в высшей степени авторитарные. Можно сказать, что тут основоположники марксизма были продолжателями Гоббса, видевшего в системе политической власти Левиафана, чудовище, подчиняющее людей (но одновременно обеспечивающее безопасность). Отличие Гоббса от Маркса, однако, в том, что для первого государственное насилие подчинено решению задач «общего» блага или обслуживанию интересов конкретного правителя, а для второго ясно, что речь идет об интересах определенного класса.

Впрочем, представления о классовой природе государства тоже появились еще до Маркса. Уже у Ксенофонта Афинского в разговоре Перикла с Алкивиадом говорится: тот класс, который господствует в государстве, формирует законы в собственных интересах.

То, что у мыслителей домарксистского периода часто оказывалось своеобразным «одиночным» прозрением, у Маркса и Энгельса приобретает характер стройной и логичной теории. Энгельс написал о государстве больше, чем Маркс. Для Энгельса очевидно, что государство есть система насилия, оно авторитарно по своей природе. Его задача состоит в том, чтобы приневолить одну часть общества выполнять решения, принятые другой частью общества. Вопрос о том, как принимаются эти решения, с учетом каких интересов и каков механизм их принятия. Но даже при демократии осуществление правительственных решений достаточно авторитарно.

Государство создает бюрократию, это авторитарная система, оно создает вооруженные силы, это авторитарная система, государство создает правовую систему, а правовая система на самом деле тоже очень авторитарна. Закон один для всех. Справедливо, но авторитарно. Выполнение закона не допускает плюрализма. Формирование законов может быть демократическим, а исполнение нет.

Кстати, суд Линча, как отмечали некоторые анархисты, например Петр Лавров, более демократичен, нежели судебная система. Другое дело, что лучше — такая свобода или ограниченный законом государственный авторитаризм? Но для Маркса и Энгельса центральная проблема — не здесь.

Коль скоро государство авторитарно, оно является, по сути, формой диктатуры правящего класса. Эта диктатура может быть облечена в более или менее демократические формы. Чем демократичнее — тем лучше. Но, ценя форму, никогда не следует забывать о сути. Маркс имеет в виду авторитарную природу государства.

Диктатура имеет социальную основу. Кто-то находится наверху, а кто-то внизу. Кто-то господствует, кто-то подчиняется. Иными словами, либеральное государство является, по Марксу, формой диктатуры правящей либеральной элиты.

Все это пишется в 1840-е и в 1850-е гг. XIX в. Каким было государство в тогдашней Европе? Всеобщего избирательного права в Европе тогда ещё не было. В Соединенных Штатах было так называемое всеобщее избирательное право, только негры не голосовали. Они были рабами. Женщины избирательного права тоже не имели. Было всеобщее избирательное право белых мужчин. А поскольку женщин, как правило, больше, чем мужчин, значит, что даже при самой широкой демократии в XIX в. большинство населения в самой передовой стране избирательного права не имело.

Буржуазная семья — это коллектив собственников, претендующий на совокупные права, носителем которых, естественно, оказывается мужчина. Если женщина ограничена в распоряжении собственности, то ей нет причин претендовать и на гражданские права. С того момента, как буржуазная среда начинает формировать нуклеарную семью, происходит перераспределение собственности, дробление интересов внутри семьи. Автономия женщины резко возрастает, и ее политические претензии, соответственно, тоже.

Вопрос об избирательных правах для женщин на политическом уровне был решен после Первой мировой войны. Политическое равноправие женщин связано с развитием индивидуализма, когда женщина, принадлежащая к буржуазному классу, перестает себя отождествлять с семьей. С другой стороны, это связано с массовым участием женщин в производстве, ставшим неизбежным в ходе мировых войн и массовых — мобилизаций мужчин на фронт.

Женщина приходит на производство, начинает вступать в профсоюзы, вовлекаться в политическую деятельность. Это неизбежно приводит к росту самосознания женщин в пролетарских слоях и к подъему движения за освобождение женщин. Но обратите внимание, что практически всюду всеобщее избирательное право приходит одновременно с ростом пролетарских организаций, с ростом профсоюзов, рабочих партий, социал-демократии. Это не случайное совпадение. Социал-демократия является тем политическим инструментом, с помощью которого была, в общем-то, установлена современная демократия.

Первым массовым движением за избирательные права был английский чартизм. Из чартизма вырастают и массовые политические организации рабочих. В некоторых случаях избирательное право было завоевано всеобщими стачками, например — в Бельгии.

Существует принципиальная разница между сложившейся к XX в. демократией и либеральным государством предыдущего столетия. Либеральное государство предполагает неприкрытую власть собственников. Именно поэтому Маркс и Энгельс, особенно в 1840-е и 1850-е гг., очень много пишут о завоевании демократии как о важнейшей задаче классовой борьбы пролетариата.

Эпоха наиболее свободного рынка в Европе или в США отнюдь не была эпохой самой широкой демократии. И наоборот, с утверждением всеобщего избирательного права практически всюду начинаются попытки социальных реформ, которые в той или иной мере ограничивают свободу рынка.

Первым шагом сознательного регулирования рынка было английское фабричное законодательство уже во времена королевы Виктории. Это был явный ответ образованного английского правящего класса на рост рабочего сопротивления. Данное законодательство, по нашим понятиям, совершенно малозначительное, Маркс оценил очень высоко, поскольку оно создавало прецедент государственного вмешательства в экономику, которое, вопреки единодушным предсказаниям либеральных экономистов, оказалось предельно эффективным. Либеральные идеологи предсказывали, что снижение эксплуатации, ограничение рабочего времени и контроль фабричных инспекторов на фабриках приведут к снижению производительности и эффективности. На практике ограничение эксплуатации привело к тому, что промышленники стали больше вкладывать денег в обновление оборудования, стали более эффективно использовать рабочую силу, которая теперь обходилась им дороже, повышать квалификацию рабочих и т. д.

Следующим шагом были реформы прогрессивных либералов в 1906 г., когда кабинет Ллойд Джорджа, пытаясь привлечь на свою сторону растущее число избирателей-рабочих, начал вводить первые элементы социального законодательства по образцу германского.

То, что в Германии социальное законодательство принимается раньше, чем в Англии, тоже не беспричинно. Социальные законы приходят, по существу, вместе с объединением Германии, но не стоит забывать, что становление германской империи происходит на фоне роста рабочих выступлений, подъема социал-демократии и угрозы революции. Канцлер Бисмарк и прусские элиты, объединяющие страну, прекрасно понимают насколько всё серьезно. И не случайно Бисмарк принимает чрезвычайный закон против социалистов, а когда это не помогает, когда репрессивные методы не срабатывают, немецкие элиты уже не видят иного пути, кроме уступок рабочим.

Система, построенная на всеобщем избирательном праве, по определению создает проблемы для узкой собственнической элиты. Огромные массы людей, которые были исключены из политики раньше, в нее вступают для того, чтобы защитить свои интересы. Массы пролетариев, лишенных капитала и собственности, становятся политической угрозой для собственников уже на демократическом поле. Те, кто в наименьшей степе-

ни получили блага рыночной системы, пытаются использовать свои демократические права, чтобы компенсировать свое экономическое положение, осуществить перераспределение. Современная демократия — это в значительной степени перераспределительная система. Именно этим она интересна для массы рядовых избирателей. Появляется возможность за счет политического действия, участия в политическом процессе улучшить свое положение, повысить свой статус.

Ортега-и-Гассет показал, что у либерального государства есть и другая альтернатива — тоталитаризм. Демократия противопоставляет коллективизм и плебейский эгалитаризм либеральному элитаризму. Идея равенства есть основная демократическая идея, но это отнюдь не либеральная и не рыночная идея. Либерализм готов признать равенство в правах, но не в доступе к власти, не говоря уже о собственности.

Масса всегда права. Это закон демократии. Большинство голосов вопросы решаются; даже если большинство не право, как часто бывает, надо уважать решение большинства. Авторитаризм просветителей основывался на том, что невозможно доверять невежественным массам решать серьезные вопросы. Но в XX в. народ получил образование и стал, во всяком случае формально, компетентным. Из того, что масса не всегда права, совершенно не следует, будто меньшинство всегда право.

Приход масс в политику может быть осуществлен двумя методами — либо радикальные формы демократии, либо тоталитаризм. Тоталитаризм — это авторитарный режим, использующий те же методы мобилизации у масс, какие применяются в демократии. Если его что-то отличает от авторитаризма «традиционного типа», то только это.

Авторитарные режимы прошлого были созданы на основе традиционной иерархии, элиты привилегий. Их задача состояла в том, чтобы сдерживать напор масс на политическую и социальную систему. Авторитаризм XX в., переходящий в тоталитаризм, имеет совершенно другие задачи. Он поднимает людей снизу вверх. Он должен обеспечить перераспределение, продвинуть выходцев из низов, вытеснить или потеснить старые элиты. Он обеспечит организацию масс, для того чтобы авторитарно управлять самими массами и одновременно подавлять традиционное привилегированное меньшинство, несогласное с тем, что делает новая власть. Другое дело, что массами при тоталитаризме манипулируют. Но ведь и при демократии манипулируют!

5. Политические партии

Первые массовые партии были созданы именно на левом фланге. В большинстве стран это были рабочие и социалистические партии. Они формировались в борьбе за права трудящихся против авторитарного государства и либерального капитала. Так что современная западная демокра-

тия создана социал-демократией и рабочим движением, как минимум, в той же мере, что и буржуазией (если не больше).

Лишь после того, как стало ясно, что сдержать натиск рабочего движения не удастся, что придется смириться с участием всего народа в политической жизни, либеральный капитал стал создавать свои массовые политические структуры, опираясь прежде всего на мелкобуржуазные слои.

Политическая партия является инструментом как демократии, так и тоталитаризма. XIX в. не знает массовых политических партий. Либеральная демократия эпохи классического капитализма знает в основном парламентские фракции. У Чарльза Диккенса в «Записках Пиквикского клуба» описаны совершенно замечательные выборы в городке Итон-суилл. Две партии, которые должны собрать своих избирателей, не имеют ни четкой членской базы, ни какой-то внятной программы. Это просто клики, пытающиеся использовать избирательную машину и провести нужного кандидата. В ход идет все, включая подкуп, всякие нечестные, грязные избирательные технологии. В романе Диккенса замечательный английский простолудин Сэм Уэллер рассказывает про своего родственника, который был возницей и должен был привезти избирателей одной из партий на участок для голосования. Представители другой партии его попросили, чтобы он этих людей как-то не довез. Они обещали ему взятку, если он опрокинет дилижанс в определенном месте. Естественно, честный английский пролетарий отказался. Гневно, возмущенно отверг взятку, но почему-то именно на этом самом месте дилижанс все-таки опрокинулся.

Политические партии XX в. осуществляют мобилизацию не через «одноразовые» механизмы. Они работают с массами, так сказать, изнутри. Они работают в массах, они создают ячейки. Все общество пронизано их политической структурой. И тут обнаруживается, что при демократии как и при тоталитаризме имеют место аналогичные механизмы мобилизации, соответственно идеологический фактор мобилизации становится очень важным. Люди отождествляют себя с определенной политикой, определенными символами. Возникает устойчивая партийная лояльность, причем не обязательно основанная на рациональном выборе. Если один раз выбор сделан, и он «правильный» — с точки зрения социального опыта и классовых интересов, то он закрепляется. Невозможно проходить каждый раз все этапы. Если идентификация уже состоялась, в дальнейшем она должна воспроизводиться автоматически, если что-то очень сильное ее не разрушит. Причем в низах общества эта приверженность своей партии сильнее, поскольку нет других способов воздействия на власть (в этом, кстати, секрет устойчивости некоторых «традиционных партий» трудящихся, будь то английские лейбористы или Коммунистическая партия Российской Федерации, которые раз за разом подводят своих избирателей, предают их, но продолжают получать поддержку на выборах). Человек не должен каждый раз обдумывать свои политические взгляды, чтобы проголосовать или пойти

на митинг. Связь рядового сторонника и партии работает как сигнальная система у собаки Павлова. При виде красного, черного или зеленого знамени я просто сразу должен вставать в ряды.

У Чарли Чаплина в одном из фильмов показано, как Чарли видит на дороге грузовик с каким-то длинным грузом. Как положено, длинный груз обозначен красным флажком, который показывает конец груза. Грузовик делает поворот, флажок падает, машина уезжает. Чарли хватается за флажок, машет им, чтобы показать, что флажок упал, и бежит за грузовиком. Он бежит по дороге и размахивает красным флагом. Тут же за его спиной появляются колонны трудящихся с транспарантами, с плакатами, выкрикивают лозунги. Огромная толпа народа уже валит по Нью-Йорку, через несколько минут выбегает полиция, начинает избивать толпу дубинками. Чарли хватают как зачинщика.

Здесь блистательно показано, как срабатывает сигнальный механизм, политический рефлекс. Массы понимают, что значит красный флаг, и реагируют на него. Сам факт поднятия этого флага автоматически вызывает целый ряд политических действий. С одной стороны, здесь мы видим мощь рабочей демократии. Но с другой стороны, это абсолютно принципиальный механизм тоталитарной системы, потому что опять-таки эта система иначе функционировать не сможет. Демократия и тоталитаризм являются двумя формами альтернативы массового общества по отношению к буржуазному либеральному порядку. В чем же тогда принципиальное различие между тоталитаризмом и демократией? Либеральная социология тоталитаризма не могла на это ответить. Если брать англо-американские словари 1940-х гг., то мы находим там определение тоталитаризма как диктатуры, пользующейся массовой поддержкой. Но в более поздних изданиях появляются уже иные определения.

6. Тоталитаризм

Вместо того чтобы говорить о различиях между тоталитаризмом и демократией, которые ей представлялись самоочевидными, либеральная традиция подчеркивала, что авторитаризм «щадит» частную собственность (но, кстати, не отдельно взятых частных собственников), а тоталитаризм — нет. Некоторые авторы даже считали немецкий нацизм и итальянский фашизм не вполне тоталитарными режимами, поскольку в полной мере данное понятие применимо только к коммунизму. Выходило, что «авторитарный» фашизм — не так плохо, как «тоталитарный коммунизм». Поскольку подобные формулировки уж слишком сильно отдавали идеологическими передержками, предлагалось просто признать, что тоталитаризм отличается от авторитаризма тем, что он хуже. Буржуазная политология делала акцент на методы управления, на способы подавления инакомыслия.

Ханна Арендт, социолог, которая ввела понятие тоталитаризма, находилась на перекрестке марксистской и либеральной общественной мысли. Но показательно, что, взяв ее терминологию, либеральные политологи очень мало оставили из теории, в то время как Эрих Фромм и другие представители Франкфуртской школы развивали схожие идеи.

В отличие от позднейших политических теоретиков, которые пытались вывести тоталитаризм из идеологии, изображая его в первую очередь следствием коллективизма и коммунизма, Арендт, напротив, подчеркивала, что ленинский режим не был тоталитарным. А тоталитаризм она пыталась анализировать социологически, видя в качестве его главной причины атомизацию, разобщенность масс. Можно сказать, что тоталитаризм порожден не коллективизмом, а как раз индивидуализмом. Но индивидуализмом массового общества.

Перед нами масса не просто организованная и не просто манипулируемая. Это масса атомизированная, где свой социальный интерес человек осознает в очень ограниченной степени, потому что коллективный интерес разрушен, общество дезорганизовано, превращено из структуры в «мешок с картошкой». Если человек сам по себе, то он не может сформулировать до конца свои коллективные интересы. Эта огромная масса людей превращается в толпу. Объединение толпы становится в значительной мере внешним. Люди не способны к самоорганизации, они нуждаются во внешней мобилизации.

Чем более массы атомизированы и дезорганизованы, тем менее они способны сами, из своей среды выдвигать лидеров, готовых отстаивать коллективные интересы. Проблема не только в том, что люди не осознают своих интересов. Советская социология часто подчеркивала значение «правильного» сознания. Кто-то чего-то не осознал, ибо у него сознание «отсталое». Мы им все объясним, они поймут, и тогда все будет хорошо. Это, кстати говоря, чисто просветительская интерпретация марксизма. На самом деле ситуация несколько сложнее.

Коллективный интерес, чтобы его осознали, сначала должен сложиться и консолидироваться. Формирование социальных интересов — сложный процесс, имеющий как объективную, так и субъективную сторону. Как психологическую, так и экономическую. Это комплексный процесс. Надо сначала понять, что ты собираешься понять. В данном случае тоталитаризм опирается на массу, которая не способна осознать то, чего у нее все равно нет. Потому что коллективные интересы либо подорваны, либо противоречивы, неустойчивы. Для любого человека на самом деле интересы противоречивы, потому что, предположим, вы рабочий, но ведь вы еще и потребитель. Ещё вы мужчина или женщина, городской или сельский житель и т. д. Интерес потребителя может не совпадать с интересом производителя. Вот перед нами белый рабочий в Южной Африке 1970-х гг. Социальный интерес его толкает к солидарности с черными товарищами.

Но у него есть привилегии, как у всякого белого. И эти привилегии он боится потерять. Его интерес как представителя этнической группы может не совпадать с его же интересом как представителя класса. Консолидация интересов происходит по мере того, как вычленяются наиболее принципиальные интересы, объединяющие большие массы людей. И происходит некое стихийное формирование иерархии интересов. Иерархии ценностей. Именно поэтому класс так важен.

С точки зрения марксизма интересы человека по отношению к производству и общественному разделению труда являются ключевыми. На данной основе образуется социальная структура и, соответственно, идеология, культура, самосознание. Но в обществе, которое социально дезорганизовано, интерес, скажем, потребителя или представителя этнической группы может оказаться более очевидным на поверхности, более сильным, чем его же интерес как представителя какого-то класса. Это, кстати, говорит о том, что сама система организации производства, экономика, социальные иерархии находятся в кризисном состоянии. И вот тут мы находим ответ на вопрос о принципиальном отличии демократии от тоталитаризма. Почему одно вмешательство масс в политику означает демократию, а другое — манипуляцию? Там, где массы консолидированы, они способны к социальной самоорганизации, у них сформированы интересы, и на основе своих интересов они образуют профсоюзы, партии. Мобилизация, даже если производится по призыву сверху, происходит снизу и изнутри.

Тоталитаризм объединяет массы не просто сверху, но и извне, в той или иной мере искусственно. И в этом смысле, вопреки либеральному взгляду, в СССР тоталитаризм сталинский был, в отличие от нацистского тоталитаризма в Германии, непоследовательным, не до конца тоталитарным, ибо вырос он из массовых организаций, созданных самими трудящимися в ходе революции, другое дело, что массы потеряли контроль над этими организациями.

Понятно, что тоталитаризм превращается в «закрытое общество». Но идеология здесь ни при чем. Просто мы имеем дело со структурой, крайне уязвимой для внешних воздействий. Если мы имеем организацию, объединенную изнутри, то наличие внешних воздействий не является большой проблемой. Другое дело, если мобилизация масс происходит в демократических формах, но по совершенно иной логике. В этом случае любая «чуждая» идеология может иметь такое же воздействие на народ, отвыкший от самоорганизации, как и привычная система ценностей. Собственно, это мы и видели на излете советской истории, когда западная пропаганда вдруг начала иметь на наших людей какое-то феноменальное, почти магическое воздействие. В обществе, приученном к демократии, достигнуть такой эффективности пропаганде удается крайне редко.

Понятно, что, защищая население от проникновения враждебной идеологии «вовнутрь», власть постоянно стремится продемонстрировать сущест-

вание внешнего врага, от которого общество защищаться должно не само, а с помощью самой же системы тоталитарной власти.

Вопрос о том, кто контролирует средства массовой информации, становится абсолютно принципиальным. Потому тоталитаризм действительно в управленческом плане нуждается в единой идеологии и единой пропагандистской системе. И пропагандистская система сама по себе становится фактором управления и организации общества.

Чем менее общество организовано, тем сильнее оно испытывает объективную потребность в тоталитарном типе руководства. Однако если для буржуазного порядка подобное положение дел является пусть и болезненным, но по-своему естественным состоянием (в условиях слабости или кризиса либеральных капиталистических институтов), то для социалистического проекта использование тоталитарных методов оборачивается катастрофой, поскольку противоречит самой основной задаче социализма — построения нового общества на основе самоорганизации и самоуправления масс.

Не случайно поэтому, что все революционные режимы, заходившие в тупик тоталитаризма, кончали плохо. Буржуазный вариант тоталитаризма, как правило, удавалось уничтожить лишь силой оружия. Напротив, коммунистический тоталитаризм разрушался сам, под тяжестью собственных противоречий.

7. Гражданское общество

Противовесом тоталитаризму в либеральной теории является не только демократия. В конечном счете, как мы видели, формальные признаки демократии и тоталитаризма слишком часто совпадают. Даже если сказать, что при тоталитаризме существует, скажем, только одна партия и одна федерация профсоюзов, то сразу бросается в глаза, что в Восточной Германии, Чехословакии и Польше во времена коммунистического режима существовало несколько официальных партий, а в Британии исторически сложилась единая профсоюзная федерация, с которой, кстати, и была скопирована советская профсоюзная система (ВЦСПС).

Более существенным отличием между демократическими и тоталитарными системами является существование гражданского общества. При этом подчеркивается, что под властью авторитарных режимов гражданское общество все же получает возможности для развития, а при тоталитаризме — нет.

Но что такое гражданское общество?

Термин «гражданское общество» — от Канта и Гегеля. Гегель ввел это понятие в современную политическую науку. Маркс и Гегель употребляют термин «гражданское общество» (*Bürgergesellschaft*) примерно одинаково. Гегелевское представление о гражданском обществе основывается

на том, что индивидуум, имеющий частный интерес, реализует его в общественной, политической и правовой сфере. По-немецки даже слова совпадают: *Bürgergesellschaft* — одновременно и гражданское общество, и буржуазное общество, и даже просто сообщество бюргеров, обывателей. Только в XX в., чтобы снять двусмысленность, вводят параллельный термин — *Zivilgesellschaft*.

Соревнование ради самореализации частных интересов составляет суть общественной жизни. Маркс воспринял гегелевскую концепцию, но переосмыслил ее. К подобному гражданскому обществу он относится однозначно негативно. В гражданском обществе, описанном Гегелем, действуют индивид сугубо буржуазный. Индивид, который формирует свой интерес исключительно как интерес частный. Таким образом, гражданское общество для Маркса, как и для Гегеля, — это не сфера взаимодействия коллективных интересов. И в сущности, это вполне соответствует положению дел в буржуазном обществе, которое застал Маркс в середине XIX в.

Гражданское общество действительно сложилось именно как буржуазное, порожденное рыночной системой отношений. Потому демократия, которая наступит, по мнению Маркса, после победы рабочего класса над капиталом, как раз позволит преодолеть гражданское общество в гегелевском понимании. Тогда будут соревноваться коллективные интересы, идеи, подходы.

Однако в первой половине XX в. в марксистской мысли появилась новая трактовка «гражданского общества», принадлежащая итальянскому марксисту Антонио Грамши.

Вклад Грамши в марксизм связан в первую очередь именно с переосмыслением понятия «гражданское общество», выходящим за пределы первоначальных гегелевских идей, на которые опирался молодой Маркс. В тот момент, когда Грамши разрабатывал свою теорию, понятие гражданского общества почти совершенно вышло из обихода и редко употреблялось даже либеральными авторами, не говоря уже о марксистах.

Грамши был одним из основателей Итальянской коммунистической партии. Впрочем, реальным основателем коммунистической партии в Италии был Амадео Бордига, которого Грамши с товарищами позднее из партии исключили. Роль Бордиги впоследствии замалчивалась. А к Грамши прилип ярлык основоположника.

В молодости Грамши сильно увлекался Гегелем и Кроче. Итальянский философ Бенедетто Кроче был одним из немногих поздних гегельянцев, работавших уже после Фейербаха и Маркса. Собственные взгляды Грамши были в большой степени порождены событиями общественной жизни Италии, где происходили бурные политические процессы. Когда Бенито Муссолини, тогда еще молодой социалист, выступал с радикальными лозунгами, пытаясь сочетать радикальные призывы к социальным переменам с разговорами про национальное достоинство, это многим импонировало. Но очень скоро из этого вырос фашизм. В те годы в Италии идут бурные

дискуссии между анархо-синдикализмом, марксизмом и сторонниками прогрессивных либерально-демократических тенденций. Позиции участников то и дело смещаются. Это время, когда здесь зарождается футуризм.

Грамши начинает свою деятельность как человек, больше интересующийся искусством, литературой, историей. В политику его втянул друг — Пальмиро Тольятти. Но Антонио Грамши оказался очень эффективным политическим лидером, сначала как молодой социалист, лидер левого крыла. Потом возглавил компартию, Тольятти, который уговорил его заняться политикой, долгое время оказывался на вторых ролях. Лишь после смерти Грамши он возглавил партию.

В своей идейной эволюции Грамши прошел несколько этапов. Сперва он был под большим влиянием анархо-синдикализма. Его интересовал вопрос о перспективах стихийного рабочего движения, о самоорганизации трудящихся. В журнале «Ordine Nuovo» («Новый порядок») он много писал про рабочие советы. На предприятиях в Турине в то время происходили мощные забастовки, предприятия оккупировались рабочими, возникало самоуправление. Не случайно большая часть первого тома русскоязычного собрания сочинений Грамши — тексты, посвященные рабочему самоуправлению. Советы, создававшиеся на производстве, Грамши считал продолжением и развитием опыта русской революции, где советы создавались по территориальному принципу. Именно это он называл «новым порядком». Это был прежде всего порядок рабочего самоуправления. В романских странах — Италии и Испании — анархо-синдикализм, развившийся под влиянием идей Бакунина, долгое время преобладал над марксизмом. Для Грамши влияние анархизма оказалось очень плодотворным, поскольку заставляло поставить вопросы самоуправления, прямой демократии, участия трудящихся в управлении, стихийности. Но решал их он уже с точки зрения марксизма.

Позднее, будучи руководителем коммунистической партии, Грамши оказался вовлечен в борьбу с формирующимся фашистским режимом в Италии. В итоге он на много-много лет очутился в фашистской тюрьме. Так возникли «Тюремные тетради». Написаны они очень странно. Тетради создавались в условиях цензуры, когда не все можно написать. Не хватало зачастую и литературы. В тексте есть какие-то отсылки к тем или иным произведениям, но нет нормального академического аппарата. Тетради писались фрагментами, поэтому до сих пор идет дискуссия по поводу интерпретации, в каком порядке их публиковать. Долгое время тетради доходили до читателя в той редакции, которую дал Тольятти. Он их определенным образом составил и издал. Потом многие критики обвиняли Тольятти в том, что тот все сделал не так, как надо.

Тем не менее общая тенденция мыслей Грамши более или менее ясна. В «Тюремных тетрадях» было несколько доминирующих тем. Одну из них он назвал «современный государь» — “il moderne principe”. А что такое современный государь? Это прямая отсылка к Макиавелли. Principe, «князь»,

то есть «государь», для Макиавелли — не только правитель, но и вообще политик, лидер, руководитель. Книга Макиавелли — это притча и поучение о политике и науке управления.

С точки зрения Грамши, роль этого князя, субъекта политической деятельности выполняет в новую эпоху политическая партия. Надо создать теорию партии, проанализировать ее связь с массой, с политической системой, со своей социальной базой. Отсюда возникает тема гражданского общества, в котором оперирует политическая партия.

Грамши подчеркивает различие между Востоком и Западом. Впоследствии это различие стало темой очень многих идеологических и политических спекуляций. Итак, что же такое гражданское общество, по Грамши? С его точки зрения, это тип социальной организации, развивающийся в рамках западной политической культуры, западной цивилизации. Гражданское общество — это та сфера, где коллективная самоорганизация сталкивается с государственными институтами. С одной стороны, под гражданским обществом Грамши понимает именно объединение граждан для достижения каких-то общих целей. Объединения могут быть самого разного рода. Это могут быть политические партии или профсоюзы, организации потребителей. Но частью гражданского общества могут быть, например, редакции газет. Это тоже объединение граждан для совместного действия. В рамках гражданского общества формируются свободная пресса, коалиции граждан, действующие самостоятельно, не по указанию государства. Впоследствии появились понятия «неправительственных организаций», «третьего сектора» (не частные и не государственные). В конце советского периода у нас говорили про «неформальные единения». Гражданское общество существует постольку, поскольку оно способно себя организовать без прямой государственной инициативы. Но оно и не существует вне связи с государством. В позднейшей литературе часто встречается механическое противопоставление «плохого» (по определению) государства и «хорошего» (тоже по определению) гражданского общества. Это типично для либеральной и позднее — для части марксистской мысли. Гражданское общество — самоорганизация, инициатива снизу, демократия, свобода. Государство — авторитаризм, бюрократия, вертикаль власти, спускающиеся сверху команды. На самом деле Грамши прекрасно сознает, что гражданское общество организуется ради государства. Оно потому-то и является именно гражданским, а не каким-то еще, что гражданство неразрывно связано с государством. Гражданство значит участие в функционировании государства, определенные права по отношению к государству, определенные обязанности. Там, где нет государства, нет гражданства.

Гражданское общество, в том виде, в котором оно сложилось по крайней мере в XIX–XX вв., вместе с государством исчезнет, если исчезнет государство. Оно перестанет функционировать, на первый план выйдут совершенно другие вещи. Если, например, пишет Грамши, для нас те

или иные идеи интересны как выражение определенных социальных интересов, то в бесклассовом обществе идеи будут уже интересны сами по себе (как и их носители). Людьми будут двигать чисто идейные мотивы. Но так будет только тогда, когда мы вырвемся из скорлупы буржуазного развития и рыночных интересов.

Между государством и гражданским обществом существует своего рода механизм взаимодействия, благодаря которому гражданское общество воздействует на государство, а государство работает с гражданским обществом. Этот механизм — парламентская система. Парламент является и результатом деятельности гражданского общества, и одним из институтов государства. Парламент, как и муниципалитет, — это представительная власть.

Грамши считает, что политическая и классовая борьба происходит на Западе иначе, чем на Востоке. На Западе гражданское общество, по его мнению, развито чрезвычайно, именно в нем происходит настоящая политическая, общественная борьба. Государство в большой степени является как бы продолжением гражданского общества. На уровне государства происходят те самые процессы, которые запущены в гражданском обществе. Государство — это скорее последняя инстанция. На Востоке (имеется в виду Россия) гражданское общество слабо развито, а государство в значительной мере самодостаточно. Грамши сравнивает Первую мировую войну на Западе с Гражданской войной в России. На Западе, где есть развитая сеть железных и шоссейных дорог, война была позиционной. В России на огромных неосвоенных пространствах появилась свобода маневра.

В политическом смысле на Западе, чтобы достичь цели, нужно пройти через институты, нужно мобилизовать поддержку гражданского общества. На Востоке достаточно захватить государство. После того как власть захвачена, можно осуществить практически любые преобразования сверху вниз. Взяли почту, телеграф, мосты — теперь можно вводить ту политическую, социальную, экономическую систему, которая требуется. Имеется в виду В. И. Ленин или Анатолий Чубайс, не принципиально. Механизм один и тот же.

На Западе можно захватить власть, но ничего не сделать. Если гражданское общество против тебя, оно как бы гасит импульсы власти. Любопытно, что к подобной мысли пришел и Лев Троцкий. Я обнаружил в совершенно забавном месте, в среднеазиатской газете, маленькую заметку, опубликованную Троцким (возможно, это перепечатка, есть другие публикации), под названием «Масонство и коммунизм». Там буквально повторяется то же, что говорит Грамши. Троцкий подчеркивает, что в России можно было просто взять власть и после взятия власти менять общество. У правящего класса после потери власти не остается решающих политических ресурсов, (кроме военной интервенции, разумеется). А на Западе политическая система, или государственные структуры, — это только лишь последние линии обороны. Нужно проходить этап за этапом.

Грамши пишет, что на Западе на войне приходится медленно и постепенно занимать дороги, траншеи, укрепляться на господствующих высотах. В России все можно решить кавалерийской атакой. В гражданском обществе политический процесс становится очень медленным и гораздо менее силовым. Речь даже не идет о применении насилия как такового (применение бюрократии тоже является силовым методом).

8. Гегемония

С точки зрения Грамши, в гражданском обществе доминирует не прямое принуждение, а гегемония. Правящая группировка должна создать условия, когда все остальные более или менее добровольно, хотя иногда скрепя сердце, идут именно туда, куда их ведет гегемон — господствующая политическая, идеологическая, социальная сила.

Такой способ господства предполагает компромиссы, нужна определенная система организации политических и культурных взаимоотношений в обществе. Борьба между пролетариатом и буржуазией, по Грамши, в демократическом обществе, представляет собой борьбу за то, кто окажется гегемоном. Кто будет способен организовать вокруг себя более широкую коалицию, кто более способен к согласованию интересов. Короче, победит тот, кто поведет за собой гражданское общество. Это будет господствующий социально-экономический проект.

Концепция Грамши является, бесспорно, реформистской (хотя сам Грамши вряд ли бы согласился с таким определением). Но реформизм Грамши основан на очень хорошем понимании того, как работают демократические институты. И он понимает, насколько эти институты консервативны. Грамши может очень критически относиться к западному обществу, однако он считается с фактами.

К тому же, для него совершенно ясно, что подобная система лучше, чем тоталитаризм. Надо не забывать — человек пишет все это сидя в фашистской тюрьме. Он прекрасно понимает, что подобное медлительное развитие событий требует очень глубокого построения политической организации. Недостаточно воли революционного меньшинства, требуется партия, органически способная к демократической внутренней жизни. Иначе она не справится с задачами борьбы за гегемонию.

Господствующий класс нуждается в сотрудничестве подчиненных классов. В противном случае система может рухнуть. Луи Альтюссер, развивая мысли Грамши, писал про «идеологические аппараты» государства, которые позволяют поддерживать систему.

Когда говорят о государственной идеологии, обычно имеют в виду диктаторский или тоталитарный режим. Альтюссер показал, что и в условиях демократии существует идеологический аппарат, только он не выступает

открыто. Эту роль играет, например, образование. Ученики получают знания отнюдь не в нейтральном виде. Вместе с объективной информацией о мире они получают определенные навыки послушания, дисциплины, ценности, необходимые для того, чтобы они могли успешно функционировать в буржуазном обществе. Такую же роль играет и армейский призыв. Молодых людей учат не только владению оружием, но и подчинению, выполнению приказов, патриотизму и т. д.

С другой стороны, та же система образования может быть полем битвы, где возникают элементы «контргегемонии». Например, все усилия постсоветского государства переделать под свои задачи инерционную советскую систему образования кончились провалом, после чего для российских элит стало ясно, что проще будет образовательный механизм вообще разрушить. Точно так же российская культура, сформировавшаяся в значительной мере вне системы буржуазных ценностей, переделами в 1990-е гг. упорно сопротивлялась попыткам поставить себя на службу капиталистической реставрации, хотя отдельные деятели искусства с огромным энтузиазмом предлагали власти и бизнесу свои услуги.

У Грамши есть понятие «органический интеллигент». Что это такое? Это человек, который принадлежит к определенному классу, отождествляет себя с классом, но способен подняться выше повседневной жизни, бытового опыта и предрассудков своего класса. У Ленина в книге «Что делать?» интеллигент приходит к рабочим как бы извне, с уже готовой идеологией, которую он извлек из чтения немецких книжек. Он объясняет рабочим их подлинный интерес, который рабочие не могут усвоить в силу своей замученности, забитости, под давлением повседневного быта. Что, кстати, очень понятно и с бытовой точки зрения справедливо. Схема Ленина тоже идет из жизни, из социального опыта, который был у русской революционной интеллигенции. Но Грамши живет в другом мире. Поэтому он, не выступая против Ленина, четко разделяет свой мир и тот мир, в котором действовали большевики. Для Грамши это как бы два разных мира. Органический интеллигент в тетрадах Грамши не приходит к рабочим извне, а поднимается из их среды. Если у Ленина движение идет сверху вниз, то здесь снизу вверх. Вырастая из среды класса, «органический интеллигент» обретает черты лидера. Интеллигент обречен на роль лидера и в концепции Ленина, и в концепции Грамши. С той лишь разницей, что у Ленина интеллигент становится лидером потому, что он интеллигент и имеет право на лидерство благодаря теоретическим знаниям, а у Грамши скорее наоборот. Для того чтобы стать лидером, надо стать интеллигентом.

Нетрудно догадаться, что интеллигалы обожают концепции, которые обосновывают их право на лидерство. Потому и идеи раннего Ленина, высказанные в книге «Что делать?», и «Тюремные тетради», пользовались у интеллигалов большим успехом. К чему привела на практике традиция Грамши? Надо сказать, что на протяжении 1950-х, 1960-х и 1970-х гг. идеи

Грамши оказались очень популярны среди западных левых, особенно среди коммунистов, помогая им выработать собственную политическую культуру в противовес сталинизму или тому, что называлось советским марксизмом. Концепция, где ключевую роль играют интеллектуалы, привела к формированию определенной политической стратегии, где борьба за гегемонию в сфере культуры оказывалась абсолютно приоритетной. В результате, как ни парадоксально, интеллектуал становился все менее органическим. Чем больше он озадачивается решением политических вопросов именно в сфере культуры, тем меньше его связь с рабочими.

Конечно, в культуре проявляется гегемония. Тут можно вспомнить и Маркса, говорившего, что идеи господствующего класса являются господствующими идеями. Грамши говорит: чтобы пролетариат стал господствующим классом, идеи левых должны стать господствующими. Можно сказать, что Грамши в какой-то степени идеалист. И здесь не случайно влияние Кроче, Гегеля и т. д., хотя Грамши хорошо понимает социальную природу идей. Но с того момента, как идея приобретает автономную жизнь, с того момента, когда культура становится самостоятельной сферой общественной борьбы, возникает ощущение, что на этом поприще можно достичь того, что не удастся в других областях. И наоборот, до тех пор пока вы не закрепили свою победу, социальную или экономическую, в сфере культуры, эта победа не является окончательной.

Идеология, порожденная грамшианской традицией, стала абсолютно доминирующей в конце 1960-х – начале 1970-х гг. среди левых деятелей культуры. Это замечательное обоснование собственной роли в истории, в обществе. Из грамшианского наследия совершенно естественно вырастает с конца 1950-х гг. концепция еврокоммунизма. Итальянская компартия, как крупнейшая коммунистическая партия демократического Запада, достаточно быстро начала дистанцироваться от Москвы.

Грамши был освобожден из фашистской тюрьмы только тогда, когда был уже смертельно болен. Незадолго до смерти он писал письма в иммиграцию к Тольятти, спрашивая: что же происходит там, в России, почему все старые большевики оказались врагами народа? Тольятти, понимая, что за такие письма как минимум должны исключить из партии, письма прятал и не докладывал в Москву, что товарищ Грамши запутался, не понимает политической ситуации в СССР. Но сам факт, что Тольятти припрятывал эти письма, не уничтожал и до поры не публиковал, свидетельствовал о том, что бюрократия компартии Италии, находясь в иммиграции, прекрасно, в общем-то, понимала, с кем она имеет дело в Москве, выстраивала собственную линию поведения. Очень осторожно, не конфликтуя, Тольятти формировал самостоятельную стратегию. Руководство итальянской партии явно имело уже в конце 1930-х и во время Второй мировой войны свои собственные расчеты и собственные планы. Она не была просто инструментом Москвы. Это не были люди, которые механически выполняли указания

Коммунистического интернационала. Они могли сказать «есть», но все равно сделать по-своему. Проконтролировать то, что происходит в итальянском подполье, находясь в Москве, было совершенно невозможно.

Грамши умер, будучи очень обижен на коммунистическое движение. Он крайне негативно отнесся к сталинским чисткам, к тому, как родная коммунистическая партия Италии подчинилась Сталину. Он писал в своих тетрадах о тоталитарной партии и, понятное дело, имел в виду не только Италию. Но после его смерти Тольятти продолжал ту самую линию, которую выбрал Грамши. Компартия оказалась вовлечена в движение Сопротивления, а затем в формирование коалиционного правительства, в строительство институтов итальянской демократии после войны. Конституционные реформы, которые проводились в Италии после ликвидации фашизма и монархии, в большой степени были делом рук коммунистов. Это была партия масс, партия местного самоуправления. Коммунисты долго управляли таким крупнейшим центром, как Болонья. У партии начиная с 1950-х гг. возникла необходимость в формировании своей собственной концепции жизни в условиях демократии как, с одной стороны, радикальной левой партии, а с другой стороны, как партии, вписанной в эту демократию.

Тольятти сформулировал свои различия с Москвой в открытую лишь в конце жизни. Он готовился к встрече с Хрущевым в Ялте, был уже очень тяжело болен и написал реферат, в котором хотел изложить подробно Хрущеву все то, что думает по поводу различий между двумя партиями. Говорить с Хрущевым было очень трудно, тот все время перебивал, сбивал с мысли. Вот и пришлось готовить реферат. Это не был разрыв с Москвой, как в случае титовской Югославии. Тем не менее компартия Италии изложила свое собственное, особое мнение. Встреча не состоялась из-за смерти Тольятти. Реферат был посмертно опубликован и стал первым источником еврокоммунизма. Впоследствии те же взгляды восторжествовали в испанской, французской и английской компартиях.

Ключевая идея, к которой пришли еврокоммунисты в 1960-е гг., состояла в том, что после войны западная демократия перестала быть чисто буржуазной. С точки зрения Маркса, имеет место диктатура буржуазии, опосредованная демократическими институтами. С точки зрения грамшианского подхода ситуация немного сложнее, мы имеем уже некую систему компромиссов, которая обеспечивает власть правящего класса на основе не диктатуры, а гегемонии. Следовательно, даже буржуазная демократия не является чисто буржуазной. Она представляет собой компромисс буржуазии с другими слоями общества, которые позволяют буржуазии управлять, но в той мере, в которой буржуазия согласна с условиями компромисса. Мы возвращаемся к теории общественного договора.

В логике грамшианской традиции проблема демократии состоит в том, чтобы изменить условия компромисса. И на протяжении всего послевоенного периода условия компромисса постепенно пересматриваются и

становятся все более и более сбалансированными, и в 1960-е – начале 1970-х гг. французские и итальянские коммунисты начинают писать про «передовую демократию», которая больше не является буржуазной. Условия компромисса таковы, что это уже не власть буржуазии. Это не социализм, но и не чисто буржуазное общество. Оно является капиталистическим по преимуществу, но в нем могут присутствовать некапиталистические, социалистические элементы.

Действительно, в обществе присутствуют институты явно не буржуазного характера, будь то государственный сектор, институты пенсионной системы, всеобщего образования, социальные гарантии. Природа государственного сектора может быть разной, но, если мы говорим о государственном секторе как о механизме, обеспечивающем социальную динамику в интересах низов (не такую, как при классическом капитализме), вертикальную мобильность для представителей трудящихся, о системе образования, которая не просто готовит кадры для предприятий, но и обеспечивает социальную справедливость, демократизацию общества, все это уже не может быть описано как «чисто буржуазные» институты. Это институты, которые на основе социального компромисса включены в буржуазное общество, не будучи чисто буржуазны сами по себе. Своего рода зародыши нового общественного порядка, элементы социализма в капитализме. Реформист предполагает, что эти элементы будут просто накапливаться, и рано или поздно количество перейдет в качество, буржуазные отношения начнут отмирать, и будут возникать отношения постбуржуазные и социалистические. На этой основе в конце 1970-х гг. итальянская компартия сформировала принцип исторического компромисса.

9. Исторический компромисс

Для того чтобы идеология исторического компромисса окончательно оформилась, потребовалось еще одно событие: государственный переворот в Чили. Наиболее важный исторический политический опыт, с которым сталкиваются западные левые в 1970-е гг., — это чилийская революция. Правительство народного единства в 1970–1973 гг. пытается совершить в Чили радикальные преобразования социалистического характера через институты буржуазной демократии. Никакого насилия, никаких изменений конституции, даже путем референдума. Все делается в рамках имеющегося закона. Законы пересматриваются на основании тех же процедур, которые в самих законах записаны. Никакого выхода за пределы полномочий. Результат: три года драматической борьбы заканчиваются государственным переворотом. Президент Альенде погибает на своем посту, защищая демократию в Чили. В стране устанавливается жесткая праворадикальная диктатура, с которой начинается практическая история неолиберализма. Рабочее движение подавлено.

Какие выводы сделали западные левые? Радикальное крыло западных марксистов трактовало произошедшее как показатель того, что революция не может быть сделана в рамках институтов. Да, революция является исключительно демократической по своему содержанию. Но выход за логику системы все же неизбежен на определенном этапе. Не надо этого бояться. Вопрос не только в насилии, а в том, насколько институты являются тормозом общественного развития.

Демократические институты и конституционные системы для того и существуют, чтобы не допустить радикальных изменений. Если массовое движение на подъеме, то оно должно в конечном счете начать конституционный порядок менять. Другой вопрос, каким путем это делается.

С точки зрения руководителя итальянской компартии Энрике Берлингуэра, ситуация выглядела иначе. Гибель президента Альенде в Чили была вызвана скорее узостью социальной базы революции, неспособностью укрепить демократические институты за счет расширения компромисса и достижения гегемонии, которая необходима, чтобы эти институты максимально консолидировать, сделав орудием в руках прогрессивных сил. Берлингуэр провозглашает лозунг исторического компромисса. Что стоит за термином «исторический компромисс», оставалось не до конца понятно, поскольку его трактовка все время менялась. Партией он трактовался то расширительно, то очень узко. То речь идет о том, что коммунисты подпишут пакт с Христианскими демократами и войдут в правящую коалицию. То речь идет о более глубоком процессе объединения разных социальных, политических и культурных сил, способных выработать механизм демократического преобразования общества, расширить сферу свободы и участия трудящихся в управлении. Но сама идея понятна. Политический процесс должен происходить за счет компромиссов. Все пишется и говорится в Италии 1970-х гг., где со дня на день ждут фашистского переворота по чилийскому образцу. С начала 1970-х коммунисты набирают все больше и больше голосов, и при этом каждый день в новостях сообщают об очередном фашистском заговоре. На этом фоне нагнетающегося ужаса левые силы постоянно растут и сами начинают бояться собственного роста, потому что своим ростом могут спровоцировать ответный удар, к которому они, в общем-то, не готовы. Берлингуэр пытается найти выход. И надо сказать, его концепция сработала: переворота в Италии не произошло. Италия осталась нормальной демократической республикой. Правительства, конечно, менялись раз в два-три месяца, но это уже никого особенно не волновало, коль скоро демократический процесс продолжается. А для коммунистов компромисс закончился тем, что партия фактически стала главной силой, защищающей институты буржуазной демократии. Ее историческая роль свелась к спасению парламентской республики. Стабилизировав буржуазную демократию, компартия оказалась в очень забавной ситуации. Начиная с середины 80-х гг. становится очевидно, что исторический компромисс

ничуть не расширил участия трудящихся во власти. Более того, после того как демократия в Италии стабилизировалась, наблюдается совершенно обратный процесс. Потеряв возможность давления на власть и на парламентские институты, компартия начинает постепенно отступать. Еще Пальмиро Тольятти заметил, что левые после Второй мировой войны на Западе обладают некоторой частицей власти, но у них нет ясности, что с этим делать. Как управлять, обладая именно частицей власти, а не всей полнотой власти? Начиная с середины 1970-х гг. происходит откат левых сил.

В это самое время другой, более радикальный, марксистский теоретик пытается сформулировать собственную версию грамшианства. Это Руди Дучке, один из лидеров движения 1968-го г. в Германии, ученик Маркузе. Дучке не видит необходимости компромисса, но, с другой стороны, он видит неизбежность работы в рамках демократических институтов. Он говорит про «долгий путь через институты». Это та же позиционная война по Грамши. Нужно овладевать институтами и закрепляться в них, впоследствии отстаивать эти институты. Но дело в том, что институты имеют двоякую природу. С одной стороны, институты консервативны. Если вы этой консервативной системой овладели, то эта система начинает воспроизводить и тиражировать вашу культуру, ваши взгляды, ваши традиции. Но с другой стороны, именно в силу своего консерватизма они поглощают ваш интеллектуальный и политический импульсы. Чем более вы укоренены в институтах, тем менее вы радикальны.

Парламентская борьба, например, может быть выражением широкого общественного движения. Но с того момента, как люди занимают позиции в парламенте, они все меньше и меньше думают о том, насколько их парламентская деятельность отражает общественное движение. Им приходится считаться с правилами парламентской жизни. Парламентаризм предполагает эффективность в среде, которая далеко не всегда является доброжелательной. Если вы находитесь в меньшинстве и одновременно должны проводить какие-то практические решения, приходится стараться быть хотя бы отчасти приемлемым для этой среды. Когда среда его отторгает, депутат абсолютно неэффективен. Он может в лучшем случае находиться в положении диссидента. Это положение морально очень привлекательное, но не самое поощряемое в рамках парламентской системы.

Институты начинают превращать радикалов в реформаторов, а потом реформаторов в чиновников. Институты начинают преобразовывать людей. Что преобладает? Люди преобразовывают институты или институты преобразовывают людей? На самом деле происходит и то и другое. Это встречный процесс. Но в условиях, когда движение снизу не нарастает, а ослабевает, консервативные институты начинают торжествовать. В итоге происходит не преобразование институтов, а перерождение тех самых левых радикалов, которые собирались эти институты менять. История, многократно повторившаяся и всем знакомая.

На протяжении 1980-х гг. мы видим не расширение демократии, а ее деградацию. Американский социолог Кристофер Лэш назвал это «восстанием элит». Власть, сохраняя демократические формы, все более становится авторитарной. Все больше решений принимается органами, не имеющими никакого отношения к народному представительству. Полномочия парламента переходят к Совету министров. От Совета министров полномочия переходят к Комиссии европейских сообществ, которая не отвечает ни перед одним парламентом, включая Европарламент. К власти приходят анонимные бюрократические структуры. Причем буржуазно-демократические институты уступают свои позиции без борьбы. Власть уходит из сферы публичной дискуссии в сферу частных договоренностей. Корпорации начинают принимать решения, которые носят характер властных решений, будучи обязательными для населения, но которые не имеют абсолютно никакого отношения к демократическому процессу. Иными словами, произошло прямо противоположное тому, что обещали теоретики «передовой демократии».

С другой стороны, в 1980-е и 1990-е гг. произошли еще два явления, которые поставили под вопрос исходные тезисы грамшианского марксизма. Прежде всего, эти годы показали серьезную деградацию самого гражданского общества. Чем менее эффективны демократические институты, тем более отчужденными от масс становятся структуры гражданского общества. Они все в меньшей степени выражают коллективную волю, сами становятся бюрократическими институтами, только частными, а не государственными. Происходит профессионализация неправительственных организаций. Классическим примером является переход от стихийного экологического движения к профессиональным структурам типа Гринпис. Что это за организации? Они, конечно, не под контролем государства, не находятся под управлением правительственных структур. Тем самым они являются образцовыми институтами гражданского общества. Но контролируемы ли они кем-то еще? Ответственны ли они перед кем-либо? Их внутренняя структура авторитарна, у них часто отсутствует прозрачность. Они все более специализируются.

В 1970-е гг. экологические вопросы становятся вопросами массовой политики. Но понемногу они вновь уходят в сферу компетенции специалистов. Тот же Гринпис, например, — это организация профессионалов с хорошим финансированием. Организация, которая сама себе ставит задачи, сама решает, как их выполнять. Организация, где преобладают эксперты, в том числе даже не обязательно эксперты по экологии, а могут быть эксперты по проведению акций. Сами же акции рассчитаны не на вовлечение масс, а на то, чтобы их показали по телевизору. Например, залезть на какую-нибудь трубу и повесить там плакат «ДОЛОЙ ДЫМ!». Эффектно, но для такой работы нужны не массы активистов, а хорошо тренированные альпинисты.

Происходит переход от организации демократической и открытой к закрытой и достаточно авторитарной. Ее деятельность может быть очень

конструктивной, речь не о том. Гражданское общество, которое первоначально мыслилось как альтернатива вертикальным системам управления, авторитаризму, само внутри себя начинает воспроизводить авторитарные, бюрократические структуры. Начинает формировать авторитарные механизмы, которые существовали внутри государства.

Вторая проблема, которая возникла, — это проблема так называемой периферийной демократии. Институты демократии начинают вводиться в обществе, где развитых структур гражданского общества просто нет или они очень слабы. Это относится и к постсоветской России, и к азиатским странам (кроме, конечно, Индии), и к Африке. Институты буржуазной демократии существуют лишь формально. Они очевидно не работают. Парламент избирают, газеты выходят, но результата никакого нет. Политический результат не привязан к демократическому процессу. Он как бы сам по себе, а демократические процессы сами по себе. Парламент превращается в простую говорильню. Газеты никто не читает. В этой ситуации государство пытается искусственно симулировать институты гражданского общества, чтобы показать Западу, что все в порядке. Государство начинает сверху формировать гражданское общество для собственных целей. Гражданское общество нужно как технологический элемент системы. Причем в гражданском обществе задействован ничтожный процент населения. Политические партии сугубо элитарны и зависят от внешнего финансирования. Неправительственные организации спущены сверху, извне, привезены из-за границы. Благотворительные фонды начинают создавать гражданское общество. К жизни реального общества это не имеет никакого отношения. Возникает конфликт между элитарным гражданским обществом и обществом как таковым, потому что массе населения все это абсолютно чуждо, а зачастую и враждебно. Гражданское общество выступает как элитарная, внешняя, зачастую агрессивная сила. Все это подозрительно похоже на схему тоталитарного манипулирования, но в рамках демократических институтов.

10. После демократии

Деградация демократии, которая наблюдалась на протяжении 1980–1990-х гг. при формальном расширении сферы «свободного мира», поставила вопрос о том, как оценить вклад Грамши в марксизм. Возникает ощущение, что идеи Грамши, во-первых, не сработали, а во-вторых, оказались основанием для тупиковой стратегии, порой даже обоснованием оппортунизма. С другой стороны, нельзя отказаться от понимания того, что грамшианство формировалось как альтернатива сталинизму. Задачей Грамши было обоснование принципов демократии в рамках левой культуры, после того как демократия была поставлена под сомнение революцией 1917 г.

Для Маркса самоочевидно, что коммунистическое левое движение является демократическим. В «Коммунистическом манифесте» написано, что

целью пролетариата является формирование себя как господствующего класса, то есть становление демократии. Большинство общества, народа, пролетариата заинтересовано именно в демократии. Но если мы берем ситуацию тридцатых гг., то нельзя сказать, что культура насквозь демократична. Пройдя через русскую революцию, через опыт 1920–1930-х гг., левые утратили понимание важности демократических институтов. Грамшианство сыграло большую роль в деле реабилитации демократических традиций левых в смысле формирования левой парламентской традиции. Оно поставило вопрос о марксистской теории демократии уже на материале XX в. И в то же время оно оказалось тупиковым направлением на уровне политической практики, поскольку не смогло выработать альтернативных концепций.

Деградация демократии в конце XX – начале XXI в. происходит на фоне упадка массового общественного движения. Значит встает вопрос, имеем мы дело со слабыми местами грамшианской концепции или речь идет о некой объективной ситуации, к которой грамшианский марксизм просто оказался не готов?

На мой взгляд, имеет место и то и другое. Грамшианский марксизм очень тесно привязан к определенной исторической ситуации, и мы увидели его ограниченность в последующий период, когда ситуация изменилась. В годы, когда писались «Тюремные тетради», марксистская мысль находилась в серьезном тупике, особенно внутри коммунистического движения. Грамшианство сыграло очень большую освобождающую роль для коммунистического движения. И в том, что мировое коммунистическое движение рухнуло в конце XX в., надо винить все же не Антонио Грамши...

Глава 6

Что такое Советский Союз: анализ советского опыта в западном марксизме и в неофициальном восточноевропейском марксизме

Дискуссия о природе русской революции началась вместе с самой революцией. Причем дискуссия началась именно на теоретическом уровне, потому что русскую революцию ждали, она должна была произойти, это было очевидно для всех в начале XX в., причем не только для марксистов. С этой точки зрения было бы интересно пролистать тексты, которые Макс Вебер писал о России в 1904–1906 гг. Он регулярно давал аналитический комментарий к происходящему на Востоке. Проблематика Вебера, хотя она очень отличается по формулировкам от марксистской, очень близка к проблематике, которая волновала Троцкого, Ленина, Розу Люксембург. Вебер по-своему оказался проницательнее многих, в том числе и русских марксистов. Он упрямо пишет о том, что, хотя в России назревает буржуазная революция и необходима модернизация, нет причин для оптимистического прогноза относительно будущего буржуазной демократии.

Индустриализация требует изменения государства и общества. Но откуда уверенность, что буржуазно-демократические институты станут итогом этих перемен? Вебер делает очень важное замечание: сочетание капитализма и свободы появилось в качестве специфического и почти случайного стечения обстоятельств и факторов, характерных для XVI в. на Западе. Тогда индустриального капитализма еще не было. А торговый капитализм нуждался в свободе. В политической, интеллектуальной свободе. Индустриальный же капитализм, с точки зрения Вебера, уже сам по себе свободу не порождает. Он порождает потребность в дисциплине, организации и т. д. В Западной Европе, по мнению Вебера, капитализм по инерции унаследовал принципы свободы и демократии как часть условий своего существования, он продолжает воспроизводить эти отношения даже уже в индустриальную эпоху. Хотя и тут возникают проблемы.

Здесь Вебер пророчески предвидит появление фашизма. Но с другой стороны, он говорит о том, что в России капитализм приходит вместе с индустриализацией. И следовательно, будет не способен установить пресловутую буржуазную демократию. А если буржуазная демократия не сформируется и классические модели капитализма не состоятся, революция породит нечто такое, что Веберу пока непонятно, но что явно будет не соответствовать западноевропейским моделям буржуазно-демократических преобразований.

Короче, преобразования назрели, но получится не буржуазная демократия, а нечто совершенно другое.

1. Русская революция — ожидания и действительность

Вебер был не единственным, кто делал мрачные прогнозы относительно будущего русской революции. Пророческие мысли можно найти и у Энгельса. По мнению Энгельса, старый режим в России обречен, поскольку не соответствует новым историческим задачам, новому уровню развития, но, с другой стороны, и для буржуазного развития достаточных условий нет. Поэтому Россия породит революцию, которая может привести к власти самые радикальные силы, но рабочий класс будет слишком слабо развит, чтобы реально справиться с властью. Диктатура пролетариата в таких условиях рискует вылиться в диктатуру одной партии, а диктатура одной партии в силу логики, свойственной такого рода системам, в диктатуру одного лица.

В начале XX в. среди социалистов преобладали идеи Каутского. Он верил в последовательное поэтапное развитие (что потом было заимствовано советскими марксистами, хотя вся история русской революции опровергала подобную интерпретацию). История у Каутского упорядочена, идет строго по определенным правилам, в определенной последовательности. Поскольку советские идеологи в основном повторяли Каутского, то, как ни парадоксально, одним из самых слабых мест в советском марксизме было именно объяснение русской революции.

Эта модель была взята в конечном счете на вооружение, потому что она механистична, проста для усвоения, не требует больших усилий ума и признает историческую миссию передовой партии. Каутский революцию 1917 г. не принял. В России не состоялась еще буржуазно-демократическая революция, как смеют Ленин и большевики брать власть?

Иную интерпретацию революции 1917 г. дал Грамши. Он написал статью, которая называется «Революция против „Капитала”». «Капитал» он поставил в кавычках. С точки зрения Грамши, большевики все сделали неправильно, вопреки теории, и это как раз было их главным достижением. Теория, с точки зрения молодого Грамши, — это такая толстая немецкая

книга, очень толстая, которую очень трудно осилить. Там написаны правильные вещи, которые совершенно неприменимы к жизни, а главная жизненная цель — революционная воля и революционная интуиция, которые позволят преодолеть скучную и ограниченную теорию. Интерпретация очень интеллектуальная и культурно увлекательная, но, к сожалению, мало объясняющая реальные процессы.

Для Грамши, как позднее и для Че Гевары, основным вопросом является революционная воля. Это очень любопытно, потому что Грамши говорит: «Большевики не марксисты, они действуют в соответствии с революционной волей». Позднее на примере кубинской революции Че пытался обосновать решающее значение воли. Условия революции созревают в процессе самой революции, если есть политическая воля. Иными словами, революционная воля способна совершить некоторое социальное чудо. Преодолев ограниченность исторической ситуации, выйти за ее пределы.

Надо сказать, что культ революционной воли, хотя с чисто научной точки зрения его обосновать сложно, — мощная мотивация к индивидуальному действию. В революционную волю верили радикальные представители русского народничества. Но для понимания событий Октября 1917 г. подобный подход дает нам не так уж много. У Каутского получается, что все было бы так, как он написал, если бы большевистская партия не взяла бы да и не сломала правильные процессы. Но вопрос в том, как смогли большевики изменить процесс (если они его в самом деле изменили).

Другое дело, что в масштабах 70–80 лет Каутский оказался не так уж не прав. Революция, совершившаяся вопреки его теоретическим постулатам, закончилась сначала террором, а потом реставрацией капитализма. Произошел откат, Россия все равно вернулась к капитализму.

Лидер меньшевиков Юлий Мартов в целом разделял интерпретацию Каутского. Но отношение к происходящему у него несколько иное. Каутский, когда увидел, что его теория не подтверждается реальными фактами в России, пришел к мрачному выводу, что всему виной неправильные большевики, испортившие правильную теорию. Неправильные пчелы сделали неправильный мед. Мартов так рассуждать не может. Каутский сидит у себя в Германии, в кабинете, издали наблюдает, пишет свои комментарии. Грамши в Италии ведет революционную деятельность, пытается найти опору для своей личной революционной воли. А Мартов находится в России, в гуще событий поэтому понимает их неслучайность. В отличие от Каутского, для которого все сводится к злой воле и непониманию марксизма рядом русских товарищей, Мартов отлично осознает, что речь идет о чем-то гораздо более глубоком. Для него существенным является понятие коллективной воли русского пролетариата. С его точки зрения, речь идет об очень большом заблуждении. Все происходит неправильно. Но заблуждается не Троцкий, не партия большевиков, коллективно заблуждается российский пролетариат. И это коллективное заблуждение тоже имеет причины, связан-

ные с динамикой, с характером революционного процесса. Это процесс, который толкнул людей, к тому чтобы поддержать наиболее крайнюю партию, наиболее радикальные решения. Это абсолютно пагубно, трагично, но по-своему закономерно.

У Мартова есть ощущение трагизма происходящего. Трагизма как столкновения с роком, столкновения с неизбежным, слабости человека по отношению к силам истории. Всё это накладывается на дискуссию о терроре.

Отношение классического марксизма к террору достаточно двойственное. Маркс и Энгельс не были поклонниками террора, они неоднократно писали очень жесткие вещи по поводу якобинцев, но ясно, что они не являются пацифистами. Террор разрушителен постольку, поскольку он может нанести огромный ущерб делу революции. Но и Маркс, и Энгельс понимали, что история делается не на заказ. История не оставляет простых и удобных решений. Проблема не в том, чтобы осудить или оправдать террор, а в том, чтобы объяснить, каким образом закручивается механизм террора, почему это является закономерной фазой в развитии революции и почему эта фаза должна быть преодолена. Маркс относился к якобинскому террору как к мелкобуржуазному политическому инструменту.

Так же на первых порах думали и большевики. Вот с этим приходит Россия к революции, и, надо сказать, если кто-то пытается Ленина и Троцкого представить изначально кровожадными террористами, такой человек либо сознательно подтасовывает факты, либо не знает истории. Первые несколько месяцев — с февраля и по декабрь 1917-го, может быть, даже по январь 1918 г. — русская революция развивается на удивление гуманно. На удивление бескровно, учитывая, что народное восстание происходит на фоне войны, что народ вооружен, в стране под ружьем огромная масса крестьянских парней, малограмотных, но хорошо научившихся стрелять. Что за столетия крепостного права и прочих безобразий накопилась ненависть. Впрочем, на первом этапе мягкость, «бархатность» свойственна большинству революций. Строго говоря, «бархатная» революция — либо имитация революции, либо революция, которая остановилась на ранней фазе своего развития. Французская революция тоже начиналась относительно мягко, а потом привела к массовому террору. Но во Франции уже на начальных фазах революции было крови пролито больше, чем в России на аналогичном этапе. Февральско-мартовские дни в Петербурге были довольно кровавы. Об этом сейчас мало пишут. Но все довольно быстро кончилось демократической эйфорией.

Как известно, взятие власти большевиками обошлось практически бескровно. Хотя взятие Кремля белыми во время октябрьских (ноябрьских) боев в Москве уже сопровождалось массовым расстрелом красных.

Но в основном люди гибли в перестрелках, уличных боях. Террора в первые месяцы русской революции не было. Переломными оказались со-

бытия в Финляндии. Об этом мало пишут. История финской революции как будто ушла в сторону. Теперь она не относится к ведомству истории русской революции, поэтому она почти не изучается нашими историками. На самом деле финские события стали абсолютно переломными. В отношениях с Финляндией большевики пытались действовать строго по учебникам Каутского. В Финляндии было рабочее правительство, большевики тут же признали его независимость. Когда же русские войска были из Финляндии выведены, буквально через несколько дней там начинается кровавая гражданская война. Маршал Маннергейм (впоследствии президент Финляндии) вызвал немецкие войска, была интервенция. Белые финны не смогли бы победить без помощи интервентов. После разгрома красных начались массовые расправы с революционерами. В 1918 г. в Финляндии развернулся белый террор совершенно катастрофического для такой маленькой страны масштаба. Этот белый террор воспринимался в России не как нечто происходящее далеко за границей, ведь еще несколько месяцев назад Финляндия была частью империи. Террор в Финляндии стал сигналом для развязывания террора обеими сторонами в России. Для белых это было доказательство, что так можно победить. «Порог крови» был перейден. Одно дело, когда идет стрельба на улице, совсем другое — когда начались массовые расправы. Это совершенно разные психологические и моральные ситуации. Для красных Финляндия стала моральным оправданием собственного террора: белые начали первыми. Возникло ощущение — или мы их, или они нас. Это поняли и Ленин, и Троцкий, и даже Мартов. Он не отрицает, что большевики загнаны в угол, что у них не осталось иного выбора, кроме террора, но он все равно не согласен с ними. Ибо, по мнению Мартова, террор все равно не поможет. Речь не о том, чтобы сохранить свою власть, партию, кадры и т. д. Если Каутский прав и Россия для пролетарской революции не созрела, значит, красные все равно проиграют и все бессмысленно. Последствия поражения будут чудовищными уже не для партии, а для всего рабочего класса и, возможно, для всего городского населения страны.

Здесь принципиальное отличие между Лениным, Троцким и Мартовым. Ленин говорит: да, можно пойти на террор ради победы. Мартов в победу принципиально не верит. Не потому, что он трус, а потому, что так учит Каутский. И с точки зрения Мартова, трагизм большевизма состоит в том, что большевики ввязались в борьбу, которую они обречены проиграть. Его осуждение большевистского экстремизма состоит в том, что радикализм революционеров провоцирует радикализм контрреволюции.

В данном случае Мартов оказывается не прав. Хотя, как ни странно, его версия революции и террора является гораздо более оправдывающей большевиков, чем более поздние версии. Мартов ставит террор, я бы сказал, в библейский контекст борьбы за выживание и взаимного уничтожения, причем не отменяя морального аспекта проблемы.

2. Ленин, критика слева и историческая необходимость

Если Мартов и Каутский критиковали большевизм справа, то Роза Люксембург — слева. Она считала, что большевики непоследовательны. Она была убеждена, что Ленин и Троцкий делают излишние большие уступки мелкобуржуазной стихии, что большевики слишком носятся с разного рода национальными движениями, которые являются непролетарскими по своей сути. Роза Люксембург не считает, что нужно учитывать национальные права меньшинств. Ведь за этими национальными движениями стоит та же мелкобуржуазная интеллигенция. Не надо все время оглядываться на крестьянство. Надо максимально жестко и последовательно проводить социалистическую политику, коль скоро уже пролетарская революционная партия оказалась у власти. При этом, однако, с точки зрения Розы Люксембург, условием последовательной социалистической политики является последовательная демократия. Следовательно, нужно подавить мелкобуржуазную стихию, отказать в национальных правах всем меньшинствам, но при этом чтобы была полная свобода слова, печати, политических партий, никаких политических репрессий и т. д. Как одно с другим сочетается, честно говоря, я, перечитав текст Розы Люксембург несколько раз, так и не понял. Тут как бы две параллельные логики. Одна логика — последовательной классовой войны, которая должна быть доведена до полной победы, коль скоро уж власть у нас в руках. А другая логика — западного демократического социализма, логика марксистской радикально-демократической традиции, когда социализм понимается прежде всего как бескомпромиссная реализация требований демократии применительно ко всем сторонам жизни общества.

Роза Люксембург, безусловно, права, требуя последовательной реализации демократии. Нельзя, с точки зрения марксизма, вводить социализм, одновременно ограничивая демократию. Это писали не только Маркс и Энгельс, но и Ленин. Но тут речь идет не о социализме, а о выживании революционной власти, которая еще никакого социализма не построила. И может быть, — не построит. Во всяком случае, если власть завтра рухнет, она уже ничего не построит, ни хорошего, ни плохого. Политика — искусство возможного. Если вы будете проводить свою политическую линию, ни на кого не оглядываясь, вы наживете себе дополнительных врагов. И чем больше у вас будет демократии, тем больше вы дадите шансов своим врагам. Так рассуждает Ленин. Большинство населения жесткие меры в духе Розы Люксембург не поддерживало. Оно и более сдержанную политику Ленина и Троцкого поддерживало с большим трудом (и лишь постольку, поскольку крестьянин в ходе Гражданской войны осознал, что белые еще хуже красных). Выполнить программу Розы Люксембург значило бы гарантированно потерять власть.

Совершенно ясно, что Ленин и в меньшей степени Троцкий столкнулись с неожиданной культурно-теоретической проблемой. Оба считали себя ортодоксальными марксистами, солидаризировались с Каутским в борьбе против разного рода ревизий и критик марксизма. Но их собственные действия в октябре 1917 г. и позднее явно не укладывались в готовые схемы. Ленин принужден здесь прибегать к своего рода интеллектуальной эквилибристике. Он должен, с одной стороны, доказывать, что все, что он делает, соответствует немецкой теории, которой его учил Каутский, а с другой стороны, доказывать, что Каутский абсолютно ничего не понимает в теории, что он предатель, ренегат, с которым вести теоретические дискуссии бесполезно. Для Ленина это единственный способ выйти из данной ситуации. Выходит, что не Ленин действует вопреки теории, а Каутский. Отсюда заголовок знаменитой работы Ленина «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Вся аргументация сводится к тому, что Каутский политически неправильно действует. Он не прав по отношению к рабочему движению, не прав по отношению политическому противостоянию в Германии и тем более не прав по отношению к тому, что происходит в России. *С теоретической точки зрения это аргументация совершенно некорректная.* Каутский может быть тысячу раз не прав, но проблема здесь в другом. Каутский отстаивает некоторую теоретическую схему, которая должна быть разгромлена на уровне теории. В противном случае это не более чем переход на личности, что, собственно, Ленин и совершает.

Через много лет после революции испанский марксист Фернандо Клаудин ехидно написал, что история, конечно, подтвердила в полной мере правоту Ленина по отношению к Каутскому, но также и правоту Каутского по отношению к Ленину. Иными словами, Каутский прав в том отношении, что действительно Россия оказалась страной не готовой к социализму, не готовой к передовым методам общественной организации. И в конечном счете зашла в тупик капиталистической реставрации — только уже много лет спустя. Поскольку революция оказалась в каком-то смысле преждевременной, нельзя строить передовое общество на основе самых отсталых форм капитализма.

Среди советских историков об этом позднее писал Михаил Гефтер. По его мнению, какой капитализм, такая получится и революция. И соответственно, таким будет и путь к социализму. Есть некая отсталая матрица социально-экономического и социокультурного развития, которую пытаются сломать, но которая в ходе революции воспроизводится.

Представление об отсталости русского социализма было и у большевиков. В частности, об этом писал Бухарин. Когда он говорил о социализме в одной отдельно взятой стране, он тут же делал оговорку, что русский социализм будет отсталым и по мере течения событий на Западе он будет все в большей степени выявлять свои отсталые черты, как бы смотреться в зеркало мирового развития.

Но можно сказать и о том, в чем Ленин оказался прав по отношению к Каутскому. История не делается на заказ. Ленин внятно изложил свою позицию не тогда, когда он поливал грязью Каутского, а позднее, когда он уже был близок к смерти и писал комментарии к запискам Суханова о русской революции. Тогда он смог более четко сформулировать свою позицию — не в полемике со своими противниками, а для самого себя. Там Ленин пишет, что русская революция произошла «от безвыходности». Можно, конечно, сетовать на отсутствие предпосылок социализма и демократии. Но ведь политику приходилось делать в тех реальных условиях, которые были в наличии. «И никому не приходит в голову спросить себя: а не могли народ, встретивший революционную ситуацию, такую, которая сложилась в первую империалистскую войну, не могли ли он под влиянием безвыходности своего положения, броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему для завоевания для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации»⁵.

Иными словами, ситуация была настолько критична, настолько имело место разложение основ государства и общества, что просто для сохранения элементарных условий цивилизованного существования нужно было что-то делать. Требовалось взять власть, и власть эту взял именно пролетариат, потому что буржуазия оказалась во всех смыслах банкротом, победила большевистская партия, которая была лучше организована, более дисциплинирована, чем другие силы в обществе. Взяв власть, они, разумеется, начали общество перестраивать в соответствии со своими принципами. Но и в этом случае решающее значение имела не идеология. Многие важнейшие решения были продиктованы обстоятельствами.

Это хорошо описано у Михаила Покровского, который был не только историком, но и практическим политиком, возглавлявшим советскую власть в Москве в первые недели после свержения Временного правительства. Он показывает, насколько критична была ситуация с ценами на продовольствие. Традиционное соотношение цен на продукты питания и непродовольственные товары рухнуло. В 1917–1918 гг. за одну буханку хлеба приходилось отдавать, например, пару сапог. Но деревне не нужно столько сапог! Проще говоря, город просто не мог себя прокормить, промышленное производство как таковое в условиях подобных цен стало невозможно. Надо было закрыть не отдельные предприятия, а всю промышленность. Надо было закрыть города, надо было ликвидировать образование, надо было отменить государство. Все это стало экономически нерентабельно. Так получается при подобном раскладе с точки зрения рыночной логики. Понятное дело, что в такой ситуации приходится менять логику.

Пресловутая продразверстка должна была прокормить город за счет изъятия хлеба в деревне. Если городское население не может купить про-

⁵ Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 45. С. 380.

довольствие, то у горожан есть другой аргумент. Здесь производятся ружья, пулеметы, здесь можно построить бронепоезда. И с помощью этих аргументов забрать в деревнях хлеб. Продразверстка обсуждалась еще царским правительством. Понимали, что к тому идет, но не приняли решение. То же обсуждалось Временным правительством. Опять не приняли решение. В итоге к власти пришла та единственная партия, которая решилась принять это крайне неприятное, но неизбежное решение. Город просто элементарно использует свое техническое превосходство для неэквивалентного обмена с деревней. В таких условиях капитализм как таковой существовать уже не может. Предприятия де-факто национализируются: выживание работников этого предприятия и продолжение его работы зависит от того, насколько государство с помощью штыков, пулеметов, бронепоездов способно обеспечить город продовольствием. Массированная национализация промышленности в России в 1918 г. была сюрпризом для самих большевиков. У них были планы национализации, но куда более скромные. То, что произошло в реальности, выходило за рамки самых радикальных планов. В этом смысле очень интересно сравнить текст «Очередных задач советской власти», которые Ленин писал, еще не осознавая в полной мере, какой страной овладел, и книгу Каутского, вышедшую в России под названием «На другой день после социалистической революции». Надо сказать, что Ленин умереннее Каутского. Он исходит из того, что страна все-таки крестьянская, мелкобуржуазная. Мы можем в России рассуждает он, предпринимать некоторые прогрессивные меры, некоторые шаги в сторону социализма, а тем временем начнется революция в Германии... Никаких радикальных мер не предполагается. Спустя всего несколько месяцев эта книга уже забыта самим автором, и советская власть начинает применять другие меры, гораздо более радикальные. В государственной собственности оказывается практически вся промышленность. Хозяева предприятий практически все убежали. Поздняя советская историография объясняет это «саботажем буржуазии», которая, сворачивая производство, хотела подорвать пролетарскую власть. Своего рода «забастовка капитала». Возможно, в отдельных случаях такое было. Но большинство предпринимателей сворачивали свою деятельность по совершенно иным причинам. Им просто очень хотелось есть. Бежали от голода. Бизнес был нерентабельным. Зачем же его поддерживать? У людей, принадлежавших к верхам общества, был шанс просто собраться, сесть на поезд или пароход и уехать подальше от этой голодной страны, где деньги превратились в труху, где ничего невозможно продать.

К тому же, в условиях экономического краха не может быть и безопасности. В городах, где нет еды, есть много ружей. Понятно, что в таких условиях вооруженные матросы будут приходить в квартиры. И опять же, навести порядок в подобной ситуации могла только пролетарская власть, причем очень жесткими мерами.

География Гражданской войны легко объяснима. Если посмотреть на карту, видно, что большевики крепко держались в крупных городах, окруженных неплодородными почвами. Петроград, Москва, Север, Северо-Запад — за большевиков. А Юг и Сибирь, подальше от крупных промышленных центров, с более аграрным населением и с более устойчивыми связями между деревней и городом, куда хуже относятся к большевистским экспериментам.

Классический пример — Ижевск. Там у Колчака был сформирован полк в основном из рабочих. Это был единственный в своем роде полк в составе белой армии, который ходил в бой под красным флагом. Ижевский полк возник в результате восстания местных рабочих против большевиков. Дело в том, что, когда советская власть пришла в Ижевск, это был промышленный центр, и большевики, действуя по петербургско-московскому шаблону, решили: дабы кормить местных рабочих, нужно организовать продразверстку. И тут выяснилось, что в Ижевске рабочие и крестьяне были одни и те же люди. Местное население постоянно мигрировало из города в деревню и обратно. У всех родня в деревне, свои земельные наделы. Проблемы голода в городе не было. Когда начали отнимать у деревни продовольствие, рабочие стали протестовать. Опять же, не поняв ситуации, лидеры большевиков просто попытались твердой рукой подавить сопротивление. Кончилось это большим восстанием, а местные рабочие, подняв красный флаг, выгнали большевиков. И примкнули к колчаковцам. Конечно, тут абсолютно уникальный случай, но по-своему показательный.

Для позднего марксизма русская революция выглядит трагично. В силу катастрофических обстоятельств победившая партия была обречена на крайний радикализм со всеми вытекающими отсюда последствиями. Троцкий был гораздо более оптимистичен применительно к русской революции. Можно сравнить нарастающий пессимизм Ленина, особенно в конце жизни, с не менее упрямым и даже нарастающим оптимизмом Троцкого. С точки зрения Троцкого, никакой русской революции как отдельного феномена нет. Есть перманентная революция, мировой революционный процесс. Все зависит от исхода борьбы в других странах. Да, Россия не готова для социализма, да, она, что называется, забежала вперед, но кто-то должен начать! Если Россия забежала вперед для того, чтобы столкнуться с мертвой точки процесс глобальных социальных преобразований, то она свою историческую миссию по отношению к мировому пролетариату выполнила. Осталось только, чтобы мировой пролетариат выполнил свою миссию по отношению к России. А состоит эта миссия в том, чтобы построить передовое общество на Западе и тем самым включить Россию в новый контекст, в новую мировую систему, подтянуть Россию до уровня передовых стран.

Ничего подобного, как известно, не произошло. Но Троцкий был не так уж не прав, сказав, что Россия столкнулась с мертвой точки процесс гло-

бальных преобразований. Просто на Западе этот процесс принял не революционный характер, как ожидалось, а реформистский. Государство всеобщего благоденствия (Welfare State), смешанная экономика и другие достижения социал-демократического капитализма 1950–1960-х гг. вряд ли были бы возможны без русского 1917 г. Потрясения русской революции дали миру мощный политический импульс. На буржуазию Запада события в Петрограде произвели глубокое и крайне неприятное впечатление. К угрозе переноса революции на Запад приходилось в первой половине XX в. относиться серьезно. На эту угрозу надо было найти адекватный ответ в форме социального компромисса. Что и случилось к концу 1940-х гг.

Хотя история социал-демократии подтверждает обоснованность политической гипотезы Троцкого, она не подтверждает его конкретные расчеты. Троцкий исходил из того, что социал-демократия не имеет никаких перспектив, а следовательно, преобразования могут принять только революционную форму. Так думало большинство революционеров начала XX в. Они недооценивали возможности реформизма. Дело не в том, справедливо ли они оценивали реформизм с точки зрения идеологии, а в том, как они его оценивали в плане реальных возможностей. Особенность большинства марксистов начала XX в. состояла в том, что они были глубоко убеждены, что реформировать капитализм в принципе невозможно. Потому социал-демократы выглядели просто демагогами, которые все равно ничего не смогут сделать на практике, никогда не выполнят ни одного своего обещания. Это было глубокое заблуждение. Порождено оно было тем, что, понимая природу капиталистического способа производства, марксисты той эпохи плохо понимали природу капитализма как мировой системы. Эти заблуждения типичны даже для Розы Люксембург.

Эксплуатация периферии объясняет, откуда взялись дополнительные ресурсы для прогрессивных реформ в Западной Европе. Ленин пишет о рабочей аристократии, которая формируется за счет сверхприбылей, получаемых от эксплуатации колоний. С его точки зрения, рабочая аристократия — тонкий слой, который полностью подкуплен, коррумпирован и в силу этого он негативно воздействует на рабочее движение в целом. Никакой возможности, чтобы ресурсы, брошенные капиталом на подкуп рабочей аристократии, были использованы на проведение каких-то более глубоких реформ, реально влияющих на положение трудящихся масс, Ленин не видел. И здесь он ошибся.

Троцкий верил, что будущее русской революции зависит от революции на Западе. В негативном плане его концепция подтвердилась. Ведь кроме позитивного прогноза мировой революции у Троцкого был и сценарий негативного развития. В случае если на Западе революционные перемены не состоятся, произойдет вырождение русской революции. Дальше будет, как во французской революции, «термидорианский переворот».

3. Советский термидор

Что такое термидорианский переворот? Это когда часть элит, сформировавшихся в процессе революции, пытается консолидировать свою власть, остановив продолжение революции. Но каким образом? С одной стороны, закрепив свои достижения, закрепив победу, но, с другой стороны, придушив революционный процесс, не давая ему развиваться дальше. Для этого необходимо овладеть массами и контролировать их, не давая им больше быть движущей силой истории.

Происходит консолидация новой элиты, которой уже не нужна никакая революция. Для нее революция уже победоносно закончена, у нее уже все хорошо. О возможности советского термидора писали Ленин, Мартов, другие авторы. В 1920 г. эта перспектива была уже более или менее явной. Но вопрос заключался в том, какой будет термидор. Если к 1918–1920 гг. было ясно, что угроза исходит от контрреволюции, от старых элит, от белых, от хаоса, от голода, то и 1920-м г. ситуация меняется. Взяли Крым, чуть было не взяли Варшаву, стало ясно, что угрозы извне больше нет. Есть внешние враги, но они не в состоянии ликвидировать советскую власть. Зато встает вопрос о дальнейшем курсе развития революции.

Большевики, овладев страной, спасли промышленность, спасли города, но тем самым подорвали собственную социальную базу. Огромная масса людей была готова поддержать большевиков в Гражданской войне просто потому, что другого выхода не было: большевики обеспечивали их продовольствием и защищали от белых, которые явно стремились отобрать у крестьян землю. Когда война закончилась, нужно было налаживать нормальную жизнь. Оказалось, что «военный коммунизм», необходимый во время войны, неприменим в мирное время. Как налаживать управление производством, развитие промышленности и мирную жизнь методами, в основе которых постоянное применение насилия? Это абсолютно непригодный способ управления для нормальной ситуации, что бы мы ни понимали под «нормальностью».

Массы, поддерживавшие большевиков в 1919 г., к концу 1920-го перестали их поддерживать. Они требовали перемен, хотели воспользоваться плодами победы. Что касается крестьянства, то его позиция была крайне двойственна. С одной стороны, оно никак не могло быть в восторге от продразверстки. Надо помнить, что единственным ограничением масштабов конфискации во время продразверстки было сопротивление самих мужиков, их возможность спрятать зерно. Иначе могли забрать все, даже зерно, которое отложили для собственного проживания и посевов (городские просто не знают, сколько нужно оставить, у них нет никакого представления о том, как живет сельское хозяйство). Белые наиболее успешно действовали именно там, где большевики особенно активно брали хлеб. Но у крестьянства было двойственное отношение к большевикам, потому

что те, конечно, забирали зерно, но с другой стороны — дали землю. Деревня не оказала достаточной поддержки белому движению именно потому, что белое движение стремилось восстановить дореволюционный порядок, а крестьянство этот порядок категорически отвергало. Деревня на протяжении гражданской войны металась между белыми и красными. Ее отношение хорошо выражено во фразе из классического фильма: «Красные придут, грабят, белые придут, грабят».

После первой волны сопротивления большевистскому режиму во многие регионы пришли белые, и выяснилось, что с ними не лучше, а намного хуже. Так состоялся знаменитый союз большевиков с деревней. Деревня научилась жить с «военным коммунизмом». Было развито мешочничество, уникальное явление примитивного рыночного хозяйства, меновая торговля развивалась по стране. Люди с мешками ездили и выменивали хлеб на то, что мог предложить город. Это была рыночная экономика после Гражданской войны. Попытки большевиков бороться с мешочничеством ничего не давали, потому что мешочничество было оборотной стороной «военного коммунизма».

После 1921 г. все ждут перемен. Происходит мятеж в Тамбове, в Кронштадте. Сторонники умеренных и крайних левых, которые готовы были на определенных условиях поддержать большевиков против белых, теперь поднимаются против большевиков.

Ленин оценивает это как угрозу термидора, исходящего от мелкобуржуазной стихии. Троцкий тоже ждет, что термидор придет от крестьянства, от мелкобуржуазных и правосоциалистических партий (меньшевики, социалисты-революционеры и т. д.). Это предопределяет политический выбор. С одной стороны, начинается новая экономическая политика (нэп) — уступки мелкой буржуазии, прекращение продразверстки, замена ее продналогом, развитие мелкого предпринимательства, появление наряду с государственным сектором свободного рынка. А с другой стороны, одновременно, на политическом уровне начинаются репрессии против мелкобуржуазных партий. На протяжении всей Гражданской войны в России на большевистской территории существует какая-то многопартийная система. Конечно, эта многопартийность довольно странная, потому что она не мешает работе чрезвычайных комиссий, красному террору и т. д. Но это как бы хаос революции. Тем не менее партии существуют, у них есть штаб-квартиры, газеты выходят.

В 1921 г., одновременно с нэпом, одновременно с проведением политики уступок по отношению к мелкой буржуазии и к крестьянству, начинается зачинчивание гаек. Меньшевиков, эсеров ссылают на Соловки. Некоторых уважаемых людей, которых нельзя просто высылать в какие-нибудь отдаленные уголки страны, отправляют в иммиграцию. Подозрительных интеллектуалов грузят на корабль и экспортируют за границу. Вывозят всех разом (знаменитый «философский пароход»), чем, кстати, спасают им жизнь.

Бердяев дожил до старости в Париже, писал прогрессивные тексты. И кстати, очень повлиял на западных левых. Персонализм Бердяева повлиял на взгляды Мунье и Сартра. Под конец жизни русский философ даже заседал в каких-то президиумах, поддерживая Советский Союз. Тем, кто в 1921 г. одобрял революцию и остался на родине, повезло меньше.

Призрак мелкобуржуазного термидора преследовал Троцкого на протяжении 20-х гг. Все события того времени он пытается трактовать с точки зрения борьбы мелкобуржуазной стихии и пролетарского начала. Получается, что «военный коммунизм» был все-таки лучше, чем нэп, хотя именно Троцкий первым предлагал подобную корректировку курса еще в 1920 г. Его позиция была двойственной. Он говорил, что необходимо делать уступки мелкой буржуазии, но надо понимать, что эти уступки вынужденные, мелкая буржуазия — враг. Напротив, Николай Бухарин видел в ней союзника. Но логика Троцкого в данном случае противоположна тому, что делает Ленин в 1921 г. У него получается так: кулака, мелкую буржуазию надо задавить экономически, а политически, наоборот, желательно расширять демократию, дать населению больше свободы. По существу, он предлагает вернуться к исходной точке 1920 г. На практике же советская власть 1920-х гг. движется в противоположном направлении: зажимает ситуацию политически, но либерализует экономику. Концепция Троцкого не получает поддержки. Политически он терпит полную катастрофу, его сторонники подвергаются репрессиям уже в 1923–25 гг.

Нэп рушится естественным образом к концу 1920-х гг. под влиянием собственных противоречий и Великой депрессии, которая резко изменила всю систему мировых цен. В антисталинской исторической традиции принято мнение, что существовал некий заранее составленный план свертывания нэпа. Отчасти то же — задним числом — утверждали советские учебники. Однако архивные материалы этого не подтверждают. Никакого заранее составленного плана не было. События 1928–1929 гг. застали партийное руководство врасплох. Нэп не свертывался, а именно рушился. Это привело к расколу правящей коалиции Сталина и Бухарина, а затем к резкому повороту курса.

Начинается коллективизация сельского хозяйства. Фактически, мелкобуржуазную стихию полностью задавили, но никакого поворота к демократии от этого не наступило. Напротив, наступило нечто худшее: единоличное сталинское правление. Троцкий пересматривает свои первоначальные концепции. Он не написал прямо, что был не прав, но он радикально пересматривает свою оценку. Бюрократия теперь для него не партнер мелкой буржуазии, а самостоятельная сила, сложившаяся в ходе революции, заменившая старые буржуазно-помещичьи элиты и приватизирующая итоги революции («политически экспроприировав пролетариат»). Если в начале для него термидор — мелкобуржуазная стихия, то в 1930-е гг. он приходит к выводу, что в России произошел бюрократический термидор.

Победили новые бюрократические элиты, сформированные на основе партии. Произошел переворот. Всем партийным оппозициям приходит конец: правым, левым, каким угодно. Окончательно подавлено крестьянство, которое было одной из стихийных сил русской революции. Поставлено под повседневный контроль и рабочее движение. Не случайно одним из острых вопросов в годы революции был вопрос о профсоюзах. В первые годы революции профсоюзы продолжали функционировать как одна из форм самоорганизации рабочих, зачастую автономно от партии. Большевики прилагали усилия, чтобы они превратились в «приводные ремни» партии. Иными словами, речь шла о фактической борьбе партийной бюрократии против организованного рабочего движения. Но не в смысле его прямого подавления, а в смысле овладения им, подчинением себя. Что в конечном счете имело тот же самый результат, поскольку движение перестало существовать как таковое, превратившись в бюрократический инструмент.

4. После термидора

Победа Сталина поставила вопрос о классовой сущности режима, сложившегося в СССР. Споры велись прежде всего в западном марксизме, но неофициально эти вопросы обсуждались и в самом советском обществе.

Бесспорно, революция победила. Но победа произошла не в самой развитой капиталистической стране, как предполагал Маркс, а в среднеразвитой. И опять же, возвращаясь к вопросу о миросистеме, в стране полупериферийной. В силу этого революция была обречена на то, что социалистические формы, предложенные идеологами, не могли быть последовательно и успешно воплощены. Но в то же время революция состоялась и оказалась достаточно радикальна.

Любая революция имеет мощную политическую инерцию и выходит за пределы своих «объективных» исторических задач. В силу слабости и отсталости, полупериферийности российская буржуазия была не способна осуществить модернизацию страны. Старый режим был обречен на гибель, и в силу этого революция, естественно, вышла за рамки буржуазно-демократических преобразований. А выйдя за эти рамки, она начала развиваться по иной логике. Материальных условий для социализма не было, но движение к социализму было запрограммировано всеми исходными условиями революции. Другой перспективы просто не было. Возник исторический тупик... но тупик ли? В плане воздействия на мировые процессы русская революция сыграла очень большую роль, подталкивая социальные преобразования в мировом масштабе. Другое дело, что капитализм как мировая система не рухнул. И соответственно, все развитие постсоветской России шло не по тому сценарию, из которого исходили лидеры большевизма в 1917–1918 гг. Формой консолидации постреволюционного режима

стало то, что Троцкий назвал советским термидором, а впоследствии стали называть бюрократическим коллективизмом или сталинизмом.

Если это не социализм, то что это такое? С точки зрения Троцкого — это выродившееся рабочее государство, в котором рабочий класс утратил реальную политическую власть. Чтобы освободиться от бюрократии и вернуть власть рабочему классу, потребуется политическая революция. Но что такое бюрократия?

По мнению Троцкого, это некий паразитический нарост на теле рабочего государства. Но постепенно бюрократия становится не просто политическим слоем, но и реальным хозяином государства, оттесняя пролетариат. Бюрократия делается подобием правящего класса. Но какова природа этого класса, и класс ли это? Вопрос достаточно серьезный, потому что некоторые черты класса у советской бюрократии, бесспорно, были, но не все. И дело даже не в том, что советская бюрократия не была наследственной, хотя наследственная передача собственности или власти является важным условием нормального функционирования правящего класса. Вопрос в том, что этот правящий круг или группировка не имела возможности непосредственного индивидуального, личного доступа к собственности. Ведь собственностью она могла распоряжаться только коллективно и только посредством государственных институтов. В этом плане советская бюрократия не выглядит полноценным правящим классом. И более того, этот класс не имел собственной горизонтальной социальной структуры. То есть он не существовал вне государства.

В марксистской литературе сложилось несколько школ, по-разному интерпретирующих советский опыт. Одна группа авторов воспринимала советскую бюрократию как нечто слабое, неполноценное. Бюрократическое вырождение революции было закономерно вызвано отсталостью России и враждебным окружением, когда задачи формирования социалистического общества, которые должны решаться как мировые, вынужденно ставили и пытались решать в одной отдельно взятой стране. Рано или поздно бюрократическим режим уступит место настоящей социалистической демократии. Это была точка зрения еврокоммунистов (например, Монтни Джонстона), среди троцкистов — Эрнеста Манделя.

Называя СССР «выродившимся рабочим государством», Троцкий делал вполне понятный политический акцент. Он не употребляет слово «социализм». Монтни Джонстон, напротив, говорит про «деформированный социализм». Это несколько странный тезис, поскольку получается так: сначала был хороший социализм, а потом он деформировался. Когда был «настоящий», «правильный» социализм? С точки зрения Троцкого, социализма вообще не было. Он не был достигнут. Понятие деформации предполагает откат от чего-то ранее существовавшего. Или от чего-то где-то существующего, в крайнем случае. В СССР начала 1920-х гг. нечего было деформировать.

Советский экономист Александр Бузгалин говорил о «мутировавшем социализме» или «мутантном социализме» (совсем в духе американских фильмов ужасов). Нечто начало формироваться, но по дороге мутировало.

До известной степени к той же школе можно отнести и выдающегося марксистского историка Исаака Дойчера, автора трехтомной биографии Троцкого. В книге «Незавершенная революция», вышедшей в 1967 г., Дойчер сравнивает советскую бюрократию с огромной амебой. Это общественное образование, сросшееся с государством и не имеющее собственной социально-политической структуры. Но были и другие точки зрения. Ряд авторов (Тони Клифф, Роберт Курц) считал, что в СССР сложился государственный капитализм.

Клифф опирался на поздние работы Ленина, где говорилось про существование госкапитализма как одного из элементов многоукладной экономики Советского Союза. Аналогичного мнения придерживался и Шарль Бетельхайм. Советская бюрократия — это просто коллективная буржуазия. Если так, то и русская революция была лишь еще одной буржуазной революцией, только с определенной идеологической спецификой. Такова позиция Курца. Положение исследователя при этом упрощается чрезвычайно, все сложные теоретические вопросы отпадают. Клифф, напротив, не считал события 1917 г. просто буржуазной революцией, но, по его мнению, пролетариат потерпел поражение, в результате чего установился капитализм, только несколько необычный.

Буржуазия родилась заново, социально реинкарнировавшись в форме бюрократии. Поскольку в СССР существовали товарно-денежные отношения, поскольку существовал наемный труд и рабочие были отчуждены от принятия решений, совокупный прибавочный продукт можно считать находящимся в коллективной собственности бюрократ-буржуазии.

Проблема в том, что капитализм — это не только наемный труд и товарное производство. И то и другое как раз могут существовать в других системах, некапиталистических. Напротив, таких важнейших сторон капитализма, как частная собственность или свободный рынок, в советской системе не было (рынок был развит минимально). Производство велось все же не ради максимизации прибыли и не ради накопления капитала.

Точно так же теория государственного капитализма не объясняет, почему шла столь интенсивная идеологическая борьба между советским государством и Западом. Для Клиффа все сводилось к межимпериалистическим противоречиям. Но оставалось непонятно, почему один из участников этого соревнования опирается на определенное социальное движение, в то время как раньше ни одна империалистическая сила не была в состоянии мобилизовать в своих интересах глобальный социальный протест. Непонятным с точки зрения концепции Клиффа является и упадок СССР. Видение советской системы в работах английского марксиста совершенно статично.

Модель, которую отстаивали Мандель и Джонстон, выглядит несколько более логично, но в ней есть свои слабые места. Разумеется, сегодня критика советского порядка, содержащаяся в работах западных левых, выглядит самоочевидной: вопреки заявлениям лидеров СССР невозможно говорить о полностью построенном социализме, тем более — о его окончательной и полной победе. События конца XX в. в этом смысле все поставили на свои места: даже самые тупые догматики теперь не могут утверждать, что в Советском Союзе с социализмом был полный порядок. Как он мог победить окончательно, если потом был реставрирован капитализм? Но вопрос не только в том, насколько СССР был социалистическим. Если социализм не удалось построить, то что это было?

Порой пишут, что в СССР был уже не капитализм, еще не социализм, а некое промежуточное, переходное явление. В силу промежуточного состояния общества его элита была слаба и зависима от государства. Но на практике советская элита была не так уж слаба. 60 лет она как-то продержалась. Мало того что продержалась, она еще смогла осуществить серьезные преобразования. Экономика стала индустриальной, аграрная страна — городской, второстепенное государство — сверхдержавой. На эти достижения, кстати, постоянно ссылаются все те, кто испытывает ностальгию по СССР. И эти достижения совершенно реальны, другое дело, что сами по себе они еще не относятся к социализму. Индустриальной державой и могучей империей Америке удалось как-то стать без социализма.

Даже свою самоликвидацию советская элита смогла осуществить весьма эффективно, по собственным правилам и таким образом, чтобы на фоне национальной катастрофы не только ничего не потерять, но и многое выиграть.

Третья точка зрения была характерна для советского подпольного марксизма, для части восточноевропейских авторов, для французского автора Корнелиуса Касториадиса. Из советских авторов можно выделить Марата Чешкова, который сначала писал тексты для самиздата, потом, по возвращении из лагеря, продолжал работать над историей Азии и формулировал свои идеи в размытой форме, прибегая к эзопову языку. Более радикальным образом, уже не эзоповым языком, то же было высказано в самиздатовском журнале «Варианты», одним из авторов которого был и автор этих строк. Схожие тенденции можно проследить в работах восточногерманского марксиста Рудольфа Баро (хотя позиции Баро были крайне противоречивы, его нельзя приписать к одной из школ, потому что он немножко брал от каждой из них).

В чем суть этого подхода? Советская система сравнивается с азиатским способом производства. Далеко не все антагонистические общества, не все экономические системы, построенные на эксплуатации, были в строгом смысле слова классовыми обществами. Если принять понятие класса, как мы его находим у Маркса или у Вебера, обнаруживается, что совет-

ская бюрократия под него не подходит, но точно так же и в Древнем Египте или в империи инков в таком понимании слова классов не было. Класс, описанный у Маркса и Вебера, — это прежде всего (хотя и не только) специфическая форма организации, характерная для капитализма. В докапиталистических и некапиталистических обществах существуют другие формы социальной организации, позволяющие изымать прибавочный продукт у трудящихся не обязательно на основе классовой организации. Маркс сам говорил об этом в связи с «азиатским способом производства».

При азиатском способе производства правящая группа является продолжением государства. Массы тоже не являются самоорганизованной, самодостаточной социальной структурой, они в очень большой степени атомизированы и подчинены государству. Применительно к Китаю социологи говорили про «мешок с картошкой». Каждая картофелина (община) сама по себе, в единое целое их объединяет мешок (государство). А Европа — это структура горизонтальных связей. Такое общество больше похоже на молекулу, где все уже привязано друг к другу и определенным образом организовано.

Но надо помнить, что Маркс имел в виду общество, где разобщены не люди, а общины. Внутри себя община может быть очень сплочена и организована, но с другой общиной она никак не связана.

Маркс подчеркивал некапиталистический характер такого общинного уклада. Коллективизм, однако, тоже не выходит за пределы общины. Общество организуется за счет государства. Марат Чешков говорил о современном аналоге азиатского способа производства — этакратии. Забавно, что русский автор Чешков употребляет французский термин «этакратия», а франкоязычный автор Касториадис употребляет английский термин «статократия». Дело, конечно, не в термине, а в том, что, по Чешкову, речь шла об обществе классового типа, но без устойчивых классов. Советское общество и было, в некотором смысле, обществом бесклассовым. Но не бесклассовым коммунистическим, а бесклассовым некапиталистическим и даже в известном смысле докапиталистическим.

Надо сразу оговориться, что примитивные версии данной теории, рассматривавшие советский строй как индустриализированный азиатский способ производства (часто встречавшееся в самиздате определение), не выдерживают критики. Азиатский способ производства является аграрным по определению. В этом его суть. Он базируется на простом воспроизводстве. Потому он консервативен, устойчив, не ориентирован на накопление. В СССР, напротив, мы имеем стремительную модернизацию, технологический прогресс. Потому сходство с азиатским способом производства важно лишь для понимания того, что подобные социальные механизмы в принципе возможны. Советский строй не был продолжением азиатского способа производства. Не был им и китайский или вьетнамский «коммунизм». Речь идет о качественно новой системе социальных отношений, которая консолидировалась, пусть и на короткое время, благодаря сочета-

нию политической победы революции и социально-экономической неудачи попыток перехода к социализму.

На практике, конечно, в СССР было странное сочетание архаики и прогресса, докапиталистических и посткапиталистических отношений, элементов социализма, госкапитализма и азиатского способа производства в одном обществе. Эти противоречия были порождены происхождением советского строя, возникшего из пролетарской революции, но в условиях, когда сам пролетариат власть утратил, а его партия переродилась.

Если в СССР можно было говорить про общество классового типа, это значит, что здесь были некоторые черты классовой структуры, но не в полном объеме. Мы имеем дело как бы с заменителями классов. Основные социальные группы способны функционировать только в той мере, в которой они привязаны к государству. Поэтому государство является абсолютно необходимым. Оно является не только системой власти, политического управления, но и основой организации общества как такового. Конечно, любое государство имеет социально-организующую функцию. Но здесь эти функции выходят на передний план.

Тезис о этакратии в большей степени совместим с представлениями о переходном характере советского общества, нежели с представлениями о госкапитализме. Переход не состоялся, общество застряло на промежуточном этапе, но на определенное время переходные отношения консолидировались. Получилась система, вошедшая в учебники западной социологии под названием «советского коммунизма».

5. Советский Союз в истории

В зависимости от оценки советской практики авторы по-разному оценивали и значение революции 1917 г., ее итоги. С точки зрения Курца, например, советское общество было просто продуктом поздней буржуазной революции. Сходной точки зрения, кстати, придерживался и один из наиболее значительных подпольных марксистских авторов в СССР — Александр Тарасов. В России была самая последняя или одна из последних буржуазных революций, которая уже происходила в индустриальную, позднекапиталистическую эпоху, когда классические модели буржуазной революции оказались невозможны. В политическую борьбу вступили новые действующие лица, новые общественные силы. В итоге поздняя буржуазная революция принимала совершенно другие формы, нежели революция, скажем, французская, не говоря уже о английской и голландской. Выходит, что не бюрократия деформировала пролетарскую революцию, а пролетариат своим вмешательством деформировал революцию буржуазную, поставил в повестку дня социалистические лозунги и даже сделал их официальной идеологией нового государства. Идеологией, но не практикой.

Мнение Бузгалина отличается от позиции Тарасова. У него совершенно наоборот: мы имеем дело с раннесоциалистической революцией, которую Бузгалин сравнивал с Реформацией в Германии и с Ренессансом в Италии, когда не было никакой возможности построить настоящее буржуазное общество, но была возможность провозгласить новую идеологию и стимулировать историческое развитие. Итальянский Ренессанс в интерпретации Бузгалина — неудавшаяся раннебуржуазная революция.

Бузгалин подчеркивает, что за неудачной первой попыткой последуют новые. В итоге мы потом будем смотреть на русскую революцию примерно так же, как сейчас смотрят на Реформацию в Германии: как на кровавый, но необходимый этап истории, необходимый для того, чтобы начало формироваться новое общество в масштабах Европы.

На мой взгляд, противоречия между двумя изложенными точками зрения не столь уж непримиримы. Русская революция действительно оказалась на грани исторических эпох. В каком-то смысле это вообще относится ко всему XX в. Это тот этап истории, когда одни фазы накладываются на другие. Каутскианская схема, согласно которой нужно аккуратно пройти одну фазу, дойти до некой точки, потом с нее уже начать следующую фазу, просто уже не соответствует исторической практике. К сожалению.

В живой истории одни фазы еще продолжаются, а другие уже начинаются. XX в., начиная с русской революции, включая революции китайскую, югославскую и кубинскую, соединил продолжающееся развитие капитализма с уже развернувшейся борьбой за социализм.

Крах СССР привел к тому, что дискуссии о природе советского строя как-то сами прекратились. Можно сказать, что мы не dospорили. Но независимо от того, как будет оценен, какой ярлык будет повешен на советский период, мы имеем дело с уникальным историческим опытом, который наложил свой отпечаток на весь XX в.

У советской истории есть четкое начало, середина, кульминация, развязка. Она формально завершена. Но с другой стороны, объект находится отнюдь не в ископаемом состоянии. Это совершенно уникальная для историков и социологов ситуация. Можно подводить итоги, но борьба далеко не закончена.

Советский режим дал пример поразительной по скорости и эффективности модернизации. Все последующие концепции модернизации были в той или иной мере основаны на анализе и оценке советского опыта. Можно сказать, что, не решив проблему социализма, советская система в целом решила проблему модернизации, причем темпами ни до, ни после никем и нигде не достигнутыми. Какой ценой это достигалось, мы прекрасно понимаем. Темпы, которыми осуществлялась модернизация, были оплачены ГУЛАГом, репрессиями, нищенским состоянием деревни, бюрократической сверхцентрализацией управления.

Вопрос о репрессиях, однако, не может быть понят без исторического или социального анализа произошедших событий. Репрессии были вызваны

не только необходимостью максимально сконцентрировать ресурсы под контролем бюрократического аппарата и направить их на приоритетные задачи, но, как это ни парадоксально, они были связаны еще и с культурным ростом населения.

Современная интеллигенция себя культурно отождествляет со старой русской интеллигенцией, с жертвами репрессии. Но большинство сегодняшних интеллигентских семей вышли из числа «выдвиженцев», которые поднялись в результате того, что старая интеллигенция была пущена под нож. Другое дело, что выдвиженцы усвоили культуру тех, кого они заменили.

В начале XX в. Россия имела население, состоявшее из полуграмотных или неграмотных людей, неспособных к участию в управлении. Революция обеспечила невероятную вертикальную мобильность для представителей низов. Выходец из крестьян мог подняться до самого высокого уровня в обществе и государстве. И это были не отдельные исключительные случаи, это было достаточно массовое явление. Но одновременно массовая вертикальная мобильность создает определенного рода социально-политический культурный стресс в обществе. Прогресс выходцев из низов — это постоянная угроза для того, кто уже занял высокое место. Мощнейшая вертикальная мобильность обеспечивает бешеный темп экономического роста, самоотдачу людей на производстве... и постоянный страх. Общество сталинского образца сочетало в себе страх и энтузиазм. Одно без другого бы не работало. Если бы не было возможностей роста для людей из низов, страна не могла бы выигрывать войны, не могла бы стремительно развиваться. Но энтузиазм быстро выдыхается, его надо чем-то поддерживать.

Ключевой для советской системы оказалась проблема дисциплины, поддержания порядка. Массы надо было держать в определенных рамках, поддерживать лояльность управляемых. И в течение первых поколений революции эта задача решалась с помощью террора. Позднее, когда произошло привыкание к новым социальным отношениям, когда сложилась политическая культура, воспринимающая власть бюрократии как нечто само собой разумеющееся, потребность в терроре как инструменте поддержания социальной дисциплины отпала.

Демократичность советского строя была парадоксальным образом связана с его тоталитарностью, и наоборот. Это объясняет прочность режима на ранних этапах — самых страшных, самых жестоких, но в социальном смысле — самых демократичных. Террор в Гражданскую войну с обеих сторон зачастую был более интенсивен, чем при Сталине, даже если взять 1931–1932 или 1937–1938 гг. В Гражданскую войну могли просто собрать несколько сот людей сразу и на глазах у всего города утопить. Но это не имело такого парализующего воздействия, как сталинский террор. Сталинский террор был системно организован и являлся частью воспроизводства общества. Причем от него еще очень многие выигрывали. Кто-то расширял площадь коммунальной квартиры, занимая комнаты, где раньше жили

репресслируемые, кто-то занимал чьи-то должности. Это был и процесс естественного отбора внутри бюрократии: проигравших истребляли. Потому и бюрократический контроль на самом деле был в 1930–1938-м и даже в начале 1950-х менее жестким, чем позднее. Проигравших просто отстреливали.

Индустриализация требовала жестких методов и концентрации ресурсов, а не бюрократического контроля. Руководители понимали друг друга на интуитивном уровне. Им не нужно было точно детально все прописывать. Когда, скажем, конструкторы Микоян и Гуревич создавали авиационное предприятие, которое потом стало концерном МиГ, никто не давал им никаких точных указаний, параметров, инструкций. Было и так ясно, что если они не справятся со своей задачей если самолеты летать не будут или будут летать плохо, то конец понятен, несмотря на родство Микояна со знаменитым наркомом Анастасом Микояном, а может быть, даже именно из-за этого. Легко понять, почему Анастас не собирался покровительствовать брату!

Такая система работала до определенного момента, когда нужно было мобилизовать ресурсы на индустриальное развитие. Но что делать, когда индустриализация в целом осуществлена, война выиграна? Сложилась развитая индустриальная система с тысячами предприятий, со сложнейшей продукцией, с разветвленной системой научных исследований. Выяснилось, что мобилизационный механизм уже не работает так, как раньше. Начиная падать темпы роста. И наступает некоторая усталость. Суммарно это привело к хрущевской «оттепели», либерализации. Но парадокс в том, что либерализация означала одновременно острый кризис управления. Если террористическими, мобилизационными методами управлять больше нельзя, то как? Побочным результатом «оттепели», или смягчения советского строя, была его стремительная бюрократизация.

6. Разложение советской системы

Бюрократия, о которой мы читаем у Троцкого или Бухарина, на самом деле не так уж неэффективна. Проблема не в ее низкой эффективности, а в том, что бюрократия становится самостоятельной социально-политической силой, подчиняя себе пролетариат вместо того, чтобы служить его интересам.

Ленин много писал о бюрократизме, о проволочках, о бессмысленном бумагомарании. Но ни тогда, ни при Сталине бюрократия не была столь неэффективной, как в период, начавшийся с конца 1950-х гг. Объем информации возрастает, центр не справляется с нарастающими потоками информации. Поставщики информации манипулируют центром, подталкивают к выгодным для себя решениям. Манипулируя информацией, они манипулируют властью.

Наступает эпоха, когда людей не убивают, зато убивают время. Система управления все усложняется, система контроля становится все запутаннее.

В странах советского блока подобный кризис ощущается тем острее, чем более развита экономика. В Чехословакии, где существовала эффективная индустриальная экономика, мало пострадавшая от войны, кризис советской модели управления был совершенно очевиден. Пражская весна 1968 г. была абсолютно закономерна. Реформы, поддержанные значительной частью самого бюрократического аппарата, начались потому, что было ясно: иначе нельзя. Встает вопрос о децентрализации управления. Но это ведет к политическим и социальным последствиям. Реформа означает ослабление власти центра, партийной бюрократии и ее возможный постепенный демонтаж. В каком-то смысле перед нами реформистский вариант того, что Троцкий назвал политической революцией. Но в отличие от модели Троцкого, власть переходит не столько к революционному пролетариату, сколько к порожденному индустриализацией слою технократов, находящихся на более низких уровнях той же управленческой системы. Тем не менее речь идет о демократизации.

Для советской бюрократии, возглавлявшейся в те годы Брежневым, это было слишком радикально. Тем более что демократизация в Чехословакии вызвала к жизни новые политические силы, главным образом на левом фланге. Речь пошла о куда более радикальных переменах, о рабочем самоуправлении на производстве, об обновлении марксизма и т. д.

Пражская весна была подавлена силой оружия. Но с кризисом управления что-то же надо делать! И тогда находится гениальное решение — бюрократическая децентрализация. Поскольку центр не справлялся, возникало несколько параллельных центров. Начинают плодиться министерства, ведомства. Вплоть до министерства хлебобулочной промышленности. Это, кажется, последнее отраслевое министерство, созданное уже М. С. Горбачевым. Специализация возрастает, поэтому министерств становится все больше и больше.

Параллельные центры начинают обработку информации, но в них происходит и консолидация корпоративных интересов. Идет борьба за дефицитные ресурсы, за получение выгодного, удобного для министерства и ведомства плана. Если раньше советская экономика планировалась директивно, сверху вниз, то теперь развивается договорное планирование, когда официальный государственный план есть не более чем результат согласования интересов между ведомствами.

Общество все более становится организовано вокруг корпораций. Эти корпорации пока не являются частными. Но реально возникает корпоративная структура. Какова роль партии? Она остается политическим агентом, который должен эти параллельные и зачастую уже соперничающие между собой центры власти стянуть вместе и каким-то образом обеспечить их координацию. Происходит это не через рынок и не через самоуправление трудящихся, не через прямое соприкосновение заинтересованных лиц на том уровне, на котором происходит взаимодействие. Проблемы нарастают внизу, а все согласования происходят наверху. Экономика движется от ко-

мандного управления не к демократическому планированию, а к корпоративному компромиссу. Борьба за ресурсы идет на бюрократическом уровне.

Если сначала партия выступает в роли силы, которая способна определенным образом консолидировать соперничающие элементы, то по мере возрастания бюрократического плюрализма она сама начинает разрушаться, ее растягивают в разные стороны.

Начинается прогрессирующий развал системы, распад ее на составные части, и как итог мы получаем 1991 г., когда в Беловежской Пуще трое высших партийных начальников, превратившихся в правителей суверенных республик, объявляют СССР распущенным.

Закономерным итогом эволюции советской системы оказывается корпоративно-олигархический капитализм, который мы имеем сегодня в России. Приватизация логически вытекает из всего того, что происходило раньше. Это лишь окончательная, завершающая фаза процесса. Происходит приватизация тех фрагментов, на которые уже раньше раздробили общенациональное достояние, тех объектов собственности и управления, которые оказались под контролем отдельных корпораций.

Зачастую приватизировались объекты, которые при классическом капитализме не являются частью экономики. По сути, делили не государственную собственность, а само государство как таковое. Что вполне закономерно, исходя из предшествующей истории. Новым хозяевам вместе с объектами собственности доставались неразрывно связанные с этими объектами элементы властных функций, порой даже элементы силовых структур, которые тоже приватизировались.

В западном варианте капитализма, как правило, силовые структуры приватизации не подлежат, и если это происходит, то это воспринимается все-таки обществом с очень большой степенью драматизма, как проявление социальной болезни. Например, когда в Америке происходит приватизация тюремной системы. Конечно, тюрьмы можно превратить в прибыльный бизнес. Заключение можно эксплуатировать. Но даже сугубо буржуазная американская культура реагирует на это с раздражением (отсюда целая серия голливудских фильмов, осуждающих частные тюрьмы).

Принцип западной демократии состоит в том, что политическая сфера остается более или менее защищенной от прямого контроля со стороны частных интересов. И чем меньше отдельный капиталист способен в своих интересах контролировать государство, тем эффективнее служит оно общим интересам капитала. Но такая ситуация возможна только в богатых странах Запада, где капитал достаточно хорошо организован и может позволить себе роскошь соблюдения всех требований правового государства. И то, как мы видим на примере США, это не всегда получается.

В странах «третьего мира» и в бывших странах советского блока приватизация прямо вторгается в сферу публичного, коллективного интереса. Формально или не формально это происходит — уже другой вопрос.

Отсюда специфическая природа политической борьбы в современной России. Мало того что у частных корпораций появляются собственные секретные службы, но и государственные секретные службы ведут какую-то странную войну между собой за частные интересы. А капиталист Михаил Ходорковский оказывается за решеткой, проиграв политическое и деловое столкновение с группой конкурентов, заправляющих в Кремле. Одна компания в борьбе против другой использует налоговую полицию, а Газпром заключает с налоговой полицией официальное соглашение о выбивании долгов, то есть налоговая структура выступает как частная банда рэкетиров.

Это отнюдь не свидетельствует о том, что российский капитализм какой-то неправильный. Просто он развивается не по западноевропейскому сценарию, а так же, как на большей части территории планеты. Что совершенно естественно, если учесть его предысторию.

7. Новый русский капитализм

Именно расслоение номенклатуры в конечном счете привело к реставрации капитализма. Возвращаясь к Каутскому, можно сказать, что теоретик немецкого ортодоксального марксизма посмертно торжествует. Получается, что он был прав по отношению к Ленину. Только его правота стала ясна с опозданием на 70 лет. Революция вышла за свои пределы, но в конечном счете вернулась туда, откуда начиналась. Осуществив, впрочем, модернизацию общества.

Ранее говорилось, что модернизация была достигнута невероятно высокой ценой. Но встает вопрос: если олигархический капитализм в России стабилизируется и консолидирует свою власть, то не будут ли утрачены и достижения советской эпохи, купленные такой дорогой ценой?

Если по отношению к советской бюрократии Троцкий говорил про выродившееся рабочее государство, то постсоветский капитализм напоминает в какой-то степени выродившееся советское государство. Его конструктивный потенциал остается весьма и весьма под вопросом.

А как оценить то, что произошло со страной в 1990-е гг.? Иногда говорят про «революцию», а порой про «контрреволюцию». В этом контексте стоило бы вспомнить движение «Солидарность» в Польше 1980 г. Перед нами массовое рабочее движение, но оно выступает не против буржуазии, а против бюрократического режима, который себя сам называет социалистическим и коммунистическим. Поведение рабочих «Солидарности» заставляет вспомнить образцовые примеры классовой борьбы пролетариата. Но в выигрыше оказывается буржуазия — международная и своя собственная, сформировавшаяся на основе той самой партийной номенклатуры, с которой рабочие так героически боролись.

Одна точка зрения состоит в том, что в Восточной Европе произошла народная демократическая революция. Но то, что должно было стать политической революцией пролетариата, описанной Троцким, почему-то обернулось не торжеством социализма, а реставрацией капитализма. К тому же, в самой отвратительной бюрократическо-олигархической форме.

Другая точка зрения, высказанная восточноевропейскими социологами, состоит в том, что произошла реформа системы, своего рода освобождение номенклатуры. Да, было великое освобождение, но освободилось не общество от номенклатуры, а наоборот. Номенклатура освободилась от социальной ответственности. Бюрократические элиты нашли выход из кризиса, в котором оказалась советская система к концу 1980-х гг. Они укрепили свои позиции, используя кризис как повод, чтобы пожертвовать остатками социальных обязательств, оставшихся у них по итогам революции 1917 г.

Демократизация есть лишь побочный эффект распада, происходившего наверху. В силу того что номенклатура утрачивает монолитность, становится плюралистичной, допускается гораздо большая демократия в обществе. Овладевая собственностью, элита находит новые способы легитимации, не ссылаясь на революционное наследие, а прикрываясь итогами выборов.

У Троцкого уже в 1936 г. была высказана гипотеза относительно подобного развития событий. В его работе «Что такое СССР и куда он идет» (на Западе известной как «Преданная революция») есть место, где он описывает самый худший сценарий. Бюрократия консолидируется, осознает свои интересы, по-настоящему становится классом, превращаясь в буржуазию. Режим идет на диалог и примирение с Западом, приватизирует собственность, создавая тем самым уже полноценный капиталистический порядок. Для Троцкого это некий кошмарный сон, он пишет, что это маловероятно, что это крайний сценарий. Именно этот крайний вариант и оказался самым точным прогнозом...

Можно взглянуть на распад СССР и с точки зрения миросистемного анализа. Тогда придется констатировать, что попытки Советского Союза и его сателлитов выйти из капиталистической системы в очень большой степени способствовали демократизации и модернизации западного капитализма и миросистемы в целом. Они создавали постоянную угрозу для миросистемы и тем самым стимулировали процессы перераспределения долгов, собственности, власти, заставляли правящие классы искать компромисса с трудящимися. Это относится не только к рабочему классу Запада, но и странам Юга — Африке, Азии, Латинской Америке.

Начиная с середины 1970-х гг. динамика процесса меняется. Первым сигналом становится возвращение в капиталистическую миросистему стран Восточной Европы, начавшееся не в 1989 г., когда распался Варшавский договор, а в 1973 г. в связи с нефтяным кризисом. Тогда после нефтяного кризиса брежневское руководство СССР приняло стратегическое решение. Стало окончательно ясно, что можно не проводить внутренние реформы,

поскольку высокие цены на нефть позволяли ничего не менять — ни в СССР, ни в братских странах.

Никаких реформ не надо, не надо ломать себе голову над тем, как повысить эффективность системы, как стимулировать инновации, все, что нужно, — купим. Нефть стремительно поднялась в цене в 1973 г. Советское руководство использовало эту ситуацию, чтобы начать подкупать собственное население, пытаясь обеспечить более высокий потребительский стандарт за счет экспорта нефти, газа, сырья. В итоге Советский Союз вернулся в миросистему — в качестве поставщика сырья. В миросистему, с благословения Кремля, вернулись и другие страны Восточного блока.

В начале 1970-х гг. СССР начал в международном разделении труда выполнять ту самую роль, которая присуща и постсоветской России — поставщика сырья. Но выполнял он ее с неадекватной своему месту экономической системой и политическим статусом: он был слишком развит и силен для этой скромной роли. Страны Восточной Европы попадают в долговую зависимость от Запада тоже не без помощи СССР, который считался, по существу, гарантом их долгов. В Польше, Венгрии начиная уже с конца 1970-х — начала 1980-х гг. обслуживание внешнего долга является структурным фактором экономики. В этом смысле Восточная Европа дает классические примеры периферийного развития. Причем зависимость проявляется не только в том, как осуществляется эксплуатация ресурсов, но и в том, как организована экономика. Постепенно экономика перестраивается с решения внутренних задач на внешние.

Легко догадаться, что проведенная Михаилом Горбачевым перестройка (которая, кстати, совпала со стабилизацией и снижением цен на нефть) закрепляла тот же процесс. Перепуганные хранители советской обрядности говорили про каких-то «агентов влияния», по указаниям иностранных разведок разрушавших великую страну. А на самом деле работал экономический механизм. Политики лишь его обслуживали.

Советский Союз экономически и политически должен перестать существовать, потому что он как социополитическая структура оказался негоден для той новой роли, которую взялся играть в международном разделении труда. Ему нужно создать новую социальную, экономическую и политическую системы, которые были бы адекватны данной роли. В этом смысле поворот к капитализму закономерен, а периферийный характер русского капитализма был в достаточной мере предопределен изначально.

Является ли сложившееся общество в полной мере буржуазным, стопроцентно капиталистическим? Постсоветские структуры отличаются от классической модели свободного предпринимательства, хотя в общем соответствуют динамике позднего корпоративного капитализма. Отличие в том, что модели корпоративного капитализма, которые мы имеем на Западе, все равно выросли из свободного предпринимательства, а на территории бывшего СССР мы имеем дело с корпоративной моделью, которая

вырастает не из свободного предпринимательства, а из государственно организованной экономики. При внешнем сходстве есть некоторые генетические различия. С другой стороны, вспомним Розу Люксембург и Андре Гундер Франка, которые показали, что капитализм, приходя в периферийные страны, не делает их насквозь капиталистическими. Скорее они становятся полукапиталистическими. То есть они становятся капиталистическими в той мере, в которой они включены в международное разделение труда. Их элиты обуржуазиваются и становятся частью международных элит в той мере, в какой они связаны с Западом. Внутри своего общества они могут жить «по традиции», осуществлять старые модели воспроизводства. Причем некапиталистические производственные отношения, поставленные на службу капиталистическому рынку, становятся конкурентными преимуществами. Попросту говоря, если можно поставлять на международный рынок товар, производимый рабочим, которому по полгода не платят зарплату, то это огромное конкурентное преимущество. Правда, данное преимущество имеет значение только в той мере, в которой мы работаем именно на мировой рынок. На внутреннем рынке углубляется кризис, потому что этот рабочий ничего не может купить.

Экспортная ориентация экономики способствует закреплению примитивных форм эксплуатации. Открытая экономика требует либерального общества, требует определенного уровня открытости также в политике и в социальной практике. Но с другой стороны, та же экономика стимулирует сохранение архаичных, жестких форм эксплуатации. Так рабство в Америке сопровождалось написанием самой передовой конституции. Замечательная американская демократия на первых порах была бы, наверное, невозможна, если бы на Юге нельзя было извлечь прибыль из безжалостной эксплуатации негров, которых просто не воспринимали как граждан.

Марксисты и либералы едины в том, что отмечают противоречие между либеральным и авторитарным началом в постсоветском обществе. Но парадокс в том, что одно тесно связано с другим. Периферийные системы всегда требуют определенной степени либерализма, особенно экономического, но не позволяют действовать полноценной буржуазной демократии. Демократия вовлечет в принятие решения массы, а эти массы явно не заинтересованы в поддержании системы. И подкупить их, в отличие от стран «центра», нечем. Подобное противоречие разрешается на основе олигархической системы. Олигархия по Аристотелю есть ухудшенная форма аристократического правления. Не власть наследственных элит, а власть тех, кто владеет собственностью, имеет привилегии, влияние. Это не тирания, ведь тут есть определенное подобие демократических процедур. Но не для всех.

Легко догадаться, что такой порядок вещей чреват новым политическим, социальным, экономическим кризисом. Периферийный капитализм в России породил своего рода люмпен-буржуазию и олигархию, выросшие на основе разложения старой советской номенклатуры. Мы получили скорее

обуржуазившуюся номенклатуру, нежели полноценный предпринимательский класс. Но это не случайность и не результат ошибок реформаторов, а закономерный результат предшествовавшего развития. В рамках этой системы вряд ли удастся найти эффективную либеральную стратегию модернизации. Любая попытка найти выход на основе либеральных путей столкнется с тем, что либеральные элементы общества теснейшим образом связаны с нелиберальными и даже антилиберальными элементами. Возникает ситуация, на удивление похожая на то, что мы видели в России в начале XX в. Уже идет капиталистическое развитие, есть даже определенные успехи на этом пути, но сложившиеся конкретные формы капитализма и соответствующие им элиты не способны завершить модернизацию успешно. Возникает вопрос о формировании новой политической и социальной силы, способной выйти из этого тупика, изменив правила игры. Может быть, все-таки в конечном счете окажется прав Ленин, а не Каутский?

Российская революция прошла трагическую траекторию, завершившуюся самоотрицанием. Можно ли говорить о русской революции как о потерпевшей неудачу и каковы исторические выводы? Я думаю, что неудачу революция потерпела в той мере, в какой все революции терпят неудачу. Маркузе (ссылаясь на Энгельса) говорил, что всякая революция является преданной революцией, поскольку неизбежно вырывается за пределы всех своих исторических задач и пытается решить глобальные задачи человеческого освобождения. А эти задачи невозможно решить с одной попытки.

Но русская революция осуществила огромный исторический прорыв, причем не только по отношению к России, но и по отношению ко всему миру. Ее результат — не только модернизация России, но и демократизация западного мира. Последующий крах и утрата положительных результатов советского периода, в свою очередь, ставят под угрозу результаты революции как внутри России, так, возможно, и глобальные.

Но совершенно очевидно, что революционный импульс не закончился. Если мы возьмем французскую революцию, с которой все революции себя сравнивают, то ведь в ней и термидор, и бонапартизм, и реставрации не были последними фазами. Французская революция проходит фазы: жирондизм, якобинство, термидор, эпоха имперской экспансии, реставрация старого режима. Если мы смотрим на историю русской революции, то при гораздо большей растянутости во времени (во Франции процесс занимает примерно 40 лет, а в России около 80 лет) мы видим ту же динамику. Страна больше, масштабы больше. Сначала Февральская революция, потом Октябрь (Ленин не случайно сравнивал большевизм с якобинством). Затем сталинский термидор, описанный Троцким, явные элементы бонапартизма в позднем сталинском режиме, вызревание в советской системе имперской идеологии, которую так любят ностальгирующие патриоты. Мы видим создание вокруг СССР квазиимперской системы в Восточной Европе. И наконец, крах бонапартистской модели и реставрация буржуазного режима.

Реставрация — это не контрреволюция. Ведь контрреволюция может победить только на ранних этапах революции, когда можно подавить народное движение и вернуть старый порядок. Реставрация — это компромисс новых элит со старыми. Старые элиты побеждены, они возвращаются в основном на символические роли. Гораздо важнее в случае любой реставрации международные элиты. Во Франции важны были не опереточные Бурбоны, которых привезли в своем обозе англичане и русские. Они были формально нужны для того, чтобы показать: монархия восстановлена, традиционный порядок вернулся. Реально суть реставрации в другом. Это компромисс между народившимися в итоге революции новыми верхами, которые уже не хотят иметь ничего общего с революционными массами, и международным сообществом. Для того чтобы быть принятыми в «клуб» международной элиты, надо идти на уступки. И надо демонстративно порвать с революционным прошлым (чего ни французская, ни советская империя сделать были не готовы).

В России династия Романовых была истреблена, так что вернуть их не было никакой возможности. Хотя вопрос ставился и даже тронный зал в Кремле готовили. Но проблема не в том, восстановлена династия или нет. Восстановление династии было необходимо как символ, как формальный знак, который нужен международным элитам. В данном случае Россия смогла обойтись без этого, поскольку были даны знаки другого рода, и гораздо более впечатляющие. Международный валютный фонд смог вполне осуществить ту функцию, которую во Франции выполнял Священный союз. Приватизация собственности и либерализация экономики — вот главные требования международного буржуазного сообщества, которые были выполнены к полному удовольствию обеих сторон.

Между тем французская революция показала, что реставрация является не последним, а очередным этапом процесса. После нее прошла целая череда новых революционных потрясений. История русской революции тоже не закончена.

Глава 7

От класса — к партии

Когда Ленин хотел подчеркнуть марксистский характер дискуссии, он неизменно повторял вопрос: в интересах какого класса проводится та или иная политика? Действительно, вопрос о классовом интересе один из ключевых в марксизме.

Маркс подчеркивал, что не он открыл существование классов и борьбу между ними. Понятие класса идет из античности. Разумеется, когда древние греки или римляне говорят о классах, они имеют в виду не совсем то же, что современные социологи. К тому же, есть проблемы перевода: древнегреческий язык уникален. Тем не менее можно сказать, что одно из самых древних рассуждений о классе, о классовой природе государства и классовой борьбе можно найти уже в разговоре Перикла с Алкивиадом, изложенном у Ксенофонта.

Понятно, что амбициозного молодого Алкивиада интересовал вопрос о политике. Он задал правителю Афин Периклу вопрос о природе государства, и тот начал терпеливо разъяснять суть демократии. Но Алкивиад, учившийся у Сократа, стал заваливать собеседника встречными вопросами. В итоге собеседники пришли к очень простому выводу: закон выражает волю господствующего класса. То, что выгодно классу, господствующему в государстве, записывают в закон.

Термин «класс» впоследствии активно употреблялся в древнем Риме. И не случайно понятие «пролетариат» тоже приходит в марксизм из латыни. Из римской истории идет и представление о борьбе между классами. Однако у Маркса были и источники куда более близкие по времени: он неоднократно ссылался на французских историков, которые описывали события Великой французской революции. На материале революционных потрясений конца XVIII в. они уже могли дать серьезный анализ классовой борьбы.

1. Постановка вопроса

Далеко не все историки, давшие Марксу необходимый материал, были радикалами, некоторые придерживались консервативных взглядов. Они просто честно описали и проанализировали то, что произошло в стране

в 1789–1799 гг. Маркс подчеркивает, что, не будучи первооткрывателем классов и классовой борьбы, он открыл взаимосвязь между социальной структурой и производственной структурой общества. Он показал природу классов как социального института, основанного на экономической структуре и общественном разделении труда. И соответственно, он показал их экономическую детерминированность.

Однако Маркс также показал динамику классовой борьбы, которая, с его точки зрения, должна привести к разрушению капитализма и замене его каким-то другим обществом, которое он называл коммунизмом или социализмом.

При всем том развернутой социологии классов у Маркса нет. Более того, с формальной точки зрения в его текстах обнаруживается противоречие. На мой взгляд, это противоречие кажущееся, но тем не менее оно бросается в глаза. В «Коммунистическом манифесте» написано, что вся история существовавших обществ была историей борьбы классов. Но у того же самого Маркса, а также Энгельса нередко говорится про общество, где еще не сложились классы. Это не только азиатский способ производства. Например, у Энгельса можно найти рассуждения о том, что в феодальной Германии не было сложившихся классов. Вместо них были сословия, более или менее разложившиеся в процессе модернизации.

Сословие не тождественно классу. Сословие — не просто правовое изображение классовых отношений (как порой трактовали феодальное право советские марксисты). Конечно, можно говорить про класс феодалов, и класс феодально-зависимых крестьян, и класс буржуа. Но к этому сословная система не сводится. У Энгельса класс и сословия — это абсолютно нетождественные вещи. Далеко не все члены дворянского сословия, например, принадлежат к феодальному классу. Есть бедные дворяне. Есть «дворянство мантии» во Франции — вполне буржуазное и по своим доходам и по образу жизни. Можно вспомнить про понятие «третьего сословия», включавшего в себя и крестьян, и наемных рабочих, и буржуазию. Как это можно назвать классом?

При чтении марксовских и энгельсовских текстов, особенно поздних, создается впечатление, что класс в той степени, в которой он описан у Маркса, типичен именно для буржуазного общества. Иными словами, существуют социальные антагонизмы и противоречия интересов, существует общественное разделение труда. И в этом общественном разделении труда большие группы людей занимают определенное место (одни организуют производство, присваивают прибавочный продукт, другие этот прибавочный продукт производят, но не могут его использовать, не могут им распоряжаться и т. д.). Однако эти группы не всегда образуют полноценный класс.

С точки зрения диалектического метода Маркса противоречия являются до известной степени кажущимися. У Маркса, Энгельса, как и Гегеля, есть понятие «Werden» (становление). В добуржуазных обществах мы

видим классы, становление которых еще не завершилось, они не до конца оформились. Но они уже формируются и возникают. Потому все-таки можно сказать — в философско-историческом смысле, что вся история есть история борьбы классов. Но если мы будем думать, что все те условия классового взаимодействия и классовой борьбы, которые мы находим в Европе Нового времени, можно обнаружить и в другое время, и в другом месте, нас ждет разочарование. Это еще не классы. В духе Гегеля и Блоха можно было бы даже написать так: еще-не-классы.

У немецкого марксиста Эрнста Блоха было понятие еще-не-бытия: предмет как бы уже существует, но его как бы еще и нет, он находится в процессе становления. Однако тут нас подстерегает еще одна методологическая ловушка, ибо, поставив вопрос, Маркс нигде не дал четкого ответа на него: чем отличается уже сложившийся, ставший класс от еще не сложившегося, становящегося или потенциально возможного класса? Он говорит о «классе в себе» и «классе для себя». Вроде бы понятно, но где критерий?

С этим вопросом мучился и Ленин. Отсюда и явное возбуждение, с которым он записывает внезапно озарившую его (и действительно гениальную) формулировку об общественном разделении труда, — в самом неподходящем месте, в статье о ремонте паровоза. Хорошо, конечно, что рабочие вышли работать в субботу, исходя из исключительно пролетарской сознательности, и починили паровозы. Для советского периода сама идея бесплатной работы на государство очень важна, но я вас уверяю, что, несмотря на весь эмоциональный пафос Ленина, это была достаточно малозначимая ситуация. Марксистская социология, однако, должна была очень благодарна этим рабочим, поскольку именно они спровоцировали Ленина на написание статьи «Великий почин», сделавшейся классической.

Понятно, что общественное разделение труда не совпадает с технологическим. Термин «общественное разделение труда» — очень богатый в социологическом плане. Он позволяет показать общество как производящий, работающий организм, но организм все-таки социальный. Разделение труда не совпадает с производством, оно богаче, разнообразнее. Оно включает в себя целый ряд функций совершенно не производительных, но абсолютно необходимых, чтобы система в целом функционировала: культура, образование, здравоохранение, правосудие и т. д.

Вопрос о самодостаточности класса оставался в марксизме непроясненным примерно до 1920-х гг., когда марксисты начали несколько, я бы сказал, неблагодарно пользоваться социологией Вебера. Вебер явно не любит марксистов. Марксисты платят ему тем же. Справедливости ради надо признать, что у Вебера было более чем достаточно оснований плохо относиться к современному ему марксизму, на интеллектуальном и культурном уровне. Марксизм Каутского достаточно ученический и схоластический и фактически игнорирует культурный и идеологический компоненты социального развития. Тем не менее Вебер совершенно явно заимствует

из марксизма целые теоретические пласты. По возможности не цитируя. Впоследствии марксизм то же самое проделывает с Вебером. Среди марксистских социологов долгое время считалось дурным тоном ссылаться на Вебера.

Вебер дал представление о классе как структуре, построенной на горизонтальных связях. Для Маркса важно, что противопоставляет один класс другому. Для Вебера — что его консолидирует, что его внутренне связывает. Класс — не просто функция в общественном разделении труда, но и некий самодостаточный, устойчивый коллектив, в котором сложилась своя культура, определенная система горизонтальных связей, механизм внутреннего самовоспроизводства. Именно эти механизмы и позволяют классу эффективно справляться со своей ролью в общественном разделении труда. Самовоспроизводство класса не тождественно чисто экономическому процессу, оно не сводится к тому, что люди занимают определенные места в социальной иерархии. Как ни странно, здесь Вебер дает марксистам очень важную подсказку. Он непроизвольно заставляет вспомнить Маркса с его понятиями «класс в себе» и «класс для себя».

Понятия эти восходят к Канту и Гегелю. Но это отнюдь не просто дань философской традиции. Маркс пишет, что рабочий класс был «классом в себе», а потом становится «классом для себя». Что это значит? То, что пролетариат осознал себя как класс. Но ведь это на самом деле удивительно похоже на веберовское представление. О том, как, например, формируется буржуазия. Можно вспомнить его работу про протестантизм и дух капитализма. Это книга о том, как буржуазия из «класса в себе» превращается в «класс для себя», формирует свою идеологию, свою этику, систему взаимоотношений, поведенческих норм. Формирует свои понятия о рациональности, что для Вебера очень важно. И на основе этих понятий о рациональности начинает трансформировать общество вне себя. То есть становится уже «классом для себя», а затем — господствующим классом.

2. Пролетариат или рабочий класс

Второй тяжелый вопрос для марксистской классовой теории относится к самому важному и ключевому понятию: пролетариат или рабочий класс? С точки зрения Маркса, пролетариат является революционным классом, поскольку он отчужден от собственности. То есть не заинтересован и воспроизводит именно данной системной логики, поскольку он не имеет собственности и не имеет, соответственно, доступа к прибавочному продукту, к власти. Власть экономическая осуществляется через распределение прибавочного продукта, который у пролетария отнимают. Но именно поэтому существование пролетарского класса абсолютно необходимо для функционирования системы. Поэтому, как известно по Марксу, буржуазия порождает собственного могильщика. Ей-то пролетариат

жизненно необходим, а зато совершенно неочевидно, мягко говоря, нужна ли пролетариату буржуазия.

После того как пролетариат осознает себя, сформирует свою политическую организацию, свою идеологию и культуру, он приобретет необходимые качества, чтобы самому стать правящим классом и уже построить экономическую систему без буржуазии, преодолев капитализм. Но, заметьте, для Маркса понятие «пролетариат» и «рабочий класс» тождественны. Употребляются и то и другое понятия. Это двусмысленная тождественность, она имеет очень простые идеологические и социологические корни, но очень серьезные последствия. Пролетариат середины XIX в. является по определению рабочим классом, и ничем другим. Где концентрируются люди, не имеющие доступа к собственности, не имеющие доступа к перераспределению и управлению прибавочным продуктом? Где сосредоточены жизненно важные процессы производства? Кто является непосредственным производителем прибавочного продукта? Понятное дело — рабочие на фабрике. Потому появляется понятие фабрично-заводского пролетариата. Все остальное, по мнению Энгельса, — это либо мелкая буржуазия (крестьяне, ремесленники), либо люмпен-пролетариат, маргиналы, социальные низы, исключенные из производства и общества.

Понятие люмпен-пролетариата очень существенно. Люмпен-пролетариат определяется не по отсутствию собственности (в этом он схож с пролетариатом), а по отсутствию устойчивой социальной культуры, общности, социальных связей, постоянной, устойчивой включенности в систему производства. Он не структурирован, в отличие от рабочего класса.

Но, кроме мелкой буржуазии и люмпен-пролетариата, есть и какие-то другие группы, заслуживающие внимания. Уже у Маркса появляются вопросы: а кто такие учителя, какова функция инженеров? По некоторым признакам они вроде как походят на пролетариев, но рабочим классом их никак не назовешь.

Механическое отождествление понятий «пролетариат» и «рабочий класс» типично для всего марксизма первой половины XX в. Правда, возникает еще термин «индустриальный пролетариат» (соответственно, по умолчанию предполагается, что есть какой-то еще пролетариат, кроме индустриального). В южноевропейских странах, таких как Италия, Испания, начинают говорить об «аграрном пролетариате». В России было понятие «беднота», которое в значительной мере совпадает с «аграрным пролетариатом» в Италии (по крайней мере, в тех случаях, когда идет речь о сельских батраках). Но зачастую понятие «сельская беднота» объединяет и малоземельное крестьянство (т. е. все-таки мелкую буржуазию, хоть и совсем нищую, с деревенскими наемными работниками, собственно пролетариями). Однако не является ли правильное использование терминов само по себе фактором формирования класса? Во всяком случае, фактором классового сознания?

Формирование класса является процессом не механическим и не всегда жестко детерминированным. Мы имеем дело с активным процессом самоформирования.

Ведь первоначально было совершенно неочевидно, что водитель паровоза и шахтер составляют один класс. Лишь в процессе формирования класса рабочие разных отраслей и специальностей осознают свою общность, вырабатывают общие нормы поведения, научаются солидарности. Преодолеваются корпоративные, сословные перегородки. Развиваются не только социальные структуры, формируется культура, идеология. Можно говорить о возникновении, пользуясь терминами Грамши, внутриклассовой гегемонии, когда идеи определенной профессиональной или социальной группы становятся ключевыми для самосознания всего класса. Стандарты, нормы поведения, ценности, которые характерны были для индустриального рабочего класса в Италии, в несколько трансформированной форме становятся востребованы наемными работниками аграрного сектора. И сельская беднота начинает себя не просто отождествлять, на идеологическом уровне, с городскими рабочими, но и структурироваться соответственно — создавать профсоюзы, вступать в революционную партию, вырабатывать культуру солидарности, характерную для рабочей среды. В то же самое время в России и на Украине сельская беднота проявляет невероятный политический радикализм, но это не радикализм организованного рабочего движения, не пролетарский по стилю, методам. Не случайно в украинской деревне успехом пользуются Нестор Махно и его анархисты. Большевики оценивают это движение как мелкобуржуазное. Что формально верно. Но почему в одном случае доминирует мелкобуржуазный радикализм, а в другом — традиции рабочей солидарности? Сжечь усадьбу — это вполне анархическое действие. Убить барина, если он, конечно, не успел сбежать. С точки зрения европейского рабочего движения это методы борьбы совершенно недопустимые. В этой же ситуации итальянские крестьяне организованно захватывают пустующие помещичьи земли. Они действуют солидарно. Грабеж усадьбы — это не солидарные действия. Каждый тащит то, что он может утащить. Солидарность тут минимальна. Нужно только общими силами преодолеть сопротивление владельца усадьбы. С того момента, как сопротивление сломлено, каждый сам по себе. И не случайно значительная часть кулаков 1920-х гг. во время революции были участниками комитетов бедноты.

Вопрос не только в идеологии. Итальянский аграрный пролетариат на протяжении нескольких поколений социализировался определенным образом. Поэтому у него и идеология была такая, и сознание, и поведение. Некоторые культурно-символические образцы пролетарского поведения в самой Италии заданы были, кстати, именно сельскими выступлениями, а не городскими. Включая в значительной мере антифашистское сопротивление. Партизанские отряды все же не в городе, а в деревне действовали, большинство их участников были крестьяне. В 1944 г. Северная Италия была освобожде-

на от немцев не англо-американскими союзниками, а партизанами, главным образом коммунистами и социалистами. В это Соппротивление вливались люди из города и совершенно органично себя там чувствовали. Не было культурного разрыва между городом и деревней. Уровень образования был выше в городе, но люди, попадая в сельскую среду, чувствовали себя среди своих, ибо разделяли общие нормы социального поведения.

Вопрос о классах несводим к разделению труда, это еще вопрос социализации, культуры. В конечном счете вопрос гегемонии. Во второй половине XX в. вопрос уже стоял не просто о деревне и городе. Возникла пресловутая проблема среднего класса. Инженерные профессии стали массовыми. Произошла пролетаризация инженерного сословия. Появились так называемые «белые воротнички».

В XIX в. конторские служащие, конечно, играют важную роль, ни одно производство без них не может существовать, но они не являются массовой социальной группой, а потому не слишком интересуют как социальное явление теоретиков марксизма. Предполагается, что, поскольку они все-таки являются наемными работниками, они должны тяготеть к рабочему классу и осваивать его культуру. Но самостоятельное значение они как социальный слой имеют минимальное, по крайней мере в теории. Массовая интеллигенция, инженерно-технический пролетариат начинают волновать теоретиков лишь позднее.

Инженерно-технический пролетариат — это еще и огромная масса людей, которые втянуты в систему научных исследований. Научные исследования в XX в. переходят из фазы, когда работают отдельные личности (иногда с небольшими группами учеников) к масштабным, организованным исследованиям. Это своего рода индустриализация науки. Работают крупные коллективы, имеющие разделение труда внутри себя, используя индустриальные технологии, сложное оборудование. Происходит переход науки от ремесленной к мануфактурной фазе организации, частично — к индустриальной.

Маркс предрекал, что наука когда-нибудь станет производительной силой. В СССР эту цитату очень любили критически мыслящие теоретики, подчеркивая, что надо считаться с интеллигенцией. Но мысль Маркса имеет и другую, менее приятную для интеллигенции сторону. Речь идет не только о значении результатов научных исследований, но и о том, как они ведутся. Теперь все меньше зависит от творческой личности и все больше от оборудования, от финансирования, от организации. Разумеется, от личности тоже что-то зависит. Например, советские программисты умудрялись на менее мощных компьютерах получать результаты с той же скоростью, что американцы — на более мощных. Американцы просто полагались на свое «железо», а наши — нет, они его еще на программном уровне усовершенствовали (или в некотором смысле обманывали). Но все равно, есть объективные пределы того, что может сделать творческая личность, — без инвестиций и организации. Это, к сожалению, любой профессионал знает на практике.

Если наука стала производительной силой, то люди, которые в ней работают, являются уже непосредственными производителями. Проблема в том, что по своей ментальности, по образу жизни они сильно отличаются от классических понятий о рабочем классе. Образ рабочего сложился в марксистской традиции прежде всего как образ работника физического труда. Именно с физическим трудом связывается представление о пролетариате.

Тем временем у западного рабочего класса тоже меняется образ жизни, ментальность, культура. Это первым замечает Эдуард Бернштейн. Он совершенно неправильно трактует понятие пролетариата. По его мнению, происходит депролетаризация рабочих, поскольку у рабочих появляется собственность — домики, велосипеды, позднее — автомобили. Маркс, однако, говорил не про это, а про собственность на средства производства и на орудия труда, про доступ к распределению прибавочного продукта. А Бернштейн имеет и виду просто приобретение какого-то движимого и недвижимого имущества, позволяющего рабочему освоить некоторые формы буржуазного быта. Однако ситуация осложняется им, что во второй половине XX в. рабочие в США получают определенный доступ и к акционерной собственности.

Правда, получая акции, рабочие почти никогда не получали контроль над компанией. Такого никогда не бывало, чтобы в крупнейших компаниях рабочие обладали большинством голосов. В тех немногих случаях, когда рабочие получали большинство акций в средних компаниях, обнаруживалось, что все равно они зависят от банков, от внешних инвесторов (зачастую именно из-за долгов хозяева и уступали акции работникам). Такие компании, как правило, подвергаются очень сильной эксплуатации извне. Механизмы накопления в таких компаниях слабы, что тоже понятно. Поскольку люди получили доступ к собственности, они заинтересованы в перераспределении прибавочного продукта. Накопление капитала вообще не происходит в рамках отдельно взятой компании, тем более — небольшой. Капитал накапливается в масштабах экономики в целом и затем перераспределяется. Поэтому, если вы владеете одной отдельно взятой компанией, это не значит, что вы контролируете процесс накопления капитала и инвестиции. Понятно, что компании, продавшие акции рабочим, становятся объектом внешней эксплуатации со стороны финансового капитала.

Акции становятся ловушкой: работники чувствуют ответственность за компанию, не бастуют, не создают профсоюзов, соглашаются на снижение заработной платы. Иными словами, действительно ведут себя как мелкие буржуа со всей свойственной этому социальному слою недалекостью.

Сознание, естественно, меняется. С одной стороны, пролетаризируются некоторые социальные слои, включая «белые воротнички», интеллектуалов, которые раньше были ближе к мелкой буржуазии. А с другой стороны, обуржуазиваются некоторые группы рабочего класса. Они становятся,

пользуясь ленинским термином, одновременно тружениками и собственниками, то есть мелкими буржуа по определению.

Мелкий буржуа в рамках капитализма — это зачастую не менее, а порой и более угнетенное существо, чем рабочие. Он привязан к своей собственности, эта собственность его закабаляет, он является ее рабом. Его собственность, поскольку она мала, раздроблена, не является достаточной, чтобы участвовать в принятии принципиальных решений, от которых зависит развитие общества. В этом принципиальное отличие мелкой буржуазии от крупной.

Так или иначе к середине XX в. мы видим, что первоначальные понятия пролетариата и рабочего класса до известной степени начинают размываться. И не только в идеологии и культуре, но и в самой жизни. Вопросы, казавшиеся очень простыми, приобретают остродискуссионный характер.

Начиная с конца 1940-х гг. по мере того, как размываются первоначальные представления о рабочем классе, западная левая социология бьется с понятиями «пролетариат», «средний класс», «рабочий класс». Массы «белых воротничков» уже вполне пролетаризированы, но все-таки обладают определенным социальным статусом, зачастую достаточно высоким. Появляется массовый средний класс, который для марксистской теории является на первых порах своего рода загадкой. Большой загадки в среднем классе как таковом нет. Проблема в том, как вписать понятие среднего класса в концепцию марксистской социологии.

Американская социология определяет средний класс по уровню доходов. И это делает в принципе невозможным работу на основе каких-либо марксистских категорий. Кстати говоря, и веберовских тоже. Уровень дохода не отражает (механически, во всяком случае) место группы в общественном разделении труда. Он отражает скорее положение, сложившееся на рынке труда. Поскольку та или иная специальность востребована на рынке труда и спрос превышает предложение, уровень заработной платы возрастает. И наоборот. В американской социологии один и тот же человек может быть записан то в средний класс, то в рабочий класс. А для американского обывателя понятие среднего класса в значительной мере оценочное. То есть если я средний класс, то у меня все в порядке, если у меня не все в порядке, тогда я не средний класс. Причем самооценка происходит через потребление. Если я могу купить большую машину (сколько там цилиндров — нужно как у соседей), то у меня все в порядке, я средний класс, даже если из меня делают полное ничтожество на работе. А вот если не могу, то тогда я и вспоминаю, что и шеф у меня мерзавец, и эксплуатируют меня по-черному. И я принадлежу к рабочему классу. Но потом все-таки мне повышают зарплату, и я понимаю, что все хорошо... Тот самый несчастный одномерный человек, про которого пишет Маркузе.

Попытка понять общество через потребление вступает в конфликт с анализом общества через производство. Марксизм выделяет производст-

венное начало в обществе как ключевое, и это логично, потому что если вы ничего не будете производить, то вы и потреблять скоро перестанете. Но и бытовой повседневной жизни людей все не совсем так. Главное или первичное далеко не всегда выходит на первое место в быту. И не всегда является на практике определяющим, мотивирующим повседневное поведение человека. Существует противоречие между долгосрочными, глубинными процессами и той формой, которую это все принимает на бытовом уровне. Отсюда пресловутое ложное сознание, разные формы фетишизма и т. д.

В Западной Европе размывание пролетариата имело несколько другие формы, нежели в Америке. Но схожие тенденции имели место. Это дало основание Андре Горцу, известному французскому социологу, в начале 1980-х гг. писать о конце пролетариата. Горц много нового не сказал. Он повторил то, что сказал Бернштейн, дополнив это эмпирическими данными, которые были доступны из опыта 1950–1960-х гг. Показательно, однако, что Горц исходил из привычного для раннего марксизма отождествления пролетариата и рабочего класса. Он обнаружил нарастание числа «белых воротничков» как массовой формы труда. И объявил это концом пролетариата: «синих воротничков» стало меньше, «белых воротничков» стало больше, значит, рабочий класс уходит в прошлое. А раз уходит рабочий класс, вперед выходят «белые воротнички».

Логика Горца очень формальна и бедна. И опять же не очень перспективна, потому что, распрощавшись с пролетариатом, он все равно призывает преобразовать капитализм, только теперь непонятно, к кому он обращается. Классовый подход заменяется гуманитарной и общекультурной критикой капитализма.

Начиная с 1960-х в среде западных левых все чаще слышны голоса о том, что вместо классовой критики капитализма надо предложить что-то более широкое: капитализм нужно преобразовывать не потому, что он угнетает рабочего, а потому, что от него плохо всем. Загрязнены реки, люди отчуждены, находятся в состоянии стресса, невроза, потребление приобретает дегуманизированные формы и т. д. Такой постфрейдистский, экологический список претензий к системе. Все это очень убедительно, но система именно потому и продолжает функционировать, несмотря на все очевидные проблемы, что революции и даже реформы не совершаются какой-то «широкой обеспокоенной общественностью». Изменения в обществе осуществляются консолидированными социальными группами, имеющими собственный специфический интерес.

Почему, собственно, пролетариат? Маркс тоже не утверждает, будто капитализм плох только для рабочего класса. Он просто показывает, что идея более гуманного общества должна опереться на специфический и, если угодно, даже эгоистический интерес конкретной социальной группы. В противном случае вы можете критиковать систему сколько угодно, можете сколько

угодно протестовать, но все равно все останется по-старому, потому что нет активной группы, которая организует борьбу и доведет ее до конца.

Как бы зеркально по отношению к горцевской критике классического марксизма в 1980–1990-е гг. развивается мысль Валлерстайна. Она абсолютно противоположна горцевской. Если, по Горцу, пролетариат исчезает, то Валлерстайн, анализируя ту же ситуацию, утверждает, что ничего, кроме пролетариата, не остается. Он рассматривает весь процесс глобализации капитализма как процесс пролетаризации.

По Валлерстайну, пролетариата нет, есть лишь процесс пролетаризации. Есть социальные группы или отдельные индивидуумы, которые в той или иной степени пролетаризированы, одни больше, другие меньше. Все они в какой-то степени вовлечены в этот процесс. Бросается в глаза, что Горц и Валлерстайн приписывают один и тот же процесс, но с двух разных сторон. Если Горц подчеркивает депролетаризацию масс, то Валлерстайн, наоборот, — пролетаризацию. Но оба они спотыкаются, когда необходимо давать позитивный ответ на вопрос о том, какова природа новых общественных и производственных нужд, сформировавшихся на протяжении XX в. И тут начинается, на мой взгляд, наиболее интересная дискуссия.

Очередное наступление на марксистскую социологию было предпринято во второй половине 1990-х гг., причем не только со стороны либеральных социологов (например, Дж. Рифкинд с его концепцией «конца труда»), но со стороны и некоторых левых авторов, ранее придерживавшихся марксистских взглядов (Стенли Ароновиц). Суть их позиции состояла в том, что автор «Капитала» вполне правильно описывал индустриальное общество, однако в постиндустриальную эпоху его идеи безнадежно устарели. Рабочий класс исчезает вместе с «фордизмом» (т. е. конвейерными технологиями), но хуже того, исчезает и труд в привычном смысле.

Разумеется, Рифкинд и Ароновиц могли апеллировать к сокращению числа лиц, занятых физическим трудом в США и Западной Европе. По их мнению, в скором времени все операции, требующие физической нагрузки, будут делаться машинами. Культура общества, построенная на культе труда, уходит в прошлое, на первом плане оказывается вопрос о распределении свободного времени. При этом Ароновиц отнюдь не был оптимистом, он предполагал, что в рамках капитализма подобный процесс приведет к тяжелым социальным и моральным последствиям, к массовой безработице и обесцениванию человеческой жизни.

В свою очередь, экономист Даг Хенвуд, издатель «Left Business Observer», напомнил, что подобный прогноз делался уже после изобретения паровой машины. Люди постоянно боялись быть вытесненными машинами. Но каждое новое поколение машин порождало новые рабочие специальности, связанные с управлением этими машинами и их обслуживанием. Причем на первом этапе внедрения новой техники занятость падала, возникала массовая безработица. На втором этапе занятость росла. Уже к концу 1990-х гг.

в США обнаружился дефицит традиционных рабочих специальностей. Выяснилось, что на фоне распространения компьютерных технологий не хватает слесарей, плотников, столяров и т. д.

Реальный процесс имел мало общего с тем, что описывали сторонники теории «конца труда». Но происходившие перемены действительно ставили перед марксистами целый ряд сложных вопросов. Во-первых, произошло резкое расслоение рабочего класса по уровню квалификации и заработка. Часть трудящихся, связанных с современным производством, оказалась хорошо материально обеспечена, встроена в общество потребления. Во-вторых, сложилась огромная масса работников, не имеющих зачастую ни квалификации, ни стабильного рабочего места. Это люди, занятые на множестве предприятий, начиная от сборки компьютеров (которая, как ни парадоксально, относится к числу технологически самых примитивных производств), заканчивая уборкой офисов и утилизацией мусора. Во многих случаях люди заняты неполный рабочий день и не на одном предприятии. Этот вид трудовых отношений стали обозначать французским словечком «precaire» (неопределенный, неустойчивый), соответственно представителей этого слоя — «прекариатом». Подобный разрыв крайне болезненно сказался на профсоюзах и в очередной раз показал, что механически организационными усилиями тут ничего не сделаешь.

Другой тенденцией стало географическое перемещение традиционных промышленных производств на Юг: в Китай, Южную Корею, Бразилию, Индонезию. Нет оснований утверждать, будто рабочие специальности исчезают на Западе. После резкого спада в середине 1990-х гг. ситуация стабилизировалась. Но теперь большая часть индустриального пролетариата оказалась в Азии.

В данном случае география имеет значение. В эпоху Маркса основная масса промышленных рабочих — представителей «опасного класса» — находилась в странах, составлявших «центр» капиталистической системы. Так продолжалось до начала 1970-х гг. Сейчас эксплуататоры и эксплуатируемые разделены морями и государственными границами. Значительная часть рабочего класса вытеснена на периферию. Эта ситуация во многом объясняет и уверенность, с которой буржуазия Западной Европы и США начала демонтаж социальных завоеваний трудящихся именно в наиболее развитых странах. Географическое перемещение промышленных рабочих мест и наступление на «социальное государство» взаимосвязаны. Вместе с кризисом профсоюзов на Западе развивался и кризис традиционных левых партий, опиравшихся на организованный рабочий класс.

Разумеется, компьютерные программисты или работники банков так же подвергаются эксплуатации, как и промышленные рабочие. Компьютерную программу превращают в товар, и с этого момента ее автор может так же приносить прибавочную стоимость хозяину компании, как и индустриальный рабочий. Проблема в том, что формы самоорганизации новых

пролетарских слоев оказываются иными, чем в случае промышленного пролетариата. Формы их сопротивления капитализму — тоже.

В конце 1990-х обнаружился раскол в среде так называемой «технологической элиты». После короткого периода эйфории, связанной с гигантскими возможностями информационных технологий, выяснилось, что в среде специалистов происходит стремительное расслоение. Лишь немногие становятся успешными предпринимателями подобно Биллу Гейтсу. Причем, как правило, наиболее талантливые и профессионально успешные специалисты ими как раз не становятся (быть капиталистом — совсем не то же самое, что быть компьютерным гением). Зато эксплуатация компьютерного гения может дать куда больше дохода, чем эксплуатация обычного рабочего. Сам эксплуатируемый, естественно, получает достойные средства для того, чтобы воспроизводить свою дорогую и ценную рабочую силу. Но его конфликт с системой вызван не столько материальным недостатком, сколько моральной неудовлетворенностью и несогласием с тем, кто и как принимает решения.

Технологическая элита начала переходить в оппозицию капиталу, претендуя на власть. Некоторые марксистские авторы (например, в России — Александр Тарасов) именно ее провозгласили истинным могильщиком капитализма. В любом случае у технологической элиты есть целый ряд претензий к системе, которые на данном этапе буржуазное общество удовлетворить не в состоянии. Политические конфликты, возникающие вокруг проблемы интеллектуальной собственности, являются тому отличным примером. Несмотря на все попытки защитить ее, право на интеллектуальную собственность нарушается повсеместно, и чем дальше — тем больше. Причиной тому, во-первых, современные технологии, все более облегчающие копирование любых материалов и доступ к любой информации, а во-вторых, сама природа интеллектуального продукта, который радикально отличается от материальной продукции, производимой промышленностью. При продаже пары обуви ее собственник теряет возможность использовать товар, который он уступил другому лицу, тогда как программу можно копировать снова и снова.

Логика капитализма вступает в прямое и неразрешимое противоречие с логикой информационных технологий. Внутри Интернета стихийно формируется коммунистический тип обмена, когда все принадлежит и доступно всем. Режим частной собственности лишь сдерживает потенциал, заложенный в технологиях XXI в. Что, кстати, в очередной раз подтверждает правоту тезиса Маркса о противоречии между производительными силами и производственными отношениями.

Вполне естественно, что «технологическая элита», порожденная информационной революцией, заинтересована в максимальном развитии новых возможностей, которые эта революция открывает. Очевидно, что на этой почве возникает конфликт с традиционной собственнической элитой,

основывающей свое влияние на контроле над капиталом и праве собственности. Популярность антиглобалистского движения и других левых идей среди представителей новых профессий, порожденных компьютерной революцией, говорит сама за себя. Другой вопрос, как далеко этот конфликт пойдет и насколько радикальной окажется новая оппозиция.

В любом случае «технологическая элита» не достигнет своих целей самостоятельно, без взаимодействия с традиционным рабочим движением, которое остается самой массовой антикапиталистической общественной силой.

Задача левой политики и идеологии состоит в формировании того, что Грамши назвал «историческим блоком», объединяющим вокруг общей социальной программы комплекс политических и классовых сил, которые способны выступить с совместным проектом и изменить систему.

3. Консолидация класса

Одни классы и социальные группы более консолидированы, другие менее. В реальном обществе есть промежуточные социальные образования, находящиеся как бы между классами. Все это постоянно меняется, идет процесс формирования и развития класса. Рабочий класс, как и буржуазия, трансформирует общество, но и сам трансформируется. В определенных ситуациях он начинает разлагаться. Технологические революции, например, каждый раз трансформируют мир труда, меняют природу наемного работника и социальную структуру общества. Превращение капитализма в глобальную систему создает совершенно новое явление, которое не может быть описано в старых категориях. Появляется так называемый неформальный сектор. Миллионы людей включены в рыночную экономику, но по особым правилам. Они не включены в формальные рыночные отношения, у них нет официально оформленного найма, хотя их труд эксплуатируют.

Природа неформального сектора в России не совсем такова, как в Индии или Латинской Америке. В России работник неформального сектора может иметь достаточно высокий уровень образования и параллельно работать в формальном секторе, получая мизерную зарплату. В 1990-е гг. было много людей очень высокой квалификации, которые работали совершенно не по специальности. Когда люди с высокой квалификацией выходят на рынок труда в секторе низкой квалификации, они наносят страшный ущерб тем, кто на этом рынке действует, потому что делают ту же работу лучше.

Классический неформальный сектор в Латинской Америке состоит из людей малообразованных, забитых, не имеющих доступа к другим формам труда. В России такую роль играют мигранты из стран «ближнего зарубежья», а отчасти и внутренние мигранты, приезжающие из провинции в Москву. Но они не только неформально работают (без контрактов, трудо-

вых книжек, налогов, страховки). Они часто еще и нелегально находятся на территории столицы, не имеют регистрации. Такие неформалы-нелегалы становятся важной частью рабочей силы и на Западе. Возникает ситуация, когда рынок труда расслаивается. Если пролетариат XIX в. становился с течением времени все более консолидированным и организованным, то с конца XX в. наблюдается обратный процесс.

Во многих периферийных обществах социальная структура как бы раздваивается. В конце 1970-х социологи говорили про «Бельгию в Индии». В одной стране как бы два общества, две буржуазии, два рабочих класса. Есть традиционное общество, где есть своя промышленность и люди работают на внутренний рынок. Они работают за гроши, продают свой товар на рынке людям, которые получают такие же гроши. Но рядом есть модернизированный сектор, напрямую включенный в мировую экономику, где люди живут по-другому и работают по-другому, и заработные платы у них уже сопоставимы с европейскими. Они включены уже не только в глобальное производство, но и в глобальную систему потребления, им нужны импортные товары. Бельгия в Индии имеет свой рабочий класс и свою буржуазию. Сейчас наблюдаем в России, на Украине, в Казахстане то же самое. Понятно, что социальные конфликты в двух частях общества идут как бы параллельно.

Произошла и этнокультурная трансформация рабочего класса. Что такое рабочий класс образца 1900 г.? Это белые мужчины, преимущественно христиане, очень редко евреи. Они составляют культурно однородную среду. В 1920-е гг. в Южной Африке происходит мощная забастовка, организованная англоязычными рабочими. Забастовщики очень радикальны, выходят на улицы под красными флагами. Дошло до того, что колониальные власти вынуждены были применять армию, включая авиацию, чтобы подавить эту забастовку. Одним из видов борьбы властей против забастовщиков стал массовый завоз черных рабочих из деревни для выполнения работы в шахтах. Это было первое массовое столкновение забастовщиков со штрейкбрехерами, в котором был элемент расово-этнического конфликта. В те дни белые рабочие-забастовщики шли по улицам с плакатами: «Рабочие мира, объединяйтесь, чтобы Южная Африка осталась белой». Это не просто проявление расизма, хотя расизм здесь, безусловно, имеет место. Просто у забастовщиков было свое представление о том, что такое рабочий. Он должен быть белый, мужчина, европеец, скорее всего англоязычный. Географически этот рабочий класс был сосредоточен в Европе, Северной Америке и нескольких южных странах — Австралии, Аргентине.

Глобализация сопровождалась переносом индустриальных производств на Юг. Сейчас больше всего рабочих в Латинской Америке, Китае, Южной и Восточной Азии, Южной Африке. В Европе, наоборот, рабочих стало меньше, они уступают по численности «белым воротничкам». Но зато «белые воротнички» подвергаются все более интенсивной эксплуатации,

понемногу осознавая себя новым пролетариатом. Другое дело, что у этой массы новых пролетариев есть свои культурные особенности. Людей, работающих у компьютера, зачастую нельзя объединить в профсоюз такими же способами, как конвейерных рабочих. Политическая активность нового пролетариата принимает иные формы. Старые партии и профсоюзы не всегда им подходят, а создавать новые «с нуля» дело трудное. Тем более что встает вопрос о том, как наладить взаимодействие и взаимопонимание между «новыми» и «старыми» силами, представляющими интересы разных отрядов наемных работников.

Современный рабочий класс совершенно другой. Белых заменили черные, китайцы, арабы, кто угодно. Причем не только китайцы и арабы в Алжире или Китае, а это могут быть китайцы и арабы в Англии и т. д. Огромная масса рабочих мест занята женщинами. Культура труда меняется. Психология взаимоотношений на производстве меняется.

Корпорации осознанно реорганизуют процесс труда таким образом, чтобы разобщить коллективы. Профсоюзы переживают кризис.

Рабочее движение должно вырабатывать новые формы социализации, чтобы класс стал однородным, но уже на другом уровне, по-другому. Объединить людей должны более глубокие общие интересы, а не внешние формальные проявления сходства. Это гораздо более сложный и тяжелый процесс.

Если вернуться к Южной Африке, то там через несколько поколений черный рабочий класс усвоил культуру белых рабочих. Принадлежность к черному большинству населения стала тождественна принадлежности к рабочему классу. Развилась культура профсоюзной организации. Раньше люди говорили на разных племенных языках, теперь и их объединил именно английский язык. Пролетарская английская культура стала своего рода плавильным котлом, который объединил массу представителей африканских народностей в нечто новое.

4. История и классовое сознание

Марксисты 1920-х гг., Лукач и Грамши, обратили внимание на то, что формирование идеологии и классового сознания само по себе является не просто проявлением каких-то глубинных процессов на уровне идей. Напротив, идеология и сознание класса являются мощнейшим фактором организации этой социальной массы. Они регулируют ее поведение, способствуют ее структурированию. В этом плане класс становится «классом для себя» в той мере, в которой он, выработав некоторую идеологию, начинает на этой основе строить свое поведение, отношения внутри себя и т. д.

Пролетариат не может уже поддерживать свое единство на основе идей и культуры начала XX в., он проходит период поиска себя и становле-

ния, который аналогичен тому, что наблюдали Маркс и Энгельс на 150 лет раньше в период становления раннего индустриального пролетариата. Когда старые символы, старые методы социализации теряют свою работоспособность, появляется необходимость в новой форме социализации. И здесь очень существенно, кто сможет осуществить гегемонию, сделать свои символы, свои представления о солидарности, о взаимодействии более широкими, общими.

Вот в этом плане английский и немецкий рабочие конца XIX в. до известной степени стали нормой для мирового пролетариата. В период глобального капитализма мир наемного труда стал социально гораздо более плюралистическим. Но у него все равно много общих ценностей и интересов.

Маркс исходил из того, что рабочий класс является большинством общества и, следовательно, наиболее заинтересован в демократии. Он может только выиграть, подорвав власть элит, обеспечив максимально справедливое распределение материальных благ. Совместима ли демократия с социализмом? Для Маркса не существует этой проблемы. Для него это тождественные вещи, поскольку социализм на уровне экономики выражает приход к власти большинства общества. Но Ленин, живущий в условиях периферийного капитализма, уже прекрасно понимает, что рабочий класс может являться меньшинством. Причем от этого он не становится менее влиятелен или радикален.

Именно малочисленность русского промышленного пролетариата очень многое объясняет в большевизме и, кстати говоря, в меньшевизме тоже. Рабочий класс в России — не просто меньшинство, но в некотором роде и элита. Это меньшинство, которое обречено оставаться меньшинством, потому что данный тип капитализма, в отличие от западного, не может успешно реализовать индустриализацию, модернизацию. И у Ленина, и у Мартова рабочий класс, являющийся меньшинством, одновременно считается как бы лучшей частью трудящихся.

Пролетариат является классом, который способен преобразовать общество. Но представление о революционности рабочего класса или о его миссии по отношению ко всем остальным трудящимся (прежде всего по отношению к массе мелкой буржуазии) подтверждено повседневным опытом. Индустриальные рабочие лучше организованы. Они лучше обучены, они грамотнее. У них совершенно другие затраты на воспроизводство рабочей силы. Они живут в городских квартирах. Им нужно учиться, ходить в кинематограф, который только появляется, они не только пьют в кабаках, но нередко еще и читают книги. У рабочего есть культурные потребности, которых, как правило, нет у крестьян. Рабочий день ограничен (в деревне то страда от рассвета до заката, то целые дни изнурительного безделья). Отношение к свободному времени другое. На крестьянина можно смотреть свысока.

Пролетарий — меньшинство передовое. Почему бы ему и не осознать свое избранничество? Это мессианское начало, которое невозможно не ви-

деть в большевизме, в русской революции, органично вытекает из реального положения вещей в России и в других периферийных странах начала XX в. Это избранничество есть и в меньшевизме, и в большевизме, только понимается по-разному. В меньшевизме это воспринимается как просветительство. Меншевик собирается распространять в дикой стране западное просвещение, объяснять другим — что нужно и что нельзя делать. Избранничество большевистское более агрессивно. Это своего рода джихад, социальный джихад.

Избранный класс, заменитель избранного народа, должен повести за собой массу и преобразовать общество в соответствии со своими представлениями о том, как оно должно функционировать по справедливости, сделать всех похожими на себя.

Идея избранного народа пришла из иудаизма, но в иудаизме нет желания сделать других похожими на себя. Как раз наоборот, избранный народ боится раствориться в мире. У мусульман и христиан появляется идея распространения веры, знания.

Разумеется, Ленину или Троцкому было абсолютно чуждо представление о большевизме как своего рода социальном джихаде. Но революцию делали не только вожди и интеллектуалы, но и массы. А у масс такие представления были. И большевизм именно потому стал великим историческим движением, что был несводим к идеям нескольких передовых мыслителей, он отражал реальные настроения, стремления и иллюзии масс.

В основе большевистского социального джихада лежат на самом деле европейские просветительские идеи. Все-таки это европейская культура. Несколько иная картина получится, если мы посмотрим на китайскую революцию, на то, как марксизм преломляется в мышлении Мао Цзэдуна. Попробовав действовать по-большевистски в Шанхае, китайские коммунисты потерпели поражение. Троцкий объяснял эту неудачу неверными инструкциями Коминтерна, но были и социальные причины. В Китае рабочий класс был в масштабах общества настолько мал, что осуществить свой революционный джихад он был не в состоянии. Русский рабочий класс был мал, элитарен, но все равно имел критическую массу, достаточную для победы революции. Он мог повести за собой широкие слои крестьянства, преобразовать страну, взять власть. Мао обнаруживает, что в Китае так не получится. Он приходит к выводу, что действовать нужно принципиально иначе. Рабочий класс должен не вести за собой деревню, а, наоборот, должен сам идти в деревню и слиться с деревенскими массами. Происходит возврат к народничеству, когда революционная сила воспринимается не просто как классовая, а как народная.

Когда Ленин говорит о блоке рабочих и крестьян, для него понятно, что этот блок не может быть равноправным. И дело не только в классовом различии между пролетарским городом и мелкобуржуазной деревней, но и в том, что существует культурный разрыв между рабочими и крестьянами. Этот раз-

рыв настолько велик, что крестьянину остается только идти за рабочими. Ленин писал об этом вполне откровенно, даже с некоторой болью.

Мао рассуждает иначе. Деревня и город должны объединиться, взаимообогащать друг друга культурно. Китайские коммунисты уходят из городов в деревню. Начинается Великий Поход, когда коммунисты и их вооруженные формирования уходят в глубинку. И уже там, в глубинке, в Особом Районе Китая, на основе крестьянской общины начинают формировать элементы нового общества. Городской и сельский пролетариат, народная и общинная традиция — все это начинает вариться в едином котле и объединяться в новую форму общественной организации.

Лишь затем, как планировал Мао, деревня окружает города. Революция в 1948–1949 гг. приходит не из города в деревню, как в России, а из деревни в город.

Можно сказать, что представление о пролетариате как о чисто городском классе было опровергнуто социальным опытом XX в., особенно в странах Азии. Но с другой стороны, классические формы пролетарской организации все же выработаны были в Европе. И перспективы освободительной борьбы в очень большой степени зависят от того, насколько в нее будут вовлечены не только самая бедная часть трудящихся, но и самая передовая в технологическом смысле. А это все же квалифицированные работники наиболее развитых отраслей промышленности, точно так же, как представители научного и инженерно-технического пролетариата.

5. От класса к партии

Формы социальной, политической и культурной организации класса не являются просто механическим результатом общественного разделения труда. Совершенно понятно поэтому, что для марксистской и вообще левой традиции одним из ключевых вопросов было становление политической организации. Ведь партии и профсоюзы не только отражают «объективно существующие» классовые интересы, но до известной степени и формируют класс.

К профсоюзам у марксистов всегда было отношение достаточно двойственное. Профсоюзы воспринимались как необходимый элемент организации рабочих, без которого невозможно достичь соответствующего уровня классового сознания. Но в то же время всегда подчеркивалось, что политические интересы класса выразить может только партия, так что для многих авторов профсоюзы воспринимались как своего рода «второй сорт», более низкая ступень организации.

Между тем профсоюзы нужны не только для защиты экономических прав рабочих, но и для их социализации как класса. Даже социологи, ориентированные на предпринимательскую культуру, подчеркивают, что уро-

вень трудовой дисциплины и способность к эффективному трудовому взаимодействию выше у работников, организованных в профсоюзы. Иными словами, они хоть и стоят дороже, но и работают лучше. Причем их работоспособность прямо пропорциональна их самоуважению, готовности постоять за себя. Профсоюз в рамках капитализма не только организует экономическую борьбу, но и способствует повышению качества рабочей силы. Поэтому в рамках капитализма вполне органически выстраиваются социал-демократические модели трехстороннего партнерства (государство — предприниматели — профсоюзы). Для того чтобы система партнерства функционировала, нужна самостоятельная организация трудящихся. Если она не будет независима от предпринимателя, это будет не партнерство, а система приводных ремней по советскому образцу, только, в отличие от советской модели, ничего не гарантирующая трудящимся. Так, собственно, и получилось с официальными профсоюзами в России после реставрации капитализма.

Однако, даже если значение профсоюзов в марксистской традиции порой недооценивалось, нельзя отрицать, что центральное место, которое отводилось партии, было оправдано. Политическая организация считается наиболее высокой формой организации класса и высшим проявлением классовой самостоятельности.

Поскольку социалистическое движение формировалась как радикальное крыло демократического, то вопрос о вовлечении масс в политику был доминирующим мотивом политической теории и практики. Первые массовые политические партии, в современном смысле слова, не случайно были именно левыми партиями. Левые начинают с того, что отказываются от буржуазного видения партии как соединения парламентской фракции и избирательной машины. Как только выборы закончились, машина становится ненужной. Во многих случаях даже избирательная машина постоянно не функционирует, она собирается и тут же разбирается, потому что ее невыгодно поддерживать в промежутке между выборами. Дорого и неэффективно. Зачем избирательные штабы, когда нет выборов? Именно отсюда в России появляется профессия политтехнолога, который существует сам по себе, не несет никакой идеологической ответственности, просто нанимается работать к кандидатам и партиям на выборы. Это воплощение буржуазного подхода к политике. Пролетарский или левый политтехнолог — это противоречие в определении. Левые партии создаются не для выборов, а для организации классовой борьбы. А она не прекращается в промежутке между избирательными кампаниями.

Левые противопоставили буржуазии собственную культуру, свое представление о политической партии. Партия демократического социализма в Германии пишет на своих плакатах, что она существует не для выборов, это партия на каждый день. Не факт, что данная формулировка полностью соответствует действительности, но принципам левой идеологии она соответствует точно.

Партия вырабатывает идеологию класса, выдвигает и контролирует его лидеров, является даже формой общения внутри пролетариата. И в том числе, между прочим, занимается избирательной работой. Ее избирательная работа строится на том, что люди себя и так идентифицируют с этой партией, являются ее членами и активистами, они каждый день сталкиваются с присутствием партии на предприятии, в профсоюзе. В силу этого они и голосуют за свою партию. Избирательная кампания имеет наименьшее значение. Это просто способ мобилизовать своих сторонников. А завоевывают (и теряют) сторонников не на выборах.

Секрет успеха в массовости. Рабочие партии, как правило, имели очень мало денег. Они не могли себе позволить дорогостоящих избирательных машин. Их ответом было формирование массового движения, где люди сами себя организовывали. Но понятно, что отсюда следует глубоко укорененная марксистская традиция — критика парламентской политической культуры.

Исторически левые предложили две альтернативы парламентской политике: массовые внепарламентские движения и авангардную партию. Однако обе эти концепции оформились лишь в начале XX в., когда стало ясно, что социал-демократические организации, созданные рабочими для политического противостояния с буржуазией, становятся все менее эффективными.

Первоначально социал-демократические партии были неотделимы от повседневной жизни класса. Партийные собрания проходили в пабах и пивных, где собирались рабочие после смены, в созданных скандинавскими социал-демократами народных домах рабочие семьи проводили свой досуг и одновременно обсуждали политические вопросы. Лидеры партий были доступными, дискуссии открытыми. Однако по мере нарастания успеха социал-демократии в ней начала происходить бюрократизация. Выделилось ядро профессиональных партийных политиков, организаторов, бюрократов. Была построена политическая машина, несколько другого типа, чем политическая машина старых парламентских партий, но все же весьма далекая от повседневной жизни трудящихся. Эта политическая машина ставит своей задачей уже не просто проведение выборов, а управление массами или налаживание жизни масс. Ее задачи включают в себя политическое просвещение, подготовку и отбор кадров, продвижение этих кадров в рамках многопартийной системы. И разумеется, проведение выборов, парламентскую работу.

Парламентаризм — это естественная, нормальная часть представительной демократии. Если участвовать в демократической политике — значит, надо овладевать парламентской культурой. Это, кстати, очень жестко сформулировал Ленин в «Детской болезни левизны в коммунизме», отвечая своим западным сторонникам, которые видели в подобной деятельности нечто греховное, недостойное настоящего коммуниста. Но парламентаризм действительно имеет в себе нечто разлагающее, коррумпирующее. Он и в самом деле трудно совместим с серьезным, а не показным радикализмом. С парламентской трибуны, конечно, можно выступить с пламенными ре-

чами. Но эти пламенные речи существуют отдельно от массового движения, эти речи, обратите внимание, обращены не к массам (даже если массы прочитают их потом в газете), а к аудитории, которая совершенно не похожа на простых трудящихся и живет по совершенно другим законам. Вы либо устраиваете представление для прессы, либо ставите перед собой задачу убедить в своей правоте ваших коллег-парламентариев, которые далеко не являются вашими единомышленниками.

Превращать парламент в цирк, как это делает Владимир Вольфович Жириновский, может только человек, глубоко презирающий своих избирателей и демократию вообще. Депутат, представляющий рабочих, должен доказать, что ничем не хуже буржуазных парламентариев. К тому же, он должен способствовать решению практических вопросов своих избирателей. Короче, он должен быть эффективен. Ему приходится идти на компромиссы, договариваться с представителями других партий. Короче, он понемногу проникается духом буржуазного парламентаризма. И чем более эффективно в интересах трудящихся он работает, тем больше он этим духом проникается.

Это естественный, как сказали бы христиане, соблазн или искушение парламентской системы, с которым сталкивается любой депутат независимо от своих политических воззрений. Вы находитесь в некоем коллективе и, хотите вы этого или нет, становитесь частью этого коллектива. Вам приходится общаться с людьми, с которыми, может быть, при других обстоятельствах вы не общались бы. Это система, которая культивирует определенный тип коррупции. Парламентаризм очень легко критиковать, но надо помнить, что критика парламентаризма очень легко уходит в апологию популизма, авторитаризма и т. д. То есть культивирует что-то прямо противоположное идеалам демократии.

Левое крыло рабочего движения почувствовало, что парламентский социализм чреват серьезными проблемами для социал-демократии. Ее лидеры становились все более умеренными, все более буржуазными. В партиях торжествовал бюрократический централизм.

Ленин пытался противопоставлять вырождению социал-демократии новую модель авангардной партии. Ответ Ленина порожден специфическими условиями России, но не случайно, что идея авангардной партии получила распространение и в других странах.

6. Интеллигенция и революция

Мы уже говорили про своеобразную элитарность русского пролетариата начала XX в., некое мессианское начало, свойственное его культуре. Оценивая перспективы рабочей организации, Ленин особую роль отвел передовой интеллигенции. Эта передовая интеллигенция привносит в про-

летарскую среду марксистскую идеологию. Здесь Ленин выступает последовательным продолжателем традиций европейского просвещения (а большевистская партия явно опирается на традиции французских якобинцев).

Другое дело, что взгляды, изложенные Лениным в книге «Что делать?», вряд ли совпадают с представлениями самого Маркса. Автор «Капитала» отнюдь не приуменьшал значение интеллигенции, но не склонен был и преувеличивать его. Теоретик скорее просто помогает людям разобраться, нежели ведет их. С точки зрения Ленина, напротив, передовая интеллигенция возглавляет рабочий класс, формулирует его задачи. Рабочий настолько замучен повседневностью и тяжелым трудом, что просто не имеет времени и сил во всем разобраться. Для Маркса интеллигент — помощник, советчик, помогающий устранить разруху в мозгах. Для Ленина — вождь. Впрочем, помощники тоже часто становятся вождями.

Ленин обнаружил разрыв между социал-демократической партийной элитой и массой, которая оказалась не способна контролировать эту постоянно сдвигающуюся вправо, погрязшую в парламентаризме верхушку. Сделанный им вывод соответствовал его любимой поговорке «лучше меньше, да лучше». Иными словами, пусть партия будет небольшой, но обладающей высоким теоретическим и политическим уровнем. Авангардная партия значит, что элитой становится вся партия. Так возникает идея создать организацию профессиональных революционеров. Что это такое? Это организация лучших. В ней каждый член имеет такой высокий уровень политической подготовки, что всегда способен судить о действиях любого лидера и способен заменить любого лидера собой. Это, между прочим, и организация интеллигентов — не в западном понимании «интеллектуалов» как специалистов с высшим образованием, а в русском понимании, как людей, обладающих определенной культурой. По жизни эти люди могут быть рабочими, но по сути — интеллигентами. Эта интеллигенция вносит классовое сознание в отсталые массы. Так написал Ленин в работе «Что делать?».

Любой лидер в такой организации должен знать, что его можно заменить другим. (Кстати говоря, это несколько иным способом, чем предполагал Ленин, было доказано во время чисток.) В эпоху раннего большевизма все построено на чувстве товарищества и единства, когда люди могут друг друга поливать грязью во время дискуссии, а на следующий день они пойдут вместе, сознавая себя участниками одного коллектива. Эта принадлежность к коллективу культивировалась вплоть до знаменитой фразы Бухарина: «права или не права, но это моя партия».

Про ленинскую концепцию партии написано много томов как за нее, так и против. При этом, однако, обычно упускается из вида одно обстоятельство. На практике Ленин и в чистом виде свою идею так и не смог реализовать. Задним числом историю партии изучали, чтобы показать, как Ленин ее строил. Но если отвлечься на мгновение от событий 1917 г., то обнаруживается, что вся история ленинского партийного строительства — сплошные

неудачи. Он постоянно проигрывал меньшевикам, партия фактически распалась к началу Первой мировой войны, в апреле 1917 г., когда Ленин вернулся из эмиграции, большевиков было не только мало (это еще полбеды), но они были разобщены и дезориентированы. Только поздней весной 1917 г. начинается бурный рост, вызванный не достоинствами партии, а радикальной позицией, занятой Лениным и присоединившимся к нему в последний момент Троцким. И рост этот происходит отнюдь не за счет выращивания профессиональных революционеров. Ленин сам потом постоянно жаловался, что кадры — не те. А затем большевики становятся уже правящей партией, это уже совсем другая песня. И опять же Ленин жалуется, что к партии примыкает такая публика, которую по-хорошему надо не продвигать, а расстреливать.

Короче, мы видим грандиозный успех Ленина как политика (выигравшего именно благодаря своей принципиальности), видим его успех как тактика, видим, наконец, бурный подъем революции, вынесший наверх Ленина, Троцкого, а заодно Сталина, Бухарина, Зиновьева. Но говорить об успешном строительстве партии как раз не приходится.

С чисто теоретической точки зрения концепция авангардной партии, безусловно, привлекательна, и политический успех большевиков заслонил первоначальные неудачи Ленина. Поэтому модель стала тиражироваться. Причем обнаружилось, что дееспособность такой организации зависит от ее размера. Она не может быть ни слишком маленькой, ни слишком большой. Ленинская концепция партий хорошо работает в организации, которая достаточно велика, чтобы не стать сектой, и достаточно мала, чтобы сохранять свою элитарную природу. Элитарный коллектив мало нуждается в формальных демократических процедурах. Все и так неформально общаются, понимают друг друга, доверяют друг другу. Детализированные демократические процедуры, в общем-то, являются тут излишними, даже затрудняющими взаимодействие. На уровне интуитивного общения люди добиваются большего. Но как только вы уходите от этого «среднего» формата, вы либо получаете секту, где культивируется чувство товарищества, единства уже в ущерб политической деятельности, в ущерб контактам с теми, кто оказался вне вашей среды (самоподдержание становится главной целью коллектива), либо авангардная партия начинает быстро вырождаться в партию тоталитарного типа.

Поддерживать первоначальный уровень элитарности, теоретического образования уже не удастся, потому что слишком много людей. Ленин после 1917 г. постоянно жалуется: уровень падает. Не может быть элитарной организации, где состоит 200–300 тысяч человек, не говоря уже о миллионах людей. Качество кадров стремительно снижается. Старые элитарные кадры начинают формировать под себя массовые кадры. Эти массовые кадры имеют уже совершенно другой уровень политического образования, опыта. Так возникает знаменитое деление на «старых большевиков» (настоя-

ших, соответствующих требованиям ленинской авангардной партии, и всех остальных). Авангардная партия именно в силу своих успехов в 1917–1918 гг. приходит к саморазрушению. Чем более она успешна, тем больше людей туда вступает. Тем менее она способна быть авангардом.

В «Письме к съезду», своем политическом завещании. Ленин призывает: остановите хоть ненадолго прием новых членов в партию. Дайте подтянуться тем, кто уже вступил, перестаньте размывать революционные кадры новичками. Обычно «Письмо к съезду» вспоминают в связи с критикой Сталина и нелицеприятными оценками, которые Ленин дал всем остальным своим товарищам, включая, кстати, и Троцкого. Но главная мысль была совершенно в другом. Все качества этих людей — хорошие и плохие — будут играть роковую роль именно в том случае, если партия переродится. К этому все идет, это надо предотвратить. Между тем после смерти вождя его ученики поступили с точностью до наоборот. Зиновьев и Каменев, которые в тот момент вместе со Сталиным контролировали ситуацию, объявили «ленинский призыв» в партию, резко увеличив число новичков и окончательно поставив крест на первоначальном «авангардном» проекте.

Поскольку механизмы формальной демократии предельно ослаблены, а уровень кадрового отбора резко понижен, начинается манипулирование массами. Карьеризм становится одним из главных стимулов (причем не надо думать, будто это исключает идейные мотивы, одно с другим нередко сочетается).

Возникает ситуация, когда не нужна старая гвардия как таковая, нужен один представитель идейной традиции, наследник Ленина, который просто в силу этого (и в силу огромного разрыва между своим уровнем и уровнем массы) способен всех строить и вести. Этим вождем становится товарищ Сталин. Хотя на эту роль претендовали и другие, прежде всего Зиновьев. Троцкий, наоборот, то пытался объединить вокруг себя остатки старой гвардии, чтобы вместе защищаться от масс новичков, то, как ни странно, пытался построить новичков, опереться на молодежь, чтобы противопоставить их бюрократическому аппарату. Молодые люди, не прошедшие через школу революционной борьбы, не могли быть для него надежной опорой, а старая гвардия проигрывала просто по численности. Стремление Троцкого как бы противопоставить революционный большевистский демократизм сталинскому манипулированию наталкивается на противоречия его собственных политических установок. Партия нового типа превращается в бюрократический организм. Система предельно удобна в управлении. Идеология, которая раньше ставилась во главу угла, оказывается полностью подчинена задачам текущей политики. Сначала аппарат строит культ личности Сталина и стирает в лагерную пыль его врагов. Потом тот же аппарат разоблачает культ личности Сталина и проводит реабилитацию его жертв. В конечном итоге этот же аппарат, полностью осознав свои специфические интересы, пройдя закономерную эволюцию, играет решающую роль в реставрации капитализма.

История партии заканчивается. Можно сказать, что то, что получилось, — прямая противоположность изначальной ленинской концепции.

Альтернативной ленинскому подходу была теория стихийности (спонтанности), выдвинутая Розой Люксембург. Великая революционерка не слишком верит в партию. Она симпатизирует Ленину как политику, однако не разделяет его партийный проект. Она глубоко убеждена, что партия нужна, но ничего хорошего от нее не будет. Это в лучшем случае необходимое зло. Главный вопрос в том, как свести к минимуму это необходимое зло. Роза Люксембург понимает, что нужны парламенты, но там будут заседать неправильные люди, которые насквозь пронизаны оппортунизмом. И никуда от этого не денешься. Надо найти способ показать, чего в самом деле хотят массы. И этот способ — спонтанное рабочее движение. Прежде всего стачечное движение.

Через организацию стачек, забастовочных комитетов рабочие получают возможность стихийно формулировать свои требования, действовать, не оглядываясь на всевозможные бюрократические аппараты и различных вождей, идеологов, начальников. Стихийное действие не просто способ борьбы с буржуазией, но и способ освободиться от рабочей бюрократии, партийного аппарата, политической элиты. Поставить этих людей на место, чтобы они хоть немножко отражали требования масс в своей деятельности.

При всей убедительности антибюрократического пафоса Розы Люксембург в ее рассуждениях есть свои слабые места. Ведь спонтанное движение то поднимается, то спадает. Рабочая бюрократия возникает не случайно. Надо иметь постоянно действующую организацию, дееспособность которой не зависит от взлетов и подъемов массового движения. В противном случае придется каждый раз начинать с нуля.

Как быть с бюрократией в период спада движения, не вполне понятно. И если это движение, находясь на подъеме, направлено против своей собственной политической элиты, то встает вопрос об эффективности движения. Когда у масс нет взаимодействия с собственным аппаратом, с собственной элитой, парламентариями, это сводит эффективность к минимуму. Примерно в таком состоянии дискуссия замерла к 1920-м гг. Умерли все ведущие теоретики. Убили Розу Люксембург, умер Ленин. Троцкий полностью поглощен текущей борьбой, которую он по всем статьям проигрывает. А Сталин не склонен продолжать обсуждение: оппонентов просто не осталось.

Дискуссия резко оживилась в 1960-е гг., когда «новые левые» практически заново открыли спонтанность. Только теперь спонтанное движение ассоциировалось не с пролетарско-индустриальными стачечными выступлениями, а со студенческими протестами. Своего рода неопролетарская или постпролетарская стихийность. Вскоре последовала еще более жесткая критика партийной организации со стороны так называемых «новых социальных движений». Первый аспект критики был чисто организационный. В отличие от Розы Люксембург, которая видела в партиях необходимое зло, идеологи

«новых социальных движений», вышедшие на первый план после поражения «новых левых», вообще ничего позитивного в партиях не видели. Любая политическая организация партийного типа есть сплошное зло, бюрократизм, оппортунизм, потенциальный тоталитаризм. Нужны только массовые движения по возможности неформальные, стихийные. Они будут навязывать свою повестку дня элитам и тем самым изменять общество.

Другой аспект идеологии «новых социальных движений», точнее, ее более правая версия — это представление о том, что главным недостатком партий была их опора на рабочий класс. Подобные идеи хорошо выражены в работах Шанталь Муфф и Эрнеста Лакло (так называемое постмарксистское направление). Новые социальные движения говорят, что все социальные группы, все «идентичности» равнозначны и равноценны в социальном плане. Будь то профсоюз, феминистский клуб, движение за этнические права, экологическое движение или союз борьбы за права гомосексуалистов. Никакой иерархии не должно быть, все должны быть равноценны, а коалиция движений должна оформиться или на основе абсолютного демократического консенсуса, или в худшем случае компромисса. Короче, все движения нужны, все движения важны.

В этическом плане тут поспорить трудно. А вот с точки зрения политической или социологической... Тут возникают большие вопросы.

Только на картинке можно нарисовать идиллически пестрый мир новых социальных движений. Понятно, что постмодернистская критика марксизма имеет свои сильные стороны. Классический марксизм недооценивал целый ряд форм социальной организации, которые возникли помимо общественного разделения труда, помимо производства. Все, что формировалось вне производства, марксизм воспринимал как второстепенное и, соответственно, несущественное. Но оттого, что нечто является вторичным в происхождении, не следует, что вторичное обязательно малозначительно или второстепенно. В плане повседневной жизни эти стороны общественного бытия могут выходить на первый план. Разбираться со всем этим как раз и есть задача политика. Искать компромиссы, совмещать главное со второстепенным и т. д.

В капиталистической системе (как и во всякой системе) далеко не все элементы равнозначны и равноценны. Поэтому в смысле долгосрочного воздействия на систему далеко не все общественные движения равноценны. Они имеют дело с второстепенными, частными проблемами, которые можно решить ко всеобщему удовольствию, причем для большинства членов общества от этого ровно ничего не изменится. Хуже того, частные требования одних групп правящий класс скорее всего постарается удовлетворить за счет других, еще более обездоленных и менее способных постоять за себя. Это не значит, что мы должны на этическом уровне отказаться от равенства. Вопрос о правах женщин ничуть не меньше заслуживает внимания, чем вопрос о правах рабочих. Но стратегически все же

необходимо выделять главные, ключевые вопросы. Армия, которая не может определить направление главного удара и сосредоточить на нем свои силы, неизбежно терпит поражение.

Сказать, что судьба Второй мировой войны решалась под Сталинградом, — отнюдь не значит недооценивать героизм шотландцев или англичан, которые в те же дни сражались в битве под Эль-Аламейном. Но все-таки решался исход войны под Сталинградом. В политике то же самое.

Идеологи новых социальных движений фактически отказались от такого понятия, как стратегия. Никакой системы приоритетов, никакой логики невозможно сформулировать, потому что все равнозначно. Вторая слабость новых социальных движений, которая выяснилась довольно быстро, состоит в том, что они оказались зачастую не менее, а более авторитарны, чем старые политические партии. Движения внешне выглядят очень демократично. Но особенность движения состоит в слабом структурировании. Чем меньше бюрократии, тем меньше структуры. Но чем меньше структуры, тем меньше правил, в том числе и правил демократических. Демократия — это не в последнюю очередь процедуры. А процедура невозможна там, где нет формальной структуры. Это нечто противоположное стихийности. Поэтому в движении сильна роль сиюминутных лидеров, тех, кто руководит, поднявшись на волне протеста, находится в непосредственном эмоциональном контакте с массой. Но этот контакт может сойти на нет. Движение идет на спад, а лидеры остаются.

Показательна история немецкой партии «зеленых». В соответствии с логикой неформальной демократии она на ранних этапах своего развития решила ротировать своих парламентских лидеров. Но лидеры не захотели покидать свои посты. Больше того, когда начали ротировать лидеров, обнаружилось, что компетентность руководящего звена от этого падает. Только люди начинают что-то понимать, чему-то научиться, как их ротировают. Приходят новые, которые, конечно, имеют связь с массами, но ничего не понимают в своей деятельности. Через некоторое время все равно начинается политическая коррупция, причем даже быстрее, чем в традиционных партиях. Потому что процедура текущего контроля как раз отсутствует. Если связь с массами утеряна, значит, дело проиграно. А как контролировать людей, которые по своему положению просто не могут находиться в непосредственной связи с массами, об этом никто не подумал. Ведь для того и создаются политические партии с их достоинствами и недостатками, чтобы решать эту проблему. Отказаться от партийных структур — значит оставить эту проблему принципиально неразрешимой.

Показательно, что, когда, осознав это, новые социальные движения начинают образовывать партии, они воспроизводят все недостатки бюрократических структур без каких-либо достоинств. Люди, воспитанные на культуре стихийности, оказываются не готовы к созданию формальной демократической структуры.

Следующим этапом вырождения новых социальных движений было формирование неправительственных организаций. Фактически уже движения нет. Есть специализированные группы, которые выполняют функцию движения, заменяют его. Раньше в период спада движения роль постоянно работающей организации выполняла партия. Но новые социальные движения от партий отказались, осудили их. Вместо партий появляются специализированные неправительственные организации.

Разница между ними и партиями не только в степени специализации (партия занимается всем, а эти организации — только правами какого-то конкретного национального меньшинства, только экологией, только вопросом о рабочих-мигрантах и т. д.). Не менее важно то, что партии представляют собой структуру с демократической отчетностью, а неправительственные организации — нет. В лучшем случае они отчитываются за истраченные деньги. Никакого демократического контроля, никакой ответственности перед рядовыми членами нет. Неправительственные организации могут существовать в абсолютно авторитарном режиме.

Одно дело — забастовочный комитет, который стихийно возник во время митинга. Там люди не задумываются о том, что им семьёю нужно будет кормить через два дня. Важно то, что происходит сейчас. Другое дело, когда это все продолжается месяц, два, год. Надо обеспечить достойную оплату труда квалифицированному специалисту, выдвинутому заменить пришедшее в упадок массовое движение. В отличие от старых политических партий и профсоюзов здесь нет отчетности перед рядовыми членами организации, нет членских взносов, организация становится зависимой прежде всего от внешних спонсоров. А внешние спонсоры могут и не разделять цели движения.

Сегодня мы видим, что, например, экологическое движение более или менее накормлено, обеспечено квалифицированными кадрами. А с другой стороны, у загрязнителей окружающей среды тоже все в порядке. Часть денег, которые они получили за счет уничтожения природы, идут на поддержку экологических программ. Корпорации получают моральное право продолжать загрязнение.

Новые социальные движения, «зеленые» партии к концу 1980-х пришли к явному кризису. Они воспроизвели все проблемы, присущие партиям, но на более низком уровне социальной эффективности.

7. Партии новой волны

Начиная с середины 1980-х гг. можно говорить о появлении так называемых партий новой волны. Первой из них была Партия трудящихся в Бразилии. Там во время военной диктатуры были разгромлены все старые левые организации и появилась, по существу, возможность начать с нуля.

Таким новым проектом стала Партия трудящихся. Во главе ее встал Игнасио Лула да Силва, который был тогда одним из самых популярных рабочих лидеров. Профсоюзный деятель, оратор, он сделался впоследствии весьма уважаемым политиком и в конце концов президентом.

На первых порах ПТ осознанно стремилась избежать ловушек как авангардизма, так и парламентаризма, свести к необходимому минимуму роль профессионализованной политической элиты. В основе партии лежал некоторый дуализм. Партия отвечает не только перед своими членами, но и перед массовыми движениями — профсоюзами, движением безземельных крестьян и т. д. Все эти движения не находятся под руководством партии, а наоборот, могут призвать партию к ответу. Их лидеры вступают в ПТ, чтобы через нее проводить свою линию, они отвечают перед массами своих сторонников, которые могут в партии и не состоять. Получалось, что партия должна постоянно бороться сама с собой.

Вполне в духе Розы Люксембург партия самими ее основателями воспринималась как некое необходимое зло. С самого начала предполагалось, что бюрократия должна сама себя ставить под контроль масс, умерять свои амбиции. Для этого было создано два механизма. Первый — это механизм внутреннего плюрализма. Не только допускалось существование различных платформ, фракций и т. д., но и до известной степени это культивировалось. Существовали многочисленные группировки, ведущие внутреннюю дискуссию. Это борьба, она должна создать систему сдержек и противовесов. Партийная верхушка должна была находиться под постоянным огнем критики из собственных рядов. С другой стороны, партия формировалась как нечто неразделимое с новыми социальными движениями, с массовыми народными организациями, профсоюзами.

На ранних этапах истории ПТ была типична ситуация, что мэр города, принадлежащий к Партии трудящихся, сталкивался с демонстрациями протеста, организованными этой же партией. Мэр должен был выходить, объясняться, выслушивать критику. Такой постоянный диалог и конфронтация внутри движения были направлены на то, чтобы не допустить политической коррупции.

Многие западные марксисты в середине 1990-х гг. склонны были рассматривать ПТ как новую модель партии, которая смогла совместить демократизм с эффективностью, снять противоречие между организацией и спонтанностью. Увы, когда в начале 2000-х гг. ПТ пришла к власти в Бразилии, ее поклонников ждало жесточайшее разочарование. Лидеры партии, возглавившие правительство, оказались заурядными оппортунистами, ничем не отличающимися от буржуазных политиков. Членов ПТ, выступавших против политики президента Лулы, исключали. Многие активисты вышли из партии сами. Причем нельзя сказать, что правительство ПТ было плохим. Оно просто было насквозь буржуазным по своей политике.

В Германии и Италии на развалинах коммунистического движения были созданы Партия демократического социализма и *Rifondazione Comunista* (Партия коммунистического возрождения). Обе партии представляли собой организации, с одной стороны, идеологические, основывающиеся на марксистской традиции, а с другой стороны, плюралистические. Старая Итальянская коммунистическая партия преобразовалась в социал-демократию, а те, кто не хотел отказываться от своих убеждений и традиций, решили создать коммунистическую партию заново.

Особенностью этих партий стал постоянный внутренний диалог, открытая дискуссия, которая позволяет очень хорошо выявить проблемы организации. Но опять же, когда ПДС вошла в земельное правительство Берлина, обнаружилось, что ни избиратели, ни активисты контролировать своих политиков не могут. Работа ПДС в земельном правительстве обернулась публичной катастрофой, партия потеряла избирателей и не попала в 2002 г. в германский парламент. Ещё большей катастрофой оказалось участие *Rifondazione* в левоцентристской правительственной коалиции Романо Проди. Политика его правительства была по социально-экономическим вопросам даже более реакционной, чем политика предыдущих буржуазных кабинетов. Лидеры *Rifondazione* всё это поддерживали, ссылаясь на принцип меньшего зла — если не поддержать Проди, то к власти придут правые во главе с Сильвио Берлускони. Итог был закономерным: левоцентристы в глазах общества полностью себя дискредитировали, а к власти — и надолго — пришел Берлускони. Хотя, надо признать, что его политика не была столь откровенно антисоциальной, как у его левых предшественников, которые оказались в истории Италии рекорсменами по числу приватизаций. Не удивительно, что с такими результатами *Rifondazione* потерпела полный крах, полностью утратив влияние в обществе.

В начале 2000-х гг. мы видим неожиданное возвращение ультралевых на политическую сцену. Причина ясна — коммунистические организации сталинистского типа исчезли или сократились до минимума, а социал-демократические партии настолько выродились, что освободилось огромное политическое пространство. Ведь политический крах левых, последовавший за распадом СССР, отнюдь не означал исчезновения в обществе объективной потребности в антикапиталистической альтернативе. Она может быть революционной или реформистской в зависимости от того, с точки зрения какой части трудящихся мы смотрим на вещи, но спрос на нее существует объективно. И если идеология и программа не предложены, возникает вакуум, люди могут впасть в цинизм и в депрессию, но все равно на глубинном уровне они чувствуют противоречие между своими интересами и тем, как функционирует система.

Рост социального недовольства находит выражение в антиглобалистских протестах начала XXI в. А наиболее идеологически и теоретически подготовленными участниками этих протестов являются представители ультра-

левых групп. Они способны не только участвовать в стихийных выступлениях, но и объяснять участникам, в чем суть проблемы, находить нужные слова, с помощью которых можно выразить то, что другие только чувствуют. Короче, ультралевые группы сохранили пришедшую в упадок марксистскую культуру и передали ее новому поколению левых.

Многим группам удастся преодолеть свои сектантские традиции. Секта может поддерживать себя на протяжении длительного периода времени, по крайней мере — пока просто не вымрут ее основатели. В дальнейшем ученики начинают дробить секту — каждый толкует учение по-своему. Большие движения, в отличие от сект, заведомо состоят из грешников. И политические секты научаются работать в грешном мире, с людьми, у которых небезупречная идеология, нет полного понимания всех тонкостей революционной теории. Так появляется новая политическая культура, куда более открытая и человеческая.

Наряду с новыми социальными движениями последние буквально несколько лет обнаружилось еще нечто новое. То, что можно было назвать новыми революционными движениями. Примером может быть движение сапатистов в Мексике. В основе сапатизма лежит традиция индейских движений в Южной Америке, существующих в той или иной форме начиная со времен конкистадоров. Но сапатизм — движение абсолютно современное. Принципиальным отличием сапатизма от других традиционных движений является отсутствие нормативности. Со времен Че Гевары мы видим восстания, имеющие более или менее четкую идеологическую программу и ориентацию на борьбу за власть. По существу, мы имеем дело с вооруженной политической организацией, которая является и протопартией, и протогосударством. Сапатизм был построен на принципиальном отказе от подобного подхода, сапатисты не борются за власть. Это вооруженное движение за свои права. Оружие — для самозащиты. Одной из ключевых идей сапатизма является собственное достоинство, которое люди готовы отстаивать против государства, правящего класса, корпораций, против логики рынка. Говорится, что сапатисты не против других форм политической борьбы, не против парламентов, выборов. Просто у жителей штата Чьяпас не осталось другого выхода, кроме вооруженной борьбы. Левая политика предполагает диалог различных сил, вовлеченных в антикапиталистическую борьбу. Точно так же сапатизм деперсонифицировал лидерство. Ключевая фигура — субкоманданте Маркос — появляется только в маске. Это значит, что данный персонаж заменяем. Кльта личности здесь не может быть, как и претензии на личную власть.

Это движение, которое поднялось в одном из самых отсталых штатов в Мексике, обращается к миру через Интернет. Коммуникация сама становится формой борьбы и формой существования движения.

Однако при всей романтичности сапатизм не может быть воспринят как универсальная модель и даже как модель для Латинской Америки. И глав-

ная его слабость лежит там же, где находится его сила: отсутствие механизмов борьбы за власть. Движение, не имеющее такого механизма, крайне демократично, но его эффективность так же крайне ограничена. Оно может быть только противовесом, дополнением к чему-то другому. К чему?

8. Возвращение авангарда?

Можно сказать, что за 150 лет левое движение так и не смогло найти волшебный рецепт, который позволил бы создать политическую партию, способную эффективно отстаивать классовые интересы трудящихся. Все политические партии, на определенном этапе добивавшиеся успеха, затем становились жертвами своего успеха. Модель социал-демократического централизма не оправдала надежд, авангардные партии выродились либо в тоталитарные государственные структуры, либо в секты, партии-движения оказались ничем не лучше партий, не связанных с движениями. Однако партия все же нужна, и обойтись без нее не удастся.

Можно сказать, что никаких единых и обязательных для всех рецептов просто не может быть. Главная ее проблема состоит на самом деле не в модели партии, а в состоянии класса, в том, насколько массы трудящихся способны самостоятельно и сознательно участвовать в политике, не доверяясь вождям и не становясь заложниками бюрократии. В те моменты, когда массовое движение было на подъеме, оно оказывалось в состоянии влиять на партийную политику либо находило таких политиков, которые соответствовали ожиданиям и требованиям трудящихся. Во всяком случае большевики в 1917 г. сделали именно то, чего от них ждали массы российских рабочих. Точно так же социал-демократия 1940-х гг. на Западе соответствовала реформистским ожиданиям европейских пролетариев. Не вела их вперед, но по крайней мере не обманывала. Напротив, левые партии конца XX в. не только не оправдали надежд трудящихся, но зачастую самым подлым образом обманывали их. Однако, к счастью, подобный обман не остается безнаказанным. Традиционные партии рабочего класса, созданные в XIX и XX вв., полностью исчерпали себя, в порядок дня встает формирование новых.

Какие же уроки можно извлечь из 150-летней истории партийного строительства? Модель авангардной партии, предложенная Лениным в начале XX в., остается привлекательной для всех, кто серьезно думает о перспективах классовой и революционной политики. В конце концов, неудача ПТ вызвана тем, что у ее активистов и лидеров не было моральной основы, которая неизменно есть у людей, сознающих свою миссию. Иными словами, проблема не в невозможности сочетания партии и движения, а в том, что сама партия не была похожа на политический авангард.

Однако концепция авангарда может быть успешно реализована в XXI в. лишь в том случае, если будут учтены уроки прошедшего столетия. Право

находиться в авангарде надо не только заслужить, но и постоянно подтверждать. Нет никакой причины полагать, что какая-то партия — в силу своих программных установок, названия или просто потому, что ее лидерам так хочется, — имеет привилегию вести за собой весь класс наемных работников.

Авангардная партия — это партия, которая ставит перед собой задачу отстаивать наиболее общие классовые интересы, партия, ориентированная на стратегическую перспективу. Другое дело, что борьба за общие интересы класса предполагает и длительную, упорную работу по согласованию специфических, групповых, порой — местных интересов. Причем согласование не механическое, а направленное на формирование стратегической гегемонии.

В этом смысле можно говорить не только о политическом, но и о социальном авангарде. Передовые политические силы должны опираться на наиболее передовые в социальном и интеллектуальном отношении слои трудящихся. В начале XX в. речь шла, безусловно, о промышленном пролетариате. В XXI в. сам индустриальный рабочий класс представляет собой гораздо более разнообразную массу, которая заново нуждается в консолидации. Причем речь идет не только о консолидации между собой представителей различных профессий, но и в разных секторах экономики — от традиционной промышленности до научных работников и тружеников сферы услуг. Эта задача не может быть решена на уровне одних только профсоюзов. Самосознание формируется в ходе совместного политического действия. В начале нового века мир квалифицированного труда уже обладает достаточным интеллектуальным и политическим потенциалом, чтобы взять в свои руки управление производством и самостоятельно принимать решения. Это значит, что вопрос о демократии и бюрократии в левом движении может быть в перспективе решен по-новому. На сцену должны выйти не только новые политические силы, но и новые социальные слои, созревшие в ходе технологической (информационной) революции. И нет никаких причин считать, что они будут менее радикальны, чем их предшественники из числа индустриальных пролетариев XX в.

Авангардные партии XX в. были уверены, что имеют право вести за собой. Но в военном деле задача авангарда совершенно иная. Он не ведет за собой армию, он лишь вступает в бой первым. Его единственная привилегия — принять на себя самый первый, самый тяжелый удар и собственным примером поднять массовое движение.

Глава 8

Капитализм, собственность, социализм

В «Коммунистическом манифесте» есть знаменитая фраза о том, что если суммировать требования и цели коммунистов, то главное — это уничтожение частной собственности. Для критиков марксизма и для части марксистской интеллигенции характерно обвинение в адрес не столько классического, сколько ортодоксального марксизма в том, что ему присущ некий «фетишизм собственности».

Действительно, в целом ряде текстов, особенно начиная с 1920-х гг., и вообще в советском марксизме, можно обнаружить, что вопрос о производственных отношениях и общественной системе часто сводится к вопросу о собственности, к тому же понимаемой совершенно формально, юридически. Между тем сам же Маркс неоднократно писал, что, когда говорит о собственности, он имеет в виду не просто бумажки с печатями, подтверждающие чьи-то имущественные права, а собственность как общественное отношение. Причем речь идет не об отношении людей с вещами, а об отношении людей между собой.

Можно сказать, что в вульгарных толкованиях марксизма мы и в самом деле получили фетишизацию собственности. Но гораздо интересней понять, что реально имел в виду Карл Маркс, каково значение собственности при капитализме и как на практике преодолеть институт частной собственности.

1. Проблема собственности

Маркс прекрасно знает, что проблема собственности свойственна не только капитализму. Маркс никогда не характеризует капитализм именно как систему, основанную на частной собственности. Он лишь отмечает, что частная собственность получает наибольшее развитие и последовательное выражение в эпоху господства капитала. Принцип частной собственности торжествует при капитализме. Маркс хорошо знает, что частная собственность не есть изобретение буржуазии. Хотя буржуазная собственность —

далеко не то же, что собственность феодальная. Иными словами, смысл и содержание понятия собственности по ходу истории меняется, подчас — очень радикально. Но чем же тогда отличается именно капиталистический режим и почему уничтожение частной собственности так важно для коммунистов и социалистов?

Для Маркса ключевым является понятие производственных отношений. Отношения собственности, по Марксу, есть только одно из выражений совокупной системы производственных отношений. Это юридическая форма оформления и закрепления определенной системы производственных отношений.

Производственные отношения, в свою очередь, должны отражать определенный уровень развития производственных сил. Когда они вступают в противоречие с развитием производственных сил, неизбежны перемены. Надо менять организацию производства, методы управления экономикой и в конечном счете организацию общества в целом. Система должна соответствовать достигнутому уровню технологического развития, иначе она погружается в кризис. Трансформация докапиталистической частной собственности в капиталистическую была очень болезненным процессом, сопровождавшимся экспроприацией мелких собственников. Отсюда знаменитый тезис об экспроприации экспроприаторов. Буржуазия, которая постоянно говорит о священном и нерушимом праве собственности, сама строит свое состояние на безжалостном, грабительском захвате чужого имущества — крестьянского, феодального, позднее государственного, народного.

Мы все хорошо знаем про разграбление советской государственной собственности, помним знаменитое словечко «прихватизация». Чего не понимает современный обыватель (как отечественный, так и западный), так это того, что в Европе и Америке классическая буржуазная собственность формировалась ровно такими же методами, зачастую даже более жестокими и сомнительными с точки зрения законности. В этом была суть первоначального накопления капитала.

Грабили, конечно, и до капитализма — в древности, в Средние века. Грабили кого могли и как могли. Тем не менее грабеж капиталистический имеет совершенно другую природу. Капитализм — это система, которая подчиняет производство и обмен логике накопления капитала. Правящий класс в любом обществе контролирует прибавочный продукт. Но как он его контролирует? Для древности, будь то даже Древний Рим с весьма развитым товарным производством, накопление капитала не было сутью экономики. Стремилась не к накоплению, а к богатству. Тем более это относится к Средневековью. В такой системе прибавочный продукт изымается для того, чтобы обеспечить содержание правящего класса и государства. В этом смысле капитализм отличается качественно от других систем, потому что он изымает прибавочный продукт не для того, чтобы содержать капиталистов, не для потребления правящего класса, даже не для того, чтобы содер-

жать государство. Это скорее является побочным моментом. Государство нужно содержать для того, чтобы оно поддерживало капитализм, а не наоборот. Главное — накопление капитала, которое становится самоцелью.

Производство, которое, конечно, первично по отношению к обмену (если бы не было производства — нечего было бы обменивать), оказывается функционально подчинено обмену, а обмен стратегически подчинен накоплению.

В данном случае мы не видим особых различий между Вебером и Марксом. Вебер, когда пишет про протестантизм и дух капитализма, тоже подчеркивает, что частная собственность и частное предпринимательство существовали задолго до буржуазного порядка. Он называет это примитивным капитализмом. Однако эти структуры не порождали капитализм в современном смысле слова.

Был торговый капитал (его можно обнаружить и в средневековой Италии и в Древнем Риме, в восточных городах), но он не порождал капитализма как системы. По Веберу, переворот происходит тогда, когда приходит протестантская этика, требующая скромности, подчинения предпринимателя интересам своего предприятия, ответственности, рационализма. На первый план у Вебера выдвигается культурный момент и факторы, связанные с культурной организацией общества. На самом деле, на мой взгляд, Вебер лишь дополняет Маркса. Этика скромности, воздержания, рациональности становится необходима именно потому, что буржуазия начинает эволюционировать, превращаясь из сословия торговцев и ремесленников в класс капиталистов. Собственник становится предпринимателем. Новая мораль позволяет высвободить средства для накопления. Протестантская буржуазная религия, в сущности, благословляет накопление. Фатализм протестантской религии предполагает полное предопределение. Тем самым предприниматель подчиняет себя предприятию, связывает свою судьбу с судьбой своего дела и заранее отдает себя на волю не контролируемых им рыночных сил, которые выступают как орудие божественного предопределения. Невидимая рука рынка у Адама Смита не более чем способ рациональным языком описать ту самую протестантскую веру в предопределение.

Когда складывается капитализм монополистический, действуют уже крупные концерны, контролирующие или делящие рынок, капиталист уже может позволить себе личное потребление. Тут работают уже такие огромные капиталы, что растратить их в казино или на любовниц невозможно. Зато выдвигаются на первый план такие понятия, как власть, контроль.

Легко заметить, что буржуазная идеология, не обращаясь непосредственно к теме капитала и собственности, полностью подчиняет им индивида. Когда Маркс призывает уничтожить частную собственность, он прежде всего заботится об освобождении личности. Неприятие частной собственности у Маркса имеет глубокие философские корни и несводимо к его политическим или даже экономическим взглядам. Речь идет об освобож-

дении личности от тирании капитала, об освобождении живого от власти мертвого.

В конце советского периода было сделано несколько попыток реабилитировать частную собственность в рамках ортодоксальной марксистской идеологии, однако, как показала, в частности, комичная дискуссия вокруг русского перевода слова *Aufhebung* (снятие, преодоление), из этого ничего не получается. Другое дело, что призыв к уничтожению частной собственности у Маркса обусловлен определенными историческими обстоятельствами. Не потому уничтожить, что вообще частная собственность есть зло, а потому, что она исчерпала или, во всяком случае, на определенном этапе истории исчерпает себя как инструмент развития человеческого общества. Структура собственности должна быть адекватна производительным силам. Она должна быть адекватна не только технологии, но и задачам, которые ставит перед собой общество.

С 20-х гг. идет дискуссия о том, изжила себя частная собственность для решения задач общества в XX в. или нет. Какова альтернатива частной собственности? И главное, поможет ли эта альтернатива более эффективно решать стоящие перед обществом задачи?

Уже в 1920-е гг. начинается спор о рыночном социализме. Одним из первых, кто говорил о возможности создания экономики без частной собственности, но на основе рынка, был итальянский исследователь Бароне, которого никак нельзя отнести к марксистам. Он математически рассчитал, что после того, как марксисты ликвидируют частную собственность, основной единицей экономического развития станет предприятие, а не фирма. Если рыночные или хотя бы товарно-денежные отношения сохранятся, то эти предприятия могут оказаться, и скорее всего окажутся, в конкурентных отношениях между собой. Предприятия, а не капиталистические фирмы, в этом принципиальная разница. Получается своеобразная система, где без конкуренции капиталов сохраняется конкуренция товаров, соревнование между предприятиями.

С другой стороны, либералами был приведен аргумент, который мы можем услышать даже сейчас: частное предприятие всегда эффективней любой формы государственного предпринимательства. Предполагается, что государственный чиновник управляет не своими деньгами, а предприниматель управляет своими собственными, поэтому предприниматель ответственен, эффективен, а государственный чиновник безответственен и неэффективен. К этому добавляют второй аргумент: частное предприятие живет на свои деньги, а государственное может получать дотации, субсидии. И, к тому же, всегда существует политическое давление на правительство, чтобы оно поддерживало компании общественного сектора — тем самым решало проблемы безработицы, социального развития и т. д. А они решаются за счет эффективности.

То, что решения, принимаемые государственными чиновниками, часто неэффективны, этим никого не удивит. Другое дело, что история частного

бизнеса, особенно в XX в., полна примерами безумной неэффективности. И что особенно важно, на протяжении XX в. нарастает количество примеров, когда неэффективное решение очень долго не наказывается рынком. Это относится как к государственным неэффективным решениям, так и к неэффективным решениям в частном секторе. Наказание наступает тогда, когда ситуация уже абсолютно выходит из-под контроля, и тогда за ошибки, совершенные частными инвесторами, расплачивается все общество, потому что проблема становится столь большой, что необходима мобилизация общественных фондов для ее решения. За счет конкретного предпринимателя, совершившего ошибку, исправить ситуацию нельзя, платит государство. Классическим примером была история с банкротствами инвестиционных фондов в США. Один из таких фондов занимался скупкой и продажей акций других компаний, в масштабах уже всей планеты, он накопил долгов столько, что это превосходило в совокупности существовавший на тот момент долг России, Венгрии и Польши, Болгарии, Румынии и еще полдюжины стран «третьего мира». После российского дефолта 1998 г. он обанкротился. Но поскольку корпоративный крах таких масштабов означал бы уже крушение всей мировой банковской системы и фактически ликвидацию мировой экономики, то все мировое финансовое сообщество разбиралось с долгами одной фирмы. Государственные структуры принудили крупнейшие частные банки, европейские и японские прежде всего, чтобы те отдали часть своих активов на решение проблемы. Большая часть этих долгов была погашена, частично списана, частично выплачена. Ситуация стабилизировалась. Иными словами, ошибку совершают одни, а расплачиваются совершенно другие. Причем расплачиваются те, кто был более ответственен. И расплачиваются именно своими деньгами. Это как раз типично для современного капитализма: прибыли приватизируются, издержки и убытки социализируются.

То же самое произошло в 2008–2009 гг. во время мирового кризиса. И, удивительное дело, когда триллионы государственных средств были затрачены по всему миру на спасение терпящего крах частного бизнеса, либеральные публицисты не увидели здесь ничего порочного, неэффективного или противоречащего рыночным принципам.

Либеральная аргументация об ответственном собственнике не имеет никакого отношения к экономической реальности по крайней мере с начала XX в. Известный американский экономист Дж. К. Гэлбрейт в 1960-е гг. написал про «революцию менеджеров». Компании стали слишком велики, капитал огромен и деперсонифицирован. Даже если речь идет о Билле Гейтсе и других богатейших людях планеты, которые в теории сами контролируют свой капитал, они просто физически не могут сами принимать все основные решения. На это не хватит жизни одного человека. Лично принимают решения лишь финансовые спекулянты, играющие на бирже, не вкладывающие средства в долгосрочные стратегические проекты. Вот

они чаще всего и ошибаются, во всяком случае именно на их совести большая часть знаменитых катастроф и крахов последних 80 лет.

Самый большой и неприятный секрет либеральной экономики состоит в том, что основными потребителями всевозможных дотаций и субсидий являются не государственные, а как раз частные предприятия. Иначе и не может быть в рамках буржуазной системы: правящий класс использует свои привилегии и политическое влияние для того, чтобы поправить свое материальное положение. Вопрос о дотациях и субсидиях легко поддается решению на законодательном уровне. Однако именно корпоративное лобби, которое неизменно возмущается субсидированием жилищного сектора, образования, здравоохранения или тратой государственных средств на социальные программы, категорически возражает против того, чтобы государство прекратило субсидировать частное производство или перестало вкладывать средства в развитие инфраструктуры, которую потом может бесплатно использовать бизнес.

Корпорации вынуждены создавать менеджерские, технократические, а на самом деле — бюрократические структуры. Никто уже не работает только со своими деньгами. Менеджеры работают с деньгами капиталистов, предприниматели работают с деньгами банков, а банки с деньгами клиентов. И вообще, вопрос об эффективности решений в сложной системе уже никак не соотносится с тем, работают люди со своими деньгами или с чужими.

2. Монополистический капитализм

Еще в начале XX в. стало заметно, что капитализм свободной конкуренции уходит в прошлое. Концентрация капитала привела к формированию крупных корпораций. «Инвестиционный порог» для входа на рынок стал столь высок, что новички практически не могли выступать серьезными соперниками старых компаний. Разумеется, в периоды технологических новаций положение меняется, но в конечном счете, пополнившись одной-двумя новыми компаниями-лидерами, корпоративный мир становится еще более закрытым.

Появление монополий не исключает конкуренции между ними — в конечном счете бороться за рынок могут три-четыре корпорации не менее ожесточенно, нежели три-четыре десятка небольших фирм. Однако механизм конкуренции резко меняется.

Вся концепция «невидимой руки рынка», выработанная Адамом Смитом и многократно повторенная либеральной политической экономией, основывается на том, что одновременно действуют сотни, если не тысячи независимых друг от друга предприятий, которые не могут ни проследить, ни предсказать действия друг друга. В итоге рыночные цены становятся

единственным достоверным источником информации и рынок начинает действовать как обезличенная математическая машина.

В условиях монополистического капитала ничего подобного не происходит. Компании сами могут манипулировать ценами, создавая ложные сигналы для мелких производителей и потребителей. Они более или менее информированы о действиях и планах друг друга, пытаясь строить перспективу собственного развития на годы, если не на десятилетия вперед.

Рынок и конкуренция не исчезают, но их природа меняется. Они становятся инструментами, с помощью которых корпорации диктуют свою волю обществу. А конкуренция все менее осуществляется посредством цен или борьбы за качество. Вместо этого она начинает принимать форму борьбы за влияние на государственную бюрократию либо пропагандистской кампании по обработке индивидуального и массового сознания.

Рудольф Гильфердинг был одним из первых, кто обратил внимание на происходящую эволюцию капитализма, а затем Ленин написал свою знаменитую работу об империализме, показав, что господство крупных корпораций радикальным образом меняет политические и экономические расклады.

Термин «империализм» быстро приобрел ругательный оттенок. Обычно, говоря об империализме, имеют в виду захватническую политику, стремление крупных держав подчинить своему влиянию более слабые страны. Однако в теоретических работах Ленина речь шла о совершенно ином. Крупные европейские державы были не менее агрессивны в XVIII и XIX вв., чем в начале XX столетия. Однако в эпоху империализма наступление капитала на новые рынки оказалось тесно связано с его новой корпоративной организацией.

Монополизация капитала сопровождается концентрацией грандиозных ресурсов и позволяет в течение длительного времени проводить неэффективную и безответственную политику. А политическое влияние компаний делает корпоративные приоритеты государственными и глобальными.

Империалистическая политика на протяжении большей части XX в. осуществлялась через государственные институты крупнейших (имперских) стран — откуда, собственно, и пошел термин «империализм». Однако на рубеже XX и XXI столетий на передний план вышли межгосударственные организмы — Всемирная торговая организация, Международный валютный фонд, Мировой банк. Впрочем, роль государственного аппарата крупнейших держав отнюдь не сходит на нет.

Между тем уже Ленин подчеркивал, что, достигая беспрецедентных масштабов, становясь как бы государством в государстве, частная корпорация готовит почву для обобществления. Капитал «созревает» для экспроприации.

Аппарат частной корпорации функционирует на тех же основах, что и государственный аппарат, и это правильно, потому что перед огромными корпорациями, обладающими гигантским капиталом, встает огромное ко-

личество вопросов и задач, как и перед государством. Если бы капиталист единолично принимал все решения, от которых зависит его инвестиционная деятельность, это было бы ужасно. Он ошибался бы на каждом шагу. Он должен передавать часть своих функций техноструктуре.

А техноструктура работает по тем же принципам рациональной бюрократии, которые описаны Вебером и которые лежат в основе государственного аппарата. С другой стороны, в начале XXI в. мы имеем дело с крупными корпорациями типа Газпрома, «Microsoft», «Русского алюминия», «Сибирского алюминия» и т. д. По размерам своего бюджета они сопоставимы с небольшими, а порой и средней величины государствами. И вопрос о том, как будут использоваться эти средства, давно уже перерос масштабы частного интереса. Это как раз принципиальный рост непосредственного общественного интереса, причем нередко — глобального. По мере того как развивается производство и мировая экономика, происходит обобществление производства. Предприятие перестает быть делом конкретного частного предпринимателя, его личным бизнесом. Конкретные предприятия становятся фактором, зачастую формирующим социальную структуру в масштабах значительно больших, чем предполагают сотрудники данной организации. Оставить этот процесс в рамках частного интереса — значит превратить общество и человечество в заложников.

Тезис Маркса о связи организации производства и формы собственности приобретает некоторое прямое подтверждение. Капитал давно перерос рамки частного накопления и стал непосредственно общественным институтом. Следовательно, он созрел для экспроприации. Больше того, в условиях экологического кризиса и нерационального, хищнического использования ресурсов частными корпорациями переход капитала под непосредственный контроль общества становится вопросом выживания если не человечества как биологического вида, то уж нашей цивилизации наверняка.

Экспроприация экспроприаторов назрела. Однако возникает целый комплекс вопросов, вызывающих бурные дискуссии, начиная еще с русской революции. Все, что говорилось о крупных корпорациях, вполне логично. Но как быть с мелким частным производством? С лавочниками? С полуремесленными предприятиями, которые никак не вышли за рамки частного интереса — ни технологически, ни организационно, ни финансово. Широкомасштабная национализация, как показал уже опыт 1917 г., может не остановиться на крупных компаниях. А с другой стороны, если мелкий и средний бизнес остается нетронутым (это в наши дни подчеркивают большинство программ левых партий и организаций), то сохраняется и рыночная экономика со всеми вытекающими последствиями.

Технически мелкий и средний бизнес может даже выиграть от экспроприации крупного. Конкурентная среда становится менее жесткой, появляется возможность получать дешевый кредит в общественном секторе. В современном капитализме мелкий бизнес постоянно и жестоко эксплуа-

тируется корпорациями. Так что он вполне может выступить на стороне левых, поддержать даже весьма радикальные меры против крупного капитала (что, кстати, на практике нередко и случается). Проблема в другом. Насколько можно будет построить новую систему экономических отношений, не затрагивая интересов мелкого предпринимателя?

Это вопрос, который встанет перед любым правительством, серьезно пытающимся провести социалистические преобразования. Тактически он может быть решен легко, но на уровне стратегии все равно возникнут проблемы. Противоречие между рыночным и плановым (демократическим, коммунистическим) началами в рамках экономики все равно неизбежно. Оно будет порождать проблемы, конфликты, в том числе и политические. Однако это противоречие может стимулировать развитие новых форм общественной организации, двигать вперед демократический процесс. Короче, оно может быть разрешено только на практике и только в процессе становления нового общества.

3. Государственный сектор

Если на левом фланге постоянно существовал соблазн всеобщей национализации, периодически делались попытки обобществить чистильщиков обуви или продавцов квашеной капусты, то на правом фланге регулярно звучали заявления о том, что можно изменить экономику, не затрагивая отношений собственности.

Подобный призыв внешне согласуется с логикой Маркса. Ведь если отношения собственности лишь юридически закрепляют реальные производственные отношения, значит, в принципе можно реформировать эти отношения, не посягая формально на институт частной собственности. Правда, сразу же напрашивается наивный вопрос: а почему в таком случае нельзя изменить и формальные отношения собственности, тем более что они уже не соответствуют реальным производственным отношениям? Ответ прост и неприятен: юридическая собственность имеет значение. Не изменив режим собственности на юридическом уровне, никакие перемены нельзя закрепить. Именно поэтому буржуазия всегда самым энергичным образом выступает против национализации.

А с другой стороны, всякая ли государственная собственность приближает нас к социализму? Советский Союз объявлял себя социалистическим на том основании, что в нем было ликвидировано частное предпринимательство. Это не помешало захвату реального контроля над производством бюрократией, а затем и прямому восстановлению капитализма, причем реставрации (это принципиально важно), навязанной обществу сверху, в значительной мере насильственно, силами того самого советского политического аппарата, который, по утверждению своих создателей,

должен был защищать социализм. И разве не то же самое затем стало происходить в коммунистическом Китае?

Ситуация с собственностью в марксистской теории заставляет вспомнить классическую формулу логики: всякая селедка — рыба, но не всякая рыба — селедка. Далеко не всякая национализация есть социализм (уже Маркс применительно к Пруссии писал про государственную собственность, ничего общего с социализмом не имеющую). Но невозможна социалистическая экономика, не прошедшая национализацию.

Лев Троцкий в «Преданной революции» рассказал притчу о гусенице, которая должна окуклиться в кокон, чтобы стать бабочкой. Кокон — это еще не бабочка. Миллионы коконов погибают, так и не став бабочками. Но если не будет кокона, не будет и бабочки.

Что вылупилось из советского кокона — тема особой дискуссии. Во всяком случае, можно уверенно утверждать, что социалистическое общество в понимании Маркса успешно построено на территории СССР не было. И все же от национализации никуда не денешься. Это необходимый этап, который надо пройти со всеми его проблемами и противоречиями, включая угрозу бюрократизации и неэффективности.

Что же делает национализированную собственность социалистической? Все зависит от классовой сущности государства, от его структуры и социальной природы. Ленин не случайно говорил, что невозможен социализм, не осуществляющий полной демократии. Это не политический лозунг и не обещание. Без демократии социализм не получится (как не получилось социализма в Советском Союзе), ибо через демократию общество обретает контроль над «своей» собственностью. Если нет демократии, значит, никакое планирование, никакое управление в государственном секторе не является непосредственно общественным.

Польский экономист Влодзимеж Брус писал в 1970-е гг., что между формальным и реальным обобществлением собственности существует разрыв. Ликвидировать этот разрыв — и есть основная задача социалистического общественного преобразования. Акт национализации, однако, создает условия для развития бюрократии, которая непосредственно заинтересована, чтобы процесс шел в прямо противоположном направлении. Бюрократия заполняет собой разрыв между формальным и подлинным обобществлением, затем увеличивает его, беря на себя функции управления, контроля и целеполагания.

Мы имеем дело с бюрократией, которая присваивает себе права общества, отчуждая его от собственности. Социализм должен преодолеть это отчуждение, сделав средства производства (и капитал в первую очередь) достоянием всего общества. А это на практике реализуется через демократическое участие в принятии экономических решений.

В свою очередь социализм ставит вопрос о производственной демократии. Причем не только в смысле самоуправления трудящихся на произ-

водстве (как предполагают анархо-синдикалисты), но и в плане участия общества в процессе принятия решений.

Производственные советы должны стать представительными, в них должны найти свое отражение многообразные интересы (местные, общенациональные, возможно — глобальные, экологические, социальные, культурные). Экономика должна стать так же открыта для свободной дискуссии, как и политика.

Проблема того, как организовать общественный сектор, остается открытой. Значительная часть того, что рассказывается о его неэффективности в либеральных экономических учебниках, есть прямая ложь, не опирающаяся ни на какие фактические данные. Сравнительные исследования показали, что при прочих равных условиях в рамках смешанной экономики государственные компании имели в среднем тот же уровень эффективности, что и частные. Однако это не значит, будто проблема эффективности общественного сектора решена.

На протяжении XX в. экономический инструментарий социализма был активно и в разных вариантах опробован как на Востоке, так и на Западе, хотя это отнюдь не означает, что социализм как социально-экономическая система где-либо состоялся. Точно так же в эпоху позднего феодализма буржуазные отношения начинали прокладывать себе дорогу в рамках старого порядка, но, чтобы построить капиталистическую систему, потребовалось две сотни лет войн, потрясений и революций.

4. Реформизм

Советская общественная наука учила, что в отличие от капитализма, который начинает складываться уже при феодализме, социализм может быть построен только сверху, после политической революции. В целом это представление о социализме, насаждаемом сознательным правительством, заимствовано из каутскианских учебников (которые, в свою очередь, опираются на традицию европейского Просвещения). Исторический опыт показывает, что все гораздо сложнее. Уже Маркс в «Капитале», обсуждая английское фабричное законодательство, заметил, что в рамках буржуазного порядка могут быть реализованы некоторые социалистические принципы. При этом капитализм никуда не денется — все дело в критической массе перемен, достижение которой как раз и является сутью революции.

Маркс был революционером. Однако при внимательном чтении в его работах обнаруживается целый ряд идей, которые вполне соответствовали и реформистскому направлению в социализме. Достаточно вспомнить знаменитую речь автора «Капитала», произнесенную в Голландии, где он предсказывал, что пролетарская революция в Англии, Северной Америке, а возможно, и в других странах будет происходить посредством парла-

ментской системы. Позднее эту цитату взяли на вооружение еврокоммунисты, доказывая, что основоположник революционной теории отнюдь не был врагом демократии. Говорить это — значило ломиться в открытую дверь. Приверженность к демократии была для Маркса и социалистов его поколения чем-то самоочевидным. Выступая в Голландии, он говорил о совершенно ином: социалистические преобразования могут быть осуществлены в рамках сложившихся политических институтов. Их совершенно не обязательно ломать и заменять новыми, чтобы изменить общество.

Опыт XX в., включая несчастный эксперимент президента Альенде в Чили, показывает, что антисистемным левым вряд ли стоит ориентироваться на оптимизм позднего Маркса. Даже если сохранение традиционных парламентских институтов было бы крайне желательно с точки зрения левых, буржуазия может придерживаться иного мнения. Там, где парламентская демократия начинает служить делу общественного преобразования, правящий класс резко теряет к ней симпатию. Аристократичный Энгельс говорил, что пролетариат великодушно должен предоставить буржуазии право «первого выстрела». На протяжении XX в. капиталистические элиты этим правом неоднократно пользовались.

Так или иначе, реформистские настроения были далеко не случайно свойственны в конце жизни и Марксу, и Энгельсу. Успехи социал-демократии настраивали их на оптимистический лад. А следующее поколение превратило реформизм в основу всей своей политической практики.

Социал-демократический реформизм критиковали и Ленин, и Роза Люксембург. Однако остановить поворот социал-демократии вправо они не могли. Тем более что зачастую критика реформизма оказывалась абстрактной. В реальной истории реформы и революция не разделены непреодолимой чертой. Нередко революции начинаются с неудачной попытки реформ, а успешные реформы часто следуют за потерпевшей поражение революцией. Эту диалектику реформ и революций в политическом процессе позднее хорошо показал Грамши. Но в первое десятилетие XX в. призывы к революционной принципиальности лишь сопровождали однообразный правый марш последовательных оппортунистов.

Реформизм повседневности сочетался в социал-демократии с революционностью политических ритуалов. В книгах писали про свержение капитализма, а в обычной жизни были заняты совершенно другими задачами (тоже, кстати, важными и обоснованными с точки зрения классовых интересов). Создавали кассы взаимопомощи, налаживали решение социальных вопросов в муниципалитетах, добивались повышения заработной платы.

Вся эта благодать была взорвана Первой мировой войной и последовавшими за ней революциями — успешной в России и потерпевшими поражение в Финляндии, Германии и Венгрии. В свою очередь большевики, победившие на одной шестой части суши, вынуждены были признать, что их революция не соответствовала пророчествам Маркса. До Первой мировой войны все ис-

ходили из неизбежного повторения сценария 1848 г.: начавшись в одной стране, революция начинает захватывать другие государства, превращаясь в общеевропейский пожар. Подобные прогнозы далеко не так наивны, как может показаться на первый взгляд. Почти все крупные политические события оказывают воздействие более чем на одну страну. Достаточно вспомнить потрясения 1968 г. или крушение советского блока в 1989–1991 гг.

Однако процесс развития революции в международных масштабах требовал теоретического осмысления, а его у Маркса не было. Троцкий предложил собственную теорию перманентной революции, которую в 1917–1921 гг. молчаливо поддерживал Ленин. Во всяком случае он нигде не выступил с критикой своего младшего товарища, хотя по другим вопросам делал это неоднократно. Из молчания Ленина, впрочем, нельзя сделать и вывода о том, что он полностью разделял взгляды Троцкого. Скорее можно предположить, что Ленин так и не успел выработать окончательной позиции.

Согласно Троцкому, революция, начинаясь в одной из капиталистических стран (не обязательно самой развитой, но непременно самой кризисной), имеет шанс на успех только в том случае, если захватит в свой водоворот еще несколько государств. В противном случае она сама обречена на вырождение и в конечном счете гибель.

Прогноз Троцкого относительно мрачных перспектив русской революции оправдался полностью, хотя в полной мере лишь к концу XX в. Тем не менее теория перманентной революции не ответила на главный вопрос, волновавший левых на Западе: что делать, когда революционный подъем миновал? Для сталинистов все свелось к поддержке рабоче-крестьянского государства СССР, воплощающего надежды прогрессивного человечества. Напротив, социал-демократы могли с облегчением вздохнуть и вернуться к реформистской работе. Ничего другого предложено не было.

После Второй мировой войны реформизм обрел более или менее стройную программу, основанную на теориях Дж. М. Кейнса. Показательно, что идеи Кейнса, отнюдь не разделявшего социалистическую идеологию, были во многом более радикальны, чем самостоятельно сформулированные предложения социал-демократов 1920-х гг. Реформизм Кейнса не только предполагал структурные изменения в экономической системе, но и требовал обязательной прививки некоторой доли социализма в качестве единственного способа спасения капитализма.

Кейнс был глубоко убежден, что буржуазную систему надо спасать, в том числе и от нее самой. В условиях Великой депрессии 1929–1932-го им был предложен комплекс мер, в целом уложившийся в рамки более или менее стройной теории. Государство должно было взять на себя регулирующие функции, противодействуя рыночной стихии. Государственные заказы, эмиссия бумажных денег, инвестиции общественного сектора, социальная политика — все эти меры должны были придать экономическому развитию некоторую плановость. Поскольку рецептура Кейнса, по крайней мере в

теории, предполагала использование демократических институтов, поскольку на практике именно социал-демократия и рабочее движение взяли в послевоенной Европе за осуществление кейнсианских программ, поскольку, наконец, одним из аспектов проводимых реформ было формирование системы представительства общественных интересов (всевозможные трехсторонние комиссии и т. п.), то можно назвать кейнсианство попыткой спасти капитализм за счет строго дозированной прививки социализма.

Существовало правое и левое кейнсианство. Если в первом случае речь идет прежде всего о техническом регулировании при минимальном вмешательстве в вопросы собственности и минимальном участии в процессе организации трудящихся, то во втором случае, напротив, имело место создание совершенно новых демократических и открытых для общественного участия институтов, возникала смешанная экономика с крупным государственным сектором, а сами государственные предприятия законодательно закрепляли вовлечение трудящихся в принятие решений, права профсоюзов и т. д.

Чем больше было влияние рабочих организаций в процессе реформ, чем они были радикальнее, тем дальше эти реформы продвинулись. Наиболее радикальными были последствия преобразований не в знаменитой социал-демократической Швеции, а в Австрии и Норвегии. Однако к началу 1970-х гг. пределы кейнсианского компромисса стали ясны.

Капитализм вступил в очередной период стагнации, соответствующий «Б-фазе» кондратьевского цикла. Использование денежной эмиссии и налогов в качестве основной инструмента регулирования привело к снижению деловой активности и неконтролируемой инфляции. Надо, кстати сказать, что эти самые непопулярные кейнсианские инструменты активнее всего использовались именно там, где правительства боялись использовать более радикальные меры из того же арсенала.

5. Поражение реформизма

Идейная исчерпанность кейнсианства стала очевидна к концу 1960-х гг. Студенческая революция 1968 г., сопровождавшаяся рабочими выступлениями, показала, что реформистский компромисс дал трещину. Однако очередной всплеск надежд на революционное преодоление капитализма быстро выявил свою несостоятельность.

Теоретическое осмысление итогов 1968 г. продолжалось в Западной Европе на протяжении некоторого времени, причем как слева, так и справа. Ответом левых на неудачу революционного натиска стала концепция структурных реформ. Задача этих реформ состояла в том, чтобы расширять и укреплять в обществе институты, не являющиеся уже полным смысле капиталистическими. Стратегия, использованная Кейнсом для спасения капита-

лизма, может быть использована и для его подрыва. Социалистические институты позднего капитализма вступают в противоречие с основами буржуазной системы (так же как капиталистические структуры в XVI–XVIII вв. разлагали поздний феодализм). В этой борьбе старых и новых институтов задача левой политики состоит в мобилизации сил, способных продвинуть этот процесс как можно дальше, до критической черты, когда количество переходит в качество и капиталистический порядок уступает место новому общественному строю.

Радикальной версией «теории структурных реформ» был «революционный реформизм». Различие между ними состояло в том, что если теоретики «структурных реформ» из числа коммунистических и социал-демократических политиков надеялись на поэтапное движение вперед, то «революционный реформизм» исходил из неизбежности классового противостояния. Причем по мере приближения к «критической черте», за которой капитал утрачивает контроль над обществом, противостояние должно было обостряться. Теряющий позиции класс необходимо переходит в контрнаступление.

Последующие события показали, что оптимистические прогнозы были далеки от реальности, зато пессимистические оправдались полностью. К середине 1970-х гг. кейнсианская система оказалась в глубоком кризисе, а социал-демократия не могла предложить ничего нового. Попытка найти выход из складывавшейся ситуации выразилась в движении «новых левых», которое окончательно захлебнулось лишь к середине 1970-х гг. (уже после поражения чилийской революции и очевидной неудачи попыток предложить новую реформистскую модель в лице еврокоммунизма).

С конца 1970-х начинается контрнаступление буржуазных сил, суть которого можно выразить простыми словами: социал-демократия сделала свое дело, теперь она должна уйти. Всемирный экономический форум в Давосе стал тем местом, где вырабатывались концепции и идеи для глобального неолиберального проекта. Идеология контрреформы оказалась проста и по-своему эффективна: приватизация, дерегулирование, снижение налогов, никакой социальной политики, свободный рынок, минимум расходов на общественное здравоохранение и образование, разгром профсоюзов, снижение реальной заработной платы. За спиной неолибералов стоят крупнейшие национальные и особенно транснациональные концерны, в первую очередь финансовый капитал. Но за агрессивностью неолибералов скрывается и немалая доза страха. Реформистский социализм подошел к роковой черте, за которой мог бы начаться необратимый качественный переход от капиталистической системы к «демократическому социализму» (иными словами, к очередному варианту переходной экономики, в которой капитал уже утрачивает власть и перестает быть основным фактором развития). Однако то, что реформизм остановился перед этой чертой, — далеко не случайность. В противном случае они были бы не реформистами, а революционерами.

Социал-демократия и ориентированное на нее рабочее движение могли противопоставить неолиберализму лишь своеобразный «левый консерватизм»: сугубо оборонительную политику, направленную на защиту институтов и порядков, созданных на протяжении XX в. в интересах трудящихся. При этом не учитывалось, что сами по себе эти институты несовершенны и в значительной мере обветшали. Еще более тупиковым оказался «левый консерватизм» в условиях бывшего Советского Союза, где старая система активно разрушалась сверху самой правящей бюрократией на фоне массового недовольства кризисом этой системы снизу.

В отличие от пролетариата времен «Коммунистического манифеста», которому нечего было терять, кроме своих цепей, рабочее движение Запада в конце XX в. было настроено на защиту своих завоеваний, причем речь шла не только о материальных благах для трудящихся, но и о многочисленных прогрессивных и квазисоциалистических институтах, созданных в рамках капитализма. Однако оборонительная тактика была изначально обречена на неудачу. К середине 1990-х гг. «левый консерватизм» потерпел полный крах. Лидеры социал-демократии сдались на милость победителя, приняв неолиберальную идеологию.

Неолиберализм представляет собой в глобальном смысле контрнаступление капитала, имеющее своей целью уничтожить все то, что было завоевано рабочим движением в XX в., взять назад все уступки, сделанные под страхом революции. Решающим фактором успеха неолиберализма стал упадок, а затем и крах советской системы и мирового коммунистического движения. Угроза с Востока миновала, можно было спокойно разобратся на Западе. А сами восточноевропейские страны сделали новую периферию, вошли в капиталистическую систему, укрепив ее и новыми ресурсами, и рынками.

И все же торжество капитала оказалось не столь полным, как могло показаться на первый взгляд. Лишенная кейнсианских подпорок система начала активно дестабилизировать саму себя. Экономическая жизнь обернулась чередой кризисов, развитие — снежным комом нарастающих проблем.

Иммануил Валлерстайн пишет, что на протяжении XX в. капитализм шел по пути интеграции в систему все более широких слоев — сначала рабочей аристократии, затем более широких масс рабочих, служащих, специалистов. Сам по себе процесс интеграции создавал надежду для тех, кто оставался на нижних этажах социальной пирамиды, но мог видеть очевидную позитивную динамику: рано или поздно очередь дойдет и до нас. Капитал не мог снять проблему отчуждения и эксплуатации, но мог компенсировать ее за счет потребления, сделать менее болезненной для определенной части общества (в богатых странах). Однако интеграция каждого нового — более массового — слоя обходилась системе все дороже. Одна из причин крушения социал-демократического компромисса состоит в том, что были достигнуты возможные в рамках системы пределы инте-

грации масс. В результате, воспользовавшись подходящим политическим моментом и благоприятным технологическим раскладом, буржуазия повернула процесс в обратном направлении. Технологические революции всегда ослабляют позиции наемных работников — рынок труда дестабилизируется, старые квалификации обесцениваются, традиционные связи и отношения между рабочими ослабевают.

Неолиберализм, по мнению Валлерстайна, есть в первую очередь попытка дезинтегрировать определенные слои, социальное обеспечение (и, соответственно, замирение) которых стало рассматриваться как излишняя роскошь. Однако это процесс болезненный, вызывающий сопротивление, причем чем дальше он продвигается, тем сопротивление сильнее.

Возврат к «классической» модели капитализма означаем и новое обострение классовых противоречий, возврат к модели бескомпромиссной классовой борьбы, характерной для XIX и первых десятилетий XX в. Безусловно, возврат к «классической» модели является относительным, в одну реку нельзя войти дважды. Но тенденция к обострению классовой борьбы совершенно реальна, причем агрессивное наступление на сей раз ведет именно буржуазный класс, а пролетариат сопротивляется. Социал-демократическая политика в том виде, в каком она сложилась на протяжении XX в., становится объективно невозможна. А партии, которые уже прошли серьезную эволюцию, вернуться в исходное состояние не способны: их аппарат, кадры, политическая культура настроены на совершенно иной тип работы.

На протяжении второй половины XX в. можно было говорить не только о столкновении классов, но и о противостоянии институтов внутри капитализма. Институты социального государства находились в конфликте со свободным рынком. В конце XX в. торжество свободного рынка сопровождалось разрушением и ослаблением многочисленных институтов, на протяжении прежних лет (а порой и веков) выступавших в роли внешних стабилизаторов капитализма. Неудивительно, что победоносная корпоративная буржуазия дестабилизировала сама себя.

Покончив с коммунистическим блоком, ведущие капиталистические страны неизбежно оказались втянуты в конкурентную гонку между собой. Три основных центра накопления — североамериканский, восточноазиатский и западноевропейский — столкнулись в борьбе за влияние на мировом рынке. Межимпериалистические противоречия, о которых Ленин писал в начале XX в., снова стали реальностью, хоть их и пытались скрыть за дымовой завесой демократической фразеологии. Финансовые центры «старой Европы» бросили вызов гегемонии США, противопоставив американскому доллару объединенную валюту евро. А в Вашингтоне крайне правая администрация Дж. Буша-младшего откровенно заявила о притязаниях на мировое господство.

В то время как капиталистический мир дестабилизировался, левые силы пребывали в трагической спячке. Поражение реформизма не компенсирова-

лось новым подъемом революционного движения. Однако крот истории не совсем еще забыл свою работу. Хоть и не так хорошо, как полагал автор «Капитала», он все же продолжает рыть в изначальном направлении.

Опыт неолиберального капитализма не мог не породить сопротивления. А опыт сопротивления, осмысленный и оцененный левыми организациями, дает материал для формирования новой революционной стратегии. После шока 1990-х гг. левое движение возрождается, причем не на реформистской, а на радикальной идеологической платформе Современный капитализм оставляет мало шансов для реформизма. Значит, все то, чему учил классический марксизм, снова становится актуально.

Глава 9

Марксизм и национальный вопрос

Часто приходится слышать, что национальный вопрос является одним из наиболее трудных для марксистского анализа. На самом деле количество марксистских работ, посвященных этой проблематике, очень велико, и, что гораздо важнее, именно марксистские исследователи систематически пытались демистифицировать, демифологизировать данную тему.

Трудность, собственно, и состоит в высокой степени мифологизации всего, что связано с национально-государственной проблематикой. Выводы марксистской социологии могут представлять объективную ценность даже для буржуазной политики, они признаются и усваиваются, тем самым принимаясь в качестве составной части серьезной общественной дискуссии. Они так или иначе включаются в образовательные программы, цитируются в обзорных трудах, превращаются в банальность.

Напротив, все, что связано с нациями, их пресловутой «идентичностью», с их историей и культурой, начиная с середины XIX в. становится важнейшим элементом государственной идеологии. Причем демократии заинтересованы в сохранении этих мифов не меньше, а порой даже больше, нежели авторитарные режимы или традиционные монархии. Именно поэтому выводы марксистского анализа, подрывающего национальные мифы, официальным общественным мнением по возможности игнорируются, официальным образованием отторгаются, а потому за пределами собственно марксистского круга остаются почти недоступными.

Другая сторона проблемы состоит в том, что между теоретической критикой и практическими рекомендациями лежит существенная дистанция. На протяжении истории марксизма было предложено несколько подходов к решению «национального вопроса». Однако здесь мы уже переходим в сферу практической политики и острых идеологических дискуссий, с течением времени не только не затухающих, но, напротив, все более обостряющихся.

1. Изобретение наций

Понятие «нации» сложилось в XIX в. Начиная с конца XIX столетия школьные учебники и официальные исторические труды стали предлагать читателю более или менее складную версию формирования современных государств, которые якобы изначально возникали на национальной основе.

Получалось, что польское государство появилось из-за того, что объединились польские племена, русское — благодаря соединению близкородственных русских племен, а немецкое — за счет общих усилий германцев.

Нация как бы существовала еще до государства, только в каком-то скрытом виде, как некая внутренняя сущность, какое-то органическое единство народа, которое государством было лишь оформлено.

Этот взгляд на нации и государство был выработан романтической традицией после Наполеоновских войн, когда, с одной стороны, династическая основа монархического государства была поколеблена революцией, а с другой стороны, освободительные войны против французских захватчиков привели к пробуждению национальных чувств. Государство нуждалось в новой легитимности. Если раньше оно опиралось на божественные права царствующей династии, то теперь стало воплощением национального духа.

Правда, новая идеология, выработанная интеллектуальными и политическими элитами ведущих народов Европы, оказалась потенциально опасна для тогдашней системы европейских государств. Распространившись среди основных европейских наций — французов, немцев, русских, испанцев, шведов, — она заразила и многочисленные малые и средние народности, которые до того не имели ни собственной государственности, ни самостоятельной истории (словаки, финны, украинцы, каталонцы, ирландцы, баски и т. д.). Если каждое государство имеет собственную нацию, значит, каждая народность должна в итоге получить собственное государство и только в нем может полностью реализовать свои возможности.

Два крупных славянских народа Европы — чехи и поляки, — не имевшие в тот момент своей государственности, получили мощный идеологический импульс, чтобы добиваться ее восстановления. Другое дело, что ни средневековая Богемия, ни Речь Посполитая не были, соответственно, чешским или польским национальным государством. Но задним числом история Речи Посполитой воспринималась уже как польская история, а история Богемии — как чешская.

Наконец, уже в более поздний период, национальное самосознание было импортировано в колониальные страны. Например, Индия, никогда не имевшая ни единого языка, ни единой государственной организации, страна, где не было даже этнического родства между народами, почувствовала себя единой нацией в рамках Британской империи. Надо сказать, что Карл Маркс предрекал такой поворот событий в своих работах о британском владычестве в Индии. Легко догадаться, что рост национального самосознания в колониях привел к подъему освободительной борьбы.

Таким образом, ведущие европейские государства, в которых родилась романтическая концепция наций, оказались в конечном счете ее жертвами. Все великие державы начала XIX в. — Франция, Англия, Россия, Австрия и Швеция стали в XX в. в той или иной мере жертвами распада. Германия и Италия, для которых романтическая идеология нации стала знаменем государственного объединения, пережили катастрофу фашизма.

2. Странности определения

Парадоксальным образом ставшая общепринятой романтическая концепция дает нам лишь очень смутные представления о том, что такое нация. Поскольку понятие «нация» является в этой теории насквозь мифологическим, оно предполагает некое интуитивное понимание, в нем заложено описание некой мистической, внеисторической внесоциальной общности. Всякий раз, когда исследователи переходят к конкретным формулировкам, возникают проблемы.

Когда проживавший в эмиграции в Австро-Венгрии Ленин отправил «замечательного грузина» Сталина в Вену писать работу по национальному вопросу, он обрек последнего на серьезное испытание. Мало того, что тот неважно знал немецкий язык, на котором было написано большинство необходимых текстов. Будучи человеком, выученным в православной семинарии, Сталин пытался дать всему очень четкие и конкретные, недвусмысленные, общепонятные определения. А таких определений в литературе не было!

Помучившись некоторое время, Сталин написал целый каталог признаков, по которым определяются нации (в отличие от народности, племени и т. д.): «исторически сложившаяся устойчивая общность языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющаяся в общности культуры»⁶. Беда в том, что многие из европейских (не говоря уже о неевропейских) наций всей полнотой этих признаков не обладают либо, наоборот, обладают некоторыми дополнительными признаками, которые для них являются центральными.

Общности религии Сталин, естественно, не упоминает, хотя к ней апеллировали идеологи национального патриотизма в России, Польше, Ирландии. Для материалиста Сталина общность религии не могла быть центральным вопросом. Однако многие нации консолидированы именно по религиозному признаку. Так, в Северной Ирландии принадлежность к ирландской или британской нации определяется по вероисповеданию. Католики — ирландцы, протестанты — британцы. Проживают они, как известно, на общей территории. То же самое можно видеть на Балканах. Католики-хорваты, пишущие по-сербскохорватски латинскими буквами, и православные сербы, пишущие сразу двумя алфавитами, являются, как известно, традиционными

⁶ Сталин И. В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М.: Партиздат. 1937. С. 6.

недругами. В Боснии к соперничеству этих двух групп добавляется присутствие мусульман. Причем мусульмане говорят по-сербски, пишут латиницей, но большей части законов ислама не знают и не соблюдают, но уверены, что с сербами и хорватами ничего общего не имеют.

Напротив, в соседней Албании религиозные различия между мусульманами и христианами не мешают всем говорящим на одном языке считать себя единой нацией. В Германии протестанты и католики составили единую нацию, хотя в прошлом воевали друг с другом. В Швейцарии говорят на четырех разных языках, но считают себя единой нацией, настолько отличающейся от остальной Европы, что даже членство в Европейском союзе воспринимается как нечто опасное.

В Киеве и Харькове говорят по-русски и считают себя добрыми украинцами. В Крыму считают, что ничего общего с Украиной не имеют, поскольку говорят по-русски. А на Западе Украины идеологи твердо уверены, что те, кто говорит на языке «москалей», не могут не быть «пятой колонной» России.

Для англоканадца нет более страшного оскорбления, чем спутать его с американцем-янки, от которого он совершенно ничем не отличается. Франкоканадцы традиционно недолго любили своих англоязычных соседей, но долгое время были самыми отчаянными патриотами Британской империи, которая их завоевала и языка которой они толком не понимали.

Арабы до сих пор не могут понять, принадлежат они к единой нации или же отдельными, пусть и родственными, нациями являются египтяне, ливийцы, иракцы и т. д. В Ливане все признают себя единым народом, но делятся на враждующие общины по вероисповеданию — христиане-марониты, мусульмане-сунниты, шииты, друзы. В Латинской Америке времен борьбы за независимость мечтали о единой нации, противостоящей говорящим на том же языке и таким же католикам-испанцам. Но за распадом Испанской империи последовал и распад Великой Колумбии, в результате которой сложились различные нации — с собственными традициями, культурой, историей.

Список можно продолжить. Ведь даже самый простой, казалось бы, признак — «общность языка» — не является бесспорным. Границы между языками и диалектами расплывчаты. Российская империя не признавала за украинским языком права на существование, он считался диалектом. И в самом деле, различия между украинским и русским, белорусским и русским языками не больше (а в ряде случаев — меньше), чем различия между диалектами в Италии и Германии. Голландский язык был диалектом немецкого, но стоило голландцам создать самостоятельное государство, как началось и самостоятельное существование языка.

Когда в конце XIX в. формировались современные балканские языки, филологи, движимые романтической традицией, отправлялись в самые отдаленные горные деревни, чтобы записать там «настоящий» сербский или болгарский. Болгары записывали норму языка на востоке страны, сербы на

западе. Если бы они поступили наоборот и записывали язык, на котором говорили в приграничных селениях, Болгария и Сербия сегодня говорили бы на одном языке. А македонский, признанный языком в Югославии, так и остался диалектом в Болгарии.

Когда одного известного филолога спросили, в чем принципиальное различие между языком и диалектом, он, подумав, ответил: у языка есть армия. В этом, пожалуй, и ответ на все вопросы. Не единство языка, крови или веры создает нацию, а государство.

3. Формирование наций

Английский марксист Бен Андерсон в книге «Воображаемые сообщества» отметил любопытное противоречие. Первыми нациями, осознавшими и заявившими себя как таковые, были американцы-янки в Соединенных Штатах и креолы в Латинской Америке (последние — под влиянием американской революции). Ни янки, ни креолы, борясь за независимость, не отличались от тех, с кем они борются. У них был общий язык, общая кровь, общая вера, общая культура. В Южной Америке отнюдь не угнетенные индейцы и метисы выступили решающей силой борьбы против испанского колониализма (а стремление Симона Боливара опереться на чуждые колониальной культуре индейские массы стоило ему, несмотря на все его заслуги, потери политического влияния).

Идею независимости отстаивали местные землевладельческие и буржуазные элиты, интересы которых вошли в противоречие с интересами метрополии. Достигнув определенного уровня развития, местный правящий класс стал тяготиться колониальной опекой. Американская революция началась с нежелания платить налоги. Важнейшей причиной антибританских выступлений было стремление английской буржуазии ограничить рост американской промышленности, которая начинала конкурировать с мануфактурами «старой страны». Борьба испанской Америки за независимость щедро финансировалась Британией и США, другое дело, что наиболее дальновидные лидеры восстания (например, тот же Симон Боливар) с самого начала опасались, что ничего хорошего из дружбы с северным соседом не выйдет. А когда в 1812 г. армии Соединенных Штатов, подстрекаемых Наполеоном, ринулись на Север «освободить» от британского владычества Канаду, их встретило наспех сколоченное местное ополчение: под Йорком янки были наголову разбиты, и канадцы гнали их до Детройта. Франкоязычное и англоязычное ополчение сражались плечом к плечу. Именно в эти дни среди жителей тогдашней британской Северной Америки зародилось национальное самосознание.

Правящий класс организует государство в соответствии со своими потребностями и задачами, одной из которых является поддержание легитимности существующего порядка, согласие управляемых жить по уста-

новленным законам. А государство, в свою очередь, создает нацию. Если изначально между народностями, населяющими территорию государства, существует этническое родство, это облегчает задачу. Но порой нацию создают из разноплеменной и разноязыкой массы людей.

Русская нация формировалась за счет слияния угро-финских, славянских, тюркских и отчасти германских элементов. Если взглянуть на старые картины, бросаются в глаза физиономические различия между лицами аристократов и (потомками смешавшихся со славянами варяжских и тюркских родов) и крестьянами (потомками смешавшихся со славянами угрофиннов). Англию создали потомки кельтов, германцев и наследники вторгшихся с Вильгельмом Завоевателем франко-нормандских рыцарей. А Германия к востоку от Эльбы заселена была онемеченными славянами, следы чего мы находим до сих пор еще в топонимике Берлина и в местных фамилиях.

Государство заинтересовано в единстве и однородности своего населения. И не только потому, что идея национального единства облегчает консолидацию вокруг правящего класса. Однородность упрощает управление. Документ, выпущенный в столице на официальном языке, должен быть одинаково понятен в любой провинции, в любом заштатном городе. Он должен неукоснительно выполняться без всякой ссылки на местные особенности, этнические традиции и простое недопонимание. Команда, отданная роте солдат, должна исполняться мгновенно, без потери времени на перевод и размышлений о смысле произнесенной фразы.

Развитие буржуазного общества с XVII в. проходит фазу консолидации региональных рынков. На ранних этапах развития торгового капитализма мы видим лишь сочетание локального и мирового рынка. Товар производится для местных потребностей или вывозится в соседние страны (если там аналогичного товара нет, либо он стоит много дороже). Однако редко изделия везут в соседний город, не говоря уже о соседней провинции.

К XVII в. нарастает потребность в кооперации между предприятиями, накопление капитала требует объединения и мобилизации ресурсов, производство нуждается в более крупных, но при этом не слишком отдаленных и безопасных рынках. Региональные рынки складываются в рамках национального государства. Здесь опять же возникает острая потребность в унификации. Не только общие деньги, но и общий язык деловой документации. Единая система законов и сходная деловая культура, обеспечивающая устойчивость партнерских взаимоотношений. Барьеры между провинциями отменяются. Возникает не только единый рынок товаров и капиталов, но и единый рынок труда. Значит, человек, переезжающий из одного городка в другой, должен знать язык и нравы тех мест, куда направляется. Чтобы миграция рабочей силы стала легкой и массовой, язык и нравы должны унифицироваться. Отчасти это происходит стихийно. Но власть тоже активно работает над этим. Современное государство начиная с конца XVII в. создает три важнейших института — бюрократию, армию, школу. В их оборот попадают сначала сотни тысяч, потом

миллионы людей. В них формируется единая культура, единые нормы поведения. И не в последнюю очередь именно функционирование этих структур приводит к формированию единого национального языка. Диалекты подавляются и оттесняются на обочину общественной жизни. Языки национальных меньшинств получают пониженный статус или просто запрещаются.

Борьба за государственный язык выглядит комично в XXI в. когда мы наблюдаем попытки чиновников в Ирландии или на Украине потеснить, соответственно, позиции английского и русского языков. Но это не более чем продолжение той же системной логики, которая была присуща на более ранних этапах всем государствам Европы. Во Франции в XVII столетии была создана специальная государственная комиссия, выработавшая стандартные нормы национального языка (знаменитая Порт-Рояльская грамматика). Важным элементом стандартизации и кодификации национальной культуры становится церковь, после того как Реформация разрывает ее связь с Римом. Протестантизм предполагает перевод Библии на народные языки, что в практическом воплощении означает языки государственных. С того момента, как Лютер перевел Библию на немецкий язык, текст созданного им перевода стал нормой для всей Германии. В свою очередь на эту норму ориентировалась бюрократия многочисленных немецких королевств и княжеств, включая Австрию и Пруссию.

Подавление национальных меньшинств становится общей практикой именно начиная с XVIII в., поскольку они не вписываются в единую государственную структуру. Прежде никто не воспринимал в качестве серьезной проблемы сосуществование разноразличных племен и народов под властью единой короны. Этим даже гордились. Но с момента перехода к современному государству местные особенности должны отойти на второй план. Потому этнические меньшинства, которые до этого могли столетиями благополучно существовать под властью чужеродной династии, начинают: вдруг испытывать острый национальный гнет.

Разумеется, унификация имеет свои пределы. Например, венграм в XVIII–XIX вв., несмотря на все усилия, не удалось мадьяризировать свои национальные меньшинства. Одна из причин была достаточно комична: румыны и славяне просто не могли выучить венгерский язык! Поскольку же Венгрия не была полноценным национальным государством, развиваясь сперва под властью, а потом в конфедерации с Австрией, то немецкий язык оставался гораздо более удобным языком межнационального общения. В свою очередь венская бюрократия не могла последовательно и эффективно германизировать национальные меньшинства из-за сопротивления Венгрии. В значительной мере пестрота нынешней карты Центральной и Восточной Европы объясняется неспособностью австрийских и венгерских элит эффективно договориться между собой.

В тех случаях, когда власть оказывается не способна навязать один язык всей стране, она принуждена бывает дать официальный статус языку

национального меньшинства. Частично это произошло в Австро-Венгрии (например, в Хорватии). Шведская корона после Реформации поддержала перевод Библии на финский язык, тем самым придав ему статус второго официального языка в стране. Этот статус сохранился и после перехода Финляндии в состав Российской империи, что, опять же, способствовало формированию финнов как особой нации. Ничего подобного не случилось с многочисленными угро-финскими народами, находившимися под властью Московии. Зато финский национальный опыт повлиял на этническое самосознание эстонцев (и до известной степени — латышей).

По мере того как развивается история государства, в его рамках люди обретают коллективный опыт. Национальная общность становится реальностью — не только на уровне языка, но и на уровне эмоциональных переживаний, на уровне культурных стереотипов. «Воображаемые сообщества» обретают плоть и кровь.

4. Империи и нации

В начале XIX в. на севере Европы произошло радикальное изменение границ. По наущению Наполеона, российский император Александр I напал на Швецию и отторг от нее Финляндию. Даже патриотичное петербургское общественное мнение отнеслось к этому без малейшего сочувствия. «Бедные шведы!» восклицали в столичных салонах, узнав об очередной победе русского оружия. Когда же на Венском конгрессе шведы потребовали вернуть им утраченное, Петербург отдавать добычу отказался, однако не мог не признать обоснованность претензий. Шведов компенсировали, отдав им Норвегию, до того находившуюся под властью датского короля. С последними считаться уже никто не стал, может быть, потому, что датчане слишком долго оставались на стороне Наполеона, а может, из-за того, что Британия не была заинтересована в развитии Дании в качестве хоть и второстепенной, но все же морской державы.

Если бы передел границ на севере Европы не произошел, то сегодня мы имели бы здесь лишь две «государственные нации» — датчан и шведов. Норвежский язык никогда не отделился бы от датского. Финский язык выжил бы в Швеции в качестве второго государственного языка, но сами его носители считали бы себя шведами точно так же, как сегодня говорящие по-шведски граждане Финляндии считают себя финнами.

Но вышло иначе. К концу XX в. и Норвегия, и Финляндия пришли в качестве вполне состоявшихся государств с собственной культурой, историей, идентичностью. Формирование наций в значительной степени связано с причудами политической истории. Многие нации, которых могло бы и не быть, смогли появиться на свет, зато другие нации, которые вполне могли бы существовать, так и не сложились. Так, многовековую собст-

венную историю в Средние века имела Бургундия, которая, окажись Карл Смелый немного более удачлив в борьбе с французским Людовиком XI, была бы сейчас средних размеров европейским государством с собственным языком и культурой. То же самое могло произойти и с Аквитанией, которая в ходе Столетней войны между Англией и Францией чуть не превратилась в самостоятельное государство.

В национальной истории нет ничего мистического и нет никакого предопределения. Именно поэтому Маркс и особенно Энгельс в середине и в конце XIX в. отнеслись к национальным движениям с изрядной долей скептицизма.

Разумеется, национально-освободительную борьбу ирландцев и поляков они поддерживали, но отнюдь не потому, что требования польского или ирландского самоопределения были для них самоценны. Скорее волновали Маркса перспективы развития Британской и Российской империй.

Всем известны слова Маркса, обращенные к англичанам: народ, угнетающий другие народы, не может быть свободен. Подавление освободительного движения в Ирландии укрепляло реакцию в Англии. А само ирландское движение было не только национальным, но и социальным: католические крестьянские массы сопротивлялись эксплуатации со стороны английской буржуазии и помещиков-протестантов.

По отношению к России позиция Маркса хорошо известна: до 1860-х гг. он видел в Петербурге опору всей европейской реакции, потому польское сопротивление, ослаблявшее империю, воспринималось им как союзник революционных движений во Франции и Германии.

Совсем иначе реагировал Энгельс на движение славян в Австрийской империи. Поскольку южнославянские народы, надеясь получить автономию от Габсбургов, выступили против венгерской революции, он оценил эти национальные движения как реакционную силу. И в этой связи произнес знаменитые слова про «неисторические народы».

Позднее тезис об «исторических» и «неисторических» народах вызывал среди политически корректных западных марксистов недоумение. Его предпочитали замалчивать либо считали чем-то вроде неприятной оговорки, сделанной Энгельсом под влиянием господствовавших в тогдашней Европе имперских настроений. Между тем тезис Энгельса имеет глубокую историко-философскую основу. С ним можно спорить или соглашаться, но игнорировать его недопустимо.

Энгельс исходил из того, что возникновение наций отражает исторические потребности определенной эпохи. Это была эпоха становления капитализма. В рамках данного процесса формирование наций было необходимо и прогрессивно. Но как быть с народами, которые не сумели создать собственного государства в эпоху ранних буржуазных революций? С точки зрения Энгельса — «кто не успел, тот опоздал». Их стремление стать «полноценной» нацией в новую эпоху, когда на первый план выходят уже другие вопросы, ста-

новится реакционным. Ведь оно побуждает отстаивать лозунги прошлого, использовать методы, относящиеся к далекому прошлому, опираться на социальные и экономические интересы, давно уже не являющиеся передовыми.

Одно дело — XVII или XVIII в., когда передовая буржуазия стремилась объединиться на национальном уровне, чтобы противостоять феодальным империям и католической церкви, организованным в масштабе всей Европы. Другое дело — индустриальные времена, когда пролетариат стремится наладить единство действий, преодолевая границы, национальные и племенные барьеры. В этой ситуации стремление возводить новые границы и создавать новые «идентичности» становится инструментом реакционных сил, действующих по принципу «разделяй и властвуй», идеологией отсталых местных элит, сопротивляющихся прогрессу и стремящихся подчинить себе «своих» трудящихся. Точно так же и с экономической точки зрения, создание национальных государств в XVII и XVIII вв. означало интеграцию рынков, преодоление местных барьеров, ликвидацию провинциальных таможен и ускорение развития. Напротив, в изменившейся ситуации появление новых государств ведет к созданию новых барьеров, расколу единых прежде рынков, говоря современным языком, — разрушению сложившихся хозяйственных связей.

Взгляд Энгельса подтверждается значительной частью исторического опыта XX в. Видимо, не совсем случайно, что значительная часть национальных движений, стремившихся исправить историческую несправедливость по отношению к «неимперским» народам в Восточной Европе, оказалась на стороне фашизма. Сюда можно отнести Хорватию и Словакию, которые впервые получили государственную независимость при поддержке Гитлера, историю эстонского и латвийского легионов СС и, разумеется, украинскую дивизию СС «Галичина».

Становление национальных государств на Западе сопровождалось систематической ассимиляцией меньшинств, репрессиями и этническими чистками. Национальное пробуждение Восточной и Центральной Европы в XX в. привело к повторению таких же злодеяний, только в еще больших масштабах (учитывая возросшие технологические возможности государства и численность населения). Самым свежим примером является резня, сопровождавшая распад Югославии на национальные государства, а также этнические конфликты, следовавшие за ликвидацией Советского Союза.

Наконец, новые националистические режимы систематически подавляли как рабочее движение (носителя интернационалистских идей), так и собственные национальные меньшинства. Роли поменялись: угнетенными теперь оказались представители бывших «имперских» народов — немцы, русские, венгры, реже — поляки. В свою очередь, реальные или мнимые притеснения, которым подвергаются «соотечественники за рубежом», подпитывали националистические настроения среди «исторических наций», укрепляя там идеологическое влияние реакционных сил.

Короче, опыт XX в. заставляет серьезно отнестись к предупреждениям Энгельса. Однако сам по себе факт национального угнетения «неисторических» народов отрицать невозможно, даже если масштабы этого угнетения многократно преувеличивались националистическими идеологами. Так, в современной Прибалтике краеугольным камнем антирусской пропаганды является история массовой депортации в Сибирь граждан этих республик после установления там советской власти в 1939–1940 гг. На самом деле депортации проводились по социальному, а не этническому признаку (среди их жертв было немало число поляков и евреев, составлявших местную буржуазию). Точно так же репрессии в Прибалтике по своим масштабам ничуть не превосходили то, что происходило в России, причем продолжались в течение более короткого времени. Но в любом случае массовые репрессии невозможно отрицать.

Показательно, что все приведенные нами примеры относятся к Европе. Между тем уже при жизни Энгельса европейские державы колонизовали значительную часть Азии. Начиная с 1870-х ведется активное завоевание Африки. К концу XIX в. наряду с традиционным для Европы «национальным вопросом» появляется колониальный вопрос.

Если первые две трети XIX в. знаменовались формированием национальных государств, завершением которого становится объединение Италии и Германии, то последняя треть столетия оказывается временем бурного развития империй.

Новые имперские государства отличаются от традиционных. Эти империи представляют собой воплощенное противоречие: современное национальное государство в центре, традиционное, многонациональное, «имперское» государственное образование на периферии. В Европе существовала демократия, а в колониях действовала авторитарная власть.

Колониализм конца XIX в. был тесно связан с империализмом — новой фазой развития капитализма. Крупные корпорации, сконцентрировавшие в своих руках огромные финансовые ресурсы, использовали политическую экспансию европейских держав для овладения новыми рынками, причем, как отмечал позднее Ленин, вывоз капитала становился важнее, чем вывоз товаров.

Колониальные завоевания радикально отличались от захватов на территории Европы. Германия, овладев Эльзасом и Лотарингией в 1870 г., прилагала огромные усилия, чтобы превратить их жителей в настоящих немцев. Напротив, колонии в рамках империалистической системы никто не собирался интегрировать. Образ жизни центра и периферии должен был оставаться разным, чтобы сохранялись различия в цене и способах эксплуатации рабочей силы. Таким образом, сверхэксплуатация ресурсов в колониях позволяла смягчать социальные противоречия в Европе.

Закономерно, что национальное угнетение в колониях принимало совершенно иные формы, чем в Европе. Так, например, колонизаторы никогда не пытались запретить или подавить местные языки, ассимилировать туземцев.

Связано это было в первую очередь с тем, что туземное население было многочисленным, как правило многократно превышая по численности европейских переселенцев вместе с колониальной администрацией и войсками. Однако была и другая причина. Колониальная администрация сознательно поддерживала дистанцию между европейским и туземным обществом. Поскольку у туземцев существует собственная культура, традиции и общественный порядок, колонизаторы не обязаны предоставлять им демократические свободы и прочие права, которые местными традициями не предусмотрены. Так, британская колониальная администрация постоянно объясняла неравноправие местного населения именно уважением к культуре и нравам туземцев.

Высказывания Энгельса по колониальному вопросу нередко смущали позднейших марксистов. Учитывая огромную разницу в уровне развития между колониями и европейскими метрополиями, он считал необходимым их совместное существование на протяжении целой исторической эпохи. Сначала пролетариат Запада должен будет, по его мнению, взять власть в свои руки, а затем, постепенно развивая колонии, вести их народы к независимости. Маркс, который умер раньше, чем сложился империализм, тоже оценивал британский колониализм как явление далеко не во всем негативное. Осуждая завоевательную политику с нравственной точки зрения, он доказывал, что британское владычество будет способствовать не только экономическому развитию Индии, но и ее будущему становлению в качестве независимого национального государства. В Бирме автор «Капитала» горячо поддерживал британскую экспансию, связывая с ней надежды на установление более цивилизованного и гуманного порядка.

И в самом деле, большая часть институтов, созданных британцами в Индии, благополучно перешла по наследству к независимой республике. Больше того, уже при королеве Виктории Индия обладала всеми формальными атрибутами независимой державы: собственная армия и военно-морской флот, собственная валюта, почтовая служба, своя налоговая система (ни одной рупии из индийского бюджета не перечислялось в Лондон), собственное законодательство. Даже название Индийская империя говорило как бы о самостоятельном государстве. Но принципиальное отличие состояло в том, что это было государство сугубо авторитарное, управляемое чиновниками и военными, присланными из Лондона. Причем британцы возводили свою имперскую систему в Индии к порядкам, установленным до них Великими Моголами, а борцы против колониальной администрации ссылались на принципы английского парламентаризма. Борьба против колонизаторов на первых порах была не столько направлена на завоевание независимости, сколько на установление демократического режима по английскому образцу.

История не оправдала надежды Энгельса на то, что победивший пролетариат поведет колониальные народы к демократии и независимости. И все же подобные настроения невозможно приписать только влиянию буржуазной идеологии, от которого не оказался свободен даже один из основопо-

ложников марксизма. Они просто не обладали всей полнотой исторического опыта, который стал доступен лишь следующим поколениям марксистских мыслителей, сформировавшихся уже в эпоху империализма. Впрочем, революция в России показала, что Энгельс был не так уж наивен. Большевики смогли преобразовать колониальный режим, установленный царизмом в Средней Азии. Пришедший ему на смену порядок оказался весьма далек от марксистских представлений о социализме, но колониальным режимом в классическом смысле слова он уже не был: Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия развивались в рамках Советского Союза как равноправные части федерации, а не как колонии. Они страдали от многочисленных пороков советской системы, но от этих пороков в равной степени страдали все. Объектами сверхэксплуатации они не были.

5. Права наций

Марксисты, жившие в эпоху империализма, вынуждены были анализировать национальный вопрос по-новому. Колониальные народы мечтали о независимости, и отказывать им в этом праве значило бы поддерживать империалистическую систему. В то же время соперничество великих держав — межимпериалистические противоречия — породили новые конфликты. Назревала большая война, всем было понятно, что европейские границы, относительно стабильные на протяжении большей части XIX в., не являются окончательными. Тем временем романтическая идеология национального возрождения овладела Восточной и Центральной Европой. Мелкая и средняя буржуазия, принадлежащая к «неимперским» нациям, видела в национальной идее знамя, под которым можно будет отстаивать свои интересы против крупной буржуазии и централизованной бюрократии, принадлежащей к «имперским» народам. Наконец, нерешенными оставались старые вопросы — польский и ирландский. Рабочее движение не могло игнорировать все эти проблемы. Становясь серьезной политической силой, оно должно было формулировать собственные позиции по всему комплексу тем, волновавших общество.

Марксизм начала XX в. предложил три различных подхода к национально-колониальному вопросу. Причем по-своему закономерно, что эти три ответа были сформулированы в трех соседних странах.

Первыми озаботились решением национального вопроса социал-демократы в Австро-Венгрии. Это неудивительно, ведь на протяжении последних двух десятилетий истории Габсбургской империи в ее пределах постоянно обсуждались проекты государственной реформы, направленной на удовлетворение конфликтующих амбиций национальных и региональных элит. Удовлетворив компромиссом 1867 г. интересы венгерской аристократии и буржуазии, Габсбурги спровоцировали аналогичные требования со стороны чехов и хорватов, а угнетение национальных меньшинств к землям

венгерской короны резко усилилось после того, как бюрократия Будапешта обрела самостоятельность по отношению к «старшему брату» в Вене.

Ответом социал-демократов стала концепция национально-культурной автономии. В значительной мере именно благодаря этой концепции австромарксизм стал знаменит во всей Европе. Его теоретики (Отто Бауэр, Карл Реннер, Макс Адлер и Фридрих Адлер) предлагали разделить национальные права и территориальный вопрос. Представители народа обладают определенными правами независимо от того, на какой территории находятся. Им нужно обеспечить образование на родном языке, соблюдение их традиций и обычаев. Все школы должны финансироваться государством на равных основаниях, идет ли речь о преподавании на имперском языке или на языке национального меньшинства.

Но по отношению к государству никаких иных прав, кроме культурных, национальные группы не имеют. Право на собственную культуру и язык не означает права на создание собственного государства. Точно так же оно не предполагает исключительного статуса для какого-то одного из многочисленных культур и языков на какой-то части территории империи. Субъектом культурной политики и носителями коллективных прав должны стать этнические и религиозные общины или землячества. Но они не являются субъектами государственной политики. В отношении последней существуют лишь равноправные граждане, права которых никак не различаются и никак не связаны с религией или этническим происхождением.

Легко заметить, что австромарксистская программа представляла собой попытку спасти целостность Австро-Венгерского государства, одновременно удовлетворив справедливые требования меньшинств. Стремясь вывести национальный вопрос из сферы политики в сферу культуры, австро-марксисты пытались сосредоточить внимание рабочих на объединяющих их классовых интересах и общих политических целях.

Гораздо более жесткую позицию заняла Роза Люксембург. Будучи польской еврейкой, проведшей большую часть жизни в Германии, но хорошо знакомой и с проблемами Российской империи, она рассматривала национальные движения как сугубо мелкобуржуазные и в целом реакционные. Смысл любого национального государства в том, чтобы подчинить рабочих господству буржуазии. В этом плане нет никакой разницы между национализмом имперской столицы и оппозиционным национализмом малых народов. Как только оппозиционные националисты придут к власти, они покажут себя ничем не лучше, или даже хуже, имперского правительства (говоря это, Роза Люксембург опиралась на знакомство с польским национализмом, который показал себя во всей красе в 1920-е гг.). Недопустимо потакать националистическим движениям под тем предлогом, что они противостоят империалистической системе. Польские, украинские или финские социалисты должны действовать в рамках общего движения со своими русскими братьями по классу и вместе с ними после победы строить социалистическое общество.

Очевидная слабость позиции Розы Люксембург состояла в том, что национальные, этнические и религиозные различия не исчезают в момент свержения власти капитала. Иными словами, даже если полностью согласиться с ее оценкой национальных движений как сугубо реакционных в рамках капитализма, встает вопрос, как будет решать подобные проблемы новая власть? Вразумительного ответа на него мы у Розы Люксембург не находим, если не считать адресованного в 1918 г. большевикам призыва ни при каких обстоятельствах не идти на соглашение с мелкобуржуазными националистами — татарскими, украинскими и т. д. В условиях, когда большевистская власть сражалась с наседавшими со всех сторон белыми, следовать подобным советам (и плодить врагов) было бы равносильно самоубийству.

Третьим участником дискуссии по национальному вопросу оказался Ленин. В отличие от Розы Люксембург и австро-марксистов, он мало заботился о сохранении многонациональных империй. Напротив, тактический союз национально-освободительного движения и рабочих организаций он считал важным залогом успешной борьбы.

Если национальные движения выступают против царизма, рассуждал Ленин, значит, они наши союзники. Да, они мелкобуржуазны. Но в такой мелкобуржуазной стране, как Россия, завоевать массовую поддержку, не учитывая подобные интересы, невозможно. А удовлетворить притязания национальных движений будет легче, нежели политические претензии мелкобуржуазных партий, действующих в общероссийских масштабах. Первые будут претендовать на местное влияние, вторые на государственную власть.

Ленин не придумал формулу о праве наций на самоопределение. Тот же лозунг выдвигали и сами национальные движения, не говоря уже о части либералов. Президент США Вудро Вильсон сделал самоопределение наций важной частью американской пропаганды во время Первой мировой войны. Однако Ленин дал вопросу о самоопределении наций марксистскую интерпретацию, связав его с вопросом об империализме.

Прежде всего для Ленина существовало принципиальное различие между национализмом имперской и угнетенной нации. В первом случае мы имеем идеологическое обоснование существующего порядка, во втором — призыв к переменам, который объективно расшатывает империалистическую систему. В первом случае все лозунги — ложь и демагогия, направленная на то, чтобы отвлечь пролетариат от классовой борьбы, заставить рабочих поддерживать «свою» буржуазию. Во втором случае имеет место законный протест против реальной несправедливости.

Впрочем, право наций на самоопределение, по Ленину, отнюдь не означает, что каждая народность должна обязательно создавать собственное государство. Это особенно важно для понимания дальнейшей эволюции взглядов большевистского лидера. Не случайно говорил он о «самоопределении вплоть до отделения». Иными словами, создание независимого государства все же крайний случай, возможны и другие способы удовлетворения законных национальных потребностей.

6. Ленинский федерализм

Рассуждая о польском вопросе, Ленин как-то заметил, что польский социалист может быть либо сторонником независимости, либо сторонником какой-то формы объединения с Россией, это его свободный выбор. Но русский социалист, который выступает против польской независимости, с точки зрения Ленина, — просто мерзавец, подыгрывающий царскому правительству.

Критики большевизма позднее указывали на противоречие между антиимперскими высказываниями Ленина времен пребывания в оппозиции и его же собственной политикой после прихода к власти. Между тем противоречие это мнимое. Заявления Ленина всегда относятся к конкретной ситуации и неизменно связаны с его анализом классовой борьбы. Лозунг самоопределения позволяет ему создать общий фронт с национальными движениями против империалистического государства. Но как быть, если лозунг самоопределения используется империалистическими державами друг против друга (как случилось уже во время Первой мировой войны) или как способ ослабить государство, где у власти оказалась рабочая партия?

С этими проблемами Ленин столкнулся в 1917–1918 гг. Придя к власти, большевики легко предоставили независимость Финляндии, где в тот момент побеждали социал-демократы. Гораздо более сложным было отношение к независимости Украины, где власть досталась буржуазным силам. Между тем развитие событий в Финляндии не оправдало ожиданий Ленина — при невмешательстве большевистской России революционное движение здесь было подавлено немецкими интервентами.

Для Ленина стало очевидным, что в условиях Гражданской войны трудно соблюдать уважение к суверенитету, тем более когда речь идет о новых, еще не оформившихся государствах. На протяжении Гражданской войны главным критерием для большевиков становится, способствует ли то или иное политическое решение победе над неприятелем. Политическое положение, как говорил тогда Ленин, свелось к военному. Если антиимперские национальные движения в начале XX в. рассматривались как союзники, то теперь они делятся на союзников и противников в зависимости от того, как они относятся к рабочему движению и к пролетарской власти. К концу войны становится очевидно, что надежды на революцию в Европе рухнули. Соответственно, укрепление собственного государства становится классовой задачей: ведь советскому государству предстоит быть единственным на континенте очагом революции (точно так же, как это было с Францией за сто лет до того).

Независимые режимы в Грузии, Армении и Азербайджане ликвидируются, поскольку большевистской России нужны бакинская нефть, батумский порт, а бывшие российские губернии могут использоваться как плацдарм для белой интервенции. А с Эстонией заключается в Тарту мирный договор, признающий очевидно несправедливые требования эстонцев (контрибуция, захват Ивангорода), ради главного — гарантий того, что с территории республики не будет поддерживаться наступление белых на Петроград.

Можно сказать, что принцип национального самоопределения был подчинен Лениным принципу классовой борьбы. Однако это вовсе не сделало вождя большевиков противником национальных прав как таковых. Как раз напротив, после того как революционные войска подавили попытки закавказских и украинских националистов создать собственные государства, Ленин задумался о том, как могут быть обеспечены национальные права при новой власти. Если большевистская Россия в условиях жесткого противостояния с империализмом не может допустить создания независимой Украины или Грузии, отсюда, подчеркивает Ленин, отнюдь не следует, будто у грузин или украинцев нет справедливых национальных интересов, которые по мере возможности должны учитываться.

Национально-культурная автономия казалась Ленину недостаточной. Национальные права следовало гарантировать на государственном и административном уровне. Решением стал федерализм. Советский федерализм по Ленину решительно отличался от всего предшествующего опыта, если не считать швейцарских кантонов, явно повлиявших на вождя русской революции, жившего там в эмиграции. Большинство федераций, созданные по образцу Соединенных Штатов Америки, были чисто территориальными образованиями. Советский Союз стал федерацией национально-территориальной. Каждое крупное национальное меньшинство получало в нем собственную территорию, на которой можно было создать некоторое подобие национального государства. При этом Ленин постоянно подчеркивал, что простого равноправия недостаточно. Для того чтобы компенсировать последствия многолетнего, многовекового угнетения, национальные меньшинства должны получить некоторые преимущества (позднее на Западе это называли «позитивной дискриминацией»).

Легко заметить, что австро-марксисты разрабатывали свою теорию в условиях, когда население империи было этнически куда более перемешанным. Ни одна из основных этнических групп Австро-Венгрии не была ограничена собственной территорией. Поэтому попытки разделить между ними бывшую империю вызвали бы лишь новую волну конфликтов. Что, собственно, и произошло после распада империи.

Напротив, население экономически менее развитой Российской империи было куда более сельским, более привязанным к земле, а потому и менее перемешанным этнически. Именно поэтому идея национального федерализма смогла на первых порах относительно успешно работать. Но с самого начала в ней были заложены определенные противоречия. Ведь прогрессирующее экономическое развитие Советского Союза сопровождалось в возрастающих масштабах миграцией населения. Представители разных народностей перемешивались, создавая подобие единой нации. Однако в условиях этнического федерализма возникало и противоречие между все более космополитичным «советским народом» и национальными квазигосударствами, которые были основаны на совершенно ином принципе.

Принцип позитивной дискриминации в сочетании с развитием национальной государственности для всех народов привел к формированию бюрократических аппаратов на этнической основе. Национальные кадры, составлявшие массу партийного и советского чиновничества на местах, были, с одной стороны, психологически очень похожи друг на друга, но, с другой стороны, разделены этническими барьерами. Каждая этническая группа внутри бюрократии получила свою сферу влияния, которую старательно оберегала. Принадлежность к «титульной нации» данной республики была важным критерием продвижения по службе. На фоне куда более однородного «советского народа» крупных городов республиканская бюрократия, формировавшаяся в значительной мере сохранившимися «национальные» корни выходцами из деревни, была как наиболее отсталым, так и наименее интернационалистским элементом общества.

В итоге возникла ситуация, когда государственный аппарат формально еще единого государства оказался гораздо менее заинтересован в сохранении Союза, нежели большинство населения. Не массовые национальные движения развалили СССР, а бюрократический сепаратизм, причем не узбекские, украинские или грузинские, а именно русские бюрократы со своими узкокорыстными и местническими интересами сыграли в этом деле роковую роль.

В конечном счете, впрочем, поражение ленинского федерализма было вызвано не порочностью идеи самой по себе, а общим процессом вырождения советской бюрократии. В сочетании с широкой политической демократией подобная модель федерализма может иметь большие шансы. Советский опыт повлиял на становление союзного государства в независимой Индии, его учитывали даже в Канаде, определяя статус франкоязычного Квебека. С другой стороны, австромарксистская концепция национально-культурной автономии по-прежнему выглядит привлекательной для обществ с этнически неоднородным населением.

7. Полиэтнические сообщества и расизм

В одном из лондонских музеев висит картина, изображающая сражение с французами. Во время американской Войны за независимость французы, поддерживавшие восставшие штаты, высадили десант на принадлежавшем Британии небольшом острове в проливе Ла-Манш. Командир гарнизона был убит в бою, но младший офицер поднял солдат в контратаку и сбросил захватчиков в море. Этот момент и воплощен на полотне. В центре композиции, поднимая дух бойцов в красных гренадерских мундирах, с мушкетом в руках стоит молодой человек в темно-синей форме лейтенанта морской пехоты. Впрочем, он резко выделяется не только из-за своей формы. Он негр.

Колониальная экспансия уже в XVII–XVIII вв. сделала необходимым совместное существование людей, принадлежавших к разным расам и культурам. Однако само по себе это отнюдь не вело к появлению расизма или

межэтнических конфликтов. Еще в начале XX в. многие европейцы смотрели на расизм как на идеологическую проблему, специфичную для Соединенных Штатов Америки и совершенно чуждую Старому континенту.

Крушение колониальных империй привело к концу XX в. к новому великому переселению народов. Предоставив колониальным странам политическую независимость, европейские державы не освободили их от экономической эксплуатации. Разрыв в стоимости рабочей силы в странах центра и периферии оставался одним из главных факторов, определявших развитие глобального рынка труда и перемещение капиталов. Неудивительно, что стихийной реакцией населения угнетенных стран стало переселение в бывшие колониальные метрополии — навстречу более выгодным условиям найма. Чем больше людей имело доступ к европейским языкам и образованию, тем больше их стремилось попытать счастья на рынке труда в Европе и США.

На первых порах европейские элиты рассматривали приток иммигрантов как позитивный фактор. Это стимулировало экономический рост, одновременно оказывая давление на собственных рабочих. Ведь иммигранты готовы были занимать худшие рабочие места, соглашались на минимальную зарплату. Но изменившийся в итоге этнический и религиозный состав населения породил множество новых проблем, к решению которых ни правящие классы, ни европейское общество в целом не были готовы.

В отличие от национальных меньшинств в Европе XIX в. новые меньшинства экстерриториальны. Их родина далеко, они не собираются туда возвращаться и постепенно утрачивают с ней связь. Отсюда, впрочем, не следует, будто они успешно интегрируются в европейское общество.

Еще одной особенностью экстерриториальных меньшинств является их концентрация в городах, особенно — в крупных городах. У них нет и не может быть «своей» деревни, своеобразного культурно-политического тыла, на который можно опереться в противостоянии господствующей культуре. В результате их собственная культура становится до известной степени нестабильной. Она колеблется от стремления к полной интеграции и космополитизма до крайне жесткого, ультраконсервативного отстаивания собственной идентичности, религиозных традиций, обрядов и т. д.

Между тем существование полиэтнических обществ было новостью только для Европы Нового времени, привыкшей жить в рамках национальных государств. Для других регионов и эпох подобное положение дел, напротив, было нормой.

Для традиционных обществ типично этническое разделение труда, когда те или иные профессии закрепляются за определенной группой по расовому, национальному, религиозному или кастовому признаку (албанские булочники в Сербии, ассирийские чистильщики обуви в России и т. д. и т. п.). Для элиты традиционного общества подобная система крайне удобна. Ситуация предсказуема и управляема. Подготовка кадров превращается во

внутреннее дело общин. Претензии тех или иных групп могут быть заранее предсказаны и учтены.

Этническое разделение труда создает видимость, будто социальная иерархия является на самом деле национальной или расовой. Подчиненные группы привыкают к своей участи, предопределенной якобы их рождением, «кровью», цветом кожи. А группы, находящиеся на более высокой ступени в социально-трудовой иерархии, культивируют свои преимущества (например, ирландцы в ранних США по отношению к неграм).

На идеологическом уровне этническое разделение труда рано или поздно неизбежно закрепляется в форме расизма. В свою очередь, расистская идеология помогает упорядочить управление процессом. Так, в Америке XVII в. рабство не было исключительной участью невольников из Африки. В рабство обращали и белых поселенцев. Однако постепенно рабство приобретает этническую и расовую окраску. А на идеологическом уровне такое положение дел должно быть обосновано теорией о расовой неполноценности негров. Если бы этнического закрепления рабства не было, его гораздо труднее было бы обосновать идеологически. И наоборот, без соответствующих идеологических аргументов поддерживать систему в рабочем состоянии было бы куда труднее.

Проблема в том, что идеология обладает собственной инерцией. Этническое разделение труда ведет к культивированию различий, а также к формированию определенных стереотипов в массовом сознании. Причем эти стереотипы могут быть объективно обоснованы. Например, если негритянское население Америки на протяжении столетий не занималось ничем, кроме физического труда, появляется возможность «с фактами в руках» доказать, что негры ни на что, кроме физической работы, не пригодны. Если спорт и музыка становятся одними из немногих каналов, по которым американцы африканского происхождения получают возможность подняться вверх, появляется резон говорить об особых способностях негров к спорту или, например, к джазу. При этом не важно, есть ли такие способности на самом деле: в любом случае имеется огромное количество фактического материала, подтверждающего данный тезис.

Как правило, расистские стереотипы негативно окрашены (хотя бывают и спорные случаи, например, миф об исключительных сексуальных способностях негров, который может толковаться и в пользу черной расы), причем не важно, что зачастую они противоречат друг другу. Так, негров осуждают за то, что они «пригодны» лишь к физическому труду, не занимаются математикой, теоретическими науками и т. д. О евреях, напротив, с таким же осуждением говорят, что они занимаются математикой вместо физического труда. Негров презирают за то, что они якобы не проявляют способности к бизнесу, а евреям ставят в вину их стремление к «гешефтам».

8. Антисемитизм

Еврейский вопрос в европейских национальных государствах XVII–XIX вв. был одним из немногих примеров противоречий, возникающих на почве этнического разделения труда, а сами евреи долгое время оставались единственным крупным экстерриториальным национальным меньшинством в рамках европейской цивилизации.

Каким образом еврейские общины смогли на протяжении полутора тысяч лет сохраниться во враждебной им религиозно-политической среде, не утратив своей самостоятельности и не ассимилировавшись? Иудейские религиозные мыслители, отвечая на этот вопрос, неизменно ссылаются на верность народа своим традиционным книгам. Однако опыт XX в. показал, что еврейские массы охотно ассимилировались в господствующую культуру, если только им предоставлялась малейшая возможность. Дело не в том, что евреи хотели жить отдельно от христиан, а в том, что иного выбора им не оставляли. Специфическая история евреев объясняется все тем же этническим разделением труда.

Средневековая экономика, как христианская, так и мусульманская, сводила к минимуму денежное обращение. Не только в аграрном обществе европейского феодализма, но и в гораздо более урбанизированном обществе исламского Ближнего Востока финансовые операции были жестко ограничены, а ростовщичество и вовсе запрещено. Однако обходиться полностью без финансовых операций было невозможно. Для того чтобы освободить правоверных от греха, эту функцию поручали евреям.

Разумеется, жители иудейских гетто занимались не только работой с деньгами. Но их место в обществе было предопределено именно этим. Евреев дискриминировали, но власть отнюдь не была заинтересована в их поголовной ассимиляции и тотальном обращении в ислам или христианство. Время от времени их выселяли из того или иного города либо страны, но еще чаще — специально завозили. В результате, несмотря на все ограничения (а на самом деле — благодаря им), иудейские общины распространились по Европе и Азии далеко за пределы их первоначального расселения, вплоть до Дании, Швеции, Шотландии.

Параллельное и раздельное существование многочисленных общин породило в них одинаковый, но не общий опыт, который лег в основу своеобразной и гротескной культуры.

Государство повсеместно запрещало им земледельческий труд, ограничивало участие в других областях жизни, систематически формируя из потомков древнего народа своеобразное сословие торговцев, ремесленников и финансистов. Единственной отдушиной оставалась интеллектуальная деятельность, первоначально сводившаяся к изучению запутанных религиозных книг.

9. Разбросанные по пространствам Европы и Азии

Неудивительно, что на пороге Нового времени именно еврейская среда оказалась наиболее приспособленной к тому, чтобы вписаться в формирующуюся буржуазную экономику. Еврей к началу эпохи первоначального накопления капитала был уже готовым буржуа (в работе «К еврейскому вопросу» Маркс показывает, что эта связь была зафиксирована в немецком языке даже на лексическом уровне). Причем буржуазны были не отдельные представители общин, а весь «народ», которому просто не давали других форм социальной жизни.

Парадоксальным образом, многовековая дискриминация обернулась конкурентным преимуществом в изменившихся условиях. Однако еврейские общины, находясь в политическом смысле на периферии европейского общества, не могли накапливать крупный капитал. Иными словами, они были обречены на мелкобуржуазное развитие, выступая в качестве младшего партнера формирующейся национальной буржуазии.

Антисемитизм низов был порожден малоприятным опытом столкновения с ростовщическим капиталом и вообще негативными сторонами рынка, повседневным воплощением которых становился еврейский делец. А для крупной национальной буржуазии антисемитизм оказывался средством контроля за младшим партнером, поддержания этнического разделения труда, но не в низах, а в средних слоях общества. В этом, кстати, отличие европейского антисемитизма от американского расизма в XIX столетии. Расизм призван был не допустить проникновения негров в средний класс, закрепить пребывание их в той же социальной нише, которая осталась им после официальной отмены рабства. Напротив, антисемитизм был направлен на то, чтобы не позволить еврейской мелкой буржуазии вырваться из положения низшего среднего класса, в то время как масса представителей еврейских общин активно искала путей не только вверх, пытаясь примкнуть к крупной буржуазии, но и в мир наемного труда, становясь рабочими и служащими.

Вполне понятно, что националистические еврейские книги возводят антисемитизм к средневековым гонениям, однако на самом деле это явления совершенно разного порядка. Средневековые воспринимало иудеев как иноверцев, врагов Христа (которых тем не менее почему-то терпели, в отличие от еретиков, которые имели неосторожность верить в Христа несколько иначе, чем учила официальная церковь). Антисемитизм нового времени, даже если он демагогически использовал средневековую теологическую аргументацию, базировался на этническом подходе, позаимствованном из идеологии расизма.

Связь современного антисемитизма и раннекапиталистического социального опыта несомненна. Показательно, что в странах Ближнего Востока, где продолжало существовать традиционное общество, сохранялись и традиционные формы религиозной сегрегации (разделение социально-экономических функций для мусульман, евреев и христиан). Антисемитизм как та-

ковой был завезен туда с Запада и особенно распространился после начала переселения в Палестину европейских евреев-ашкенази.

Потребность в этническом разделении труда внутри буржуазии в основном исчезла к середине XIX в., и вместе с ней в большинстве стран сошли на нет законы, ограничивающие гражданские права лиц иудейского вероисповедания.

Интеграция буржуазии стала назревшей потребностью. Казалось бы, вопрос исчерпан: верхи еврейства влились с капиталистическую элиту, а низы пополнили ряды городского пролетариата, примкнув к рабочему движению и революционным партиям. Специфичной была ситуация в России начала XX в., где социальные процессы, характерные для периода формирования капитализма, наложившись на сохранившиеся традиционные формы дискриминации — «черту оседлости» (ограничение передвижения), «процентную норму» (ограничение права на образование). В то время как в Западной Европе происходила интеграция, русский царизм сохранял методы политического контроля, использовавшиеся на Западе в XVII–XVIII вв. Впрочем, все это уже выглядело явным анахронизмом, что понимала не только российская буржуазия, но и значительная часть чиновничества.

Однако в то самое время, когда верхи предпринимательского класса были готовы отказаться от предрассудков прошлого, происходит своеобразная демократизация антисемитизма — идеология идет в массы, превращаясь в знамя правых националистических партий, апеллирующих к мелкой буржуазии. Это был неприятный сюрприз для буржуазных немецких евреев, искренне поддерживавших формирование империи.

Выяснилось, что «образ врага», тем более сформированный и отшлифованный за несколько столетий культурной истории, сам по себе имеет пропагандистскую ценность. Он становился удобным средством для манипуляции, оптимальной «ложной целью», на которую можно ориентировать массовый гнев, отвлекая людей от фундаментальных противоречий капиталистической системы. Неправильно думать, будто для немецкого национал-социализма и других форм европейского фашизма антисемитизм был принципиальной идеологической основой — история знает как антисемитские движения, не являвшиеся фашистскими, так и фашистские организации, не являвшиеся антисемитскими. Но антисемитизм оказался идеальным инструментом идеологической мобилизации, великолепным средством пропаганды против интернационалистского рабочего движения. Демоны идеологии начали жить собственной жизнью, диктуя политической борьбе собственную логику. Одно событие тянуло за собой другое. Антисемитизм оказался институционализирован, сделался частью государственной системы германского рейха. Результатом стали концентрационные лагеря и «окончательное решение еврейского вопроса», которое оказалось полной неожиданностью для миллионов вполне интегрированных европейцев иудейского вероисповедания, не веривших, что нечто подобное может быть совершено немцами, этим цивилизованнейшим народом.

10. Сионизм

После Второй мировой войны расизм и антисемитизм были настолько дискредитированы, что казалось невозможным их возрождение в любой форме. Однако уже к концу XX столетия ситуация радикально изменилась.

В случае с антисемитизмом решающую роль сыграли два фактора: появление Государства Израиль и позднее капиталистическая реставрация в Восточной Европе.

Сионизм — идеологическое основание строительства израильского государства — самими его идеологами рассматривается как ответ на антисемитизм европейского и отчасти ближневосточного общества. На самом деле, однако, ничуть не в меньшей, а может быть, и в большей степени он является ответом буржуазной части еврейских общин на рост влияния интернационалистского рабочего движения.

Социалистические партии предлагали национальным меньшинствам перспективу интеграции в общество, которая не требовала отказа от собственной культуры. Для пролетарского интернационализма начала XX в. все это просто не имело значения. Важна была принадлежность к классу. Все остальное превращалось во второстепенный вопрос, тему частных разговоров. Сознательный пролетарий должен был сознавать свое братство со всеми трудящимися мира, независимо от того, где, под какой властью они живут, на каком языке они говорят и какому богу молились их родители.

Подавляющая масса еврейских низов в конце XIX в. с энтузиазмом вступала в марксистские партии. Опыт дискриминации и угнетения в сочетании с новым классовым сознанием делал представителей еврейских низов активными участниками революционного движения. А сосуществование многочисленных общин по всей Европе давало еврейскому ремесленнику, пролетарию или интеллектуалу наглядный урок практического интернационализма. Сочувствие единоверцам, разбросанным по миру, сменялось куда более мощным и позитивным переживанием солидарности с объединяющимися в мировом масштабе миллионами сознательных рабочих.

Легко догадаться, что в подобной ситуации буржуазные верхи общины и ее традиционные религиозные лидеры стремительно теряли контроль над низами. Еврейские низы были крайне опасным материалом. Их лояльность по отношению к национальному государству (и восприимчивость к его «имперской» пропаганде) была явно понижена, а радикализм, соответственно, повышен в сравнении со «среднестатистическим» уровнем. Нужен был механизм, позволявший хотя бы частично восстановить контроль. Он был найден, точнее, позаимствован из арсенала европейского национализма.

Для того чтобы «своя» буржуазия получила влияние на «свои» массы, необходимо было «свое» государство. Такое государство можно было построить, только отняв кусок чужой земли, поскольку своей уже две тысячи лет как не было. При этом евреи должны были стать «народом как все»

(что на практике как раз означало ликвидацию специфической еврейской идентичности и уникальной культуры). Поразительным образом сионизм соединил программу борьбы против социальной и национальной ассимиляции (интеграции евреев в сложившееся «христианское» общество) с идеологией культурной свехассимиляции (евреи должны создать общество и государство такое же, как у всех остальных).

Сам по себе процесс переселения создавал идеальные возможности контроля, поскольку десятки, а потом тысячи людей отрывались от родных мест, попадали в полную зависимость от сионистских структур, организовывавших и оплачивавших переезд, а по прибытии на место — от национально-государственных структур, создаваемых в Палестине.

Тот факт, что на первых порах сионизм выступал с крайне радикальной социальной программой, не должен вводить в заблуждение. Учитывая революционные настроения, владевшие еврейскими массами в Восточной Европе, откуда шла большая часть переселенцев, никакая другая идеология, кроме левосоциалистической, получить поддержку не могла.

Сионистские организации повсеместно развивались в остром соперничестве с левыми движениями, включая и революционные еврейские группировки, созданные по этническому признаку («Бунд», Социалистическая еврейская рабочая партия — СЕРП). В этом соперничестве они почти наверняка проиграли бы — переселенческие общины в Палестине не достигли бы критической массы, необходимой для создания государства, — если бы не успех нацизма в Германии. Массовые репрессии, а затем и угроза полного уничтожения вытолкнули из Европы множество людей, а ужас концентрационных лагерей дал идеологическое и моральное обоснование сионистскому проекту. Довершила успех совместная поддержка США и Советского Союза, пытавшихся ослабить на Ближнем Востоке позиции дряхлеющей Британской империи.

Между тем «собственное» национальное государство не просто получило в Израиле «как у всех», но и выработало систему жесткого корпоративного контроля над населением. Находясь в постоянном конфликте с соседями, Израиль неизбежно должен был стать зависим от внешней поддержки, что превратило его в конечном счете в инструмент внешней политики Соединенных Штатов.

Легко догадаться, что строительство Израиля сопровождалось ростом антиеврейских настроений в арабских массах, причем далеко за пределами Палестины (тем временем национальное движение палестинских арабов начало заимствовать идеологические клише сионизма — «народ без земли», «право на возвращение» и т. д.).

Критика сионизма оказалась удобным прикрытием для пропаганды крайне правых, стремившихся избежать обвинений в прямом цитировании нацистских идей. Однако подобный «антисионизм» (в отличие от марксистской критики сионизма) не содержит ничего нового по сравнению с тра-

диционным антисемитизмом. По большей части она направлена на поиски еврейского заговора, стоящего за спиной левых и демократических организаций. Показательно, что такая «антисионистская» пропаганда часто завершается обращенными к евреям призывами «убираться в свой Израиль» (т. е. выполнять программные требования сионистов).

Неолиберальные реформы конца XX в. и реставрация капитализма в Восточной Европе создали ситуацию масштабного социального кризиса, вызвали деклассирование изрядного количества людей. Ужас от столкновения со слепыми рыночными силами, описанный Фроммом применительно ко временам раннего капитализма и к Великой депрессии 1929–1932 гг., повторился, причем как на Западе, так и в Восточной Европе. В схожих социальных условиях развиваются и схожие идеологии.

Аргументом антисемитской пропаганды в России конца XX в. становится существование целой группы «еврейских олигархов», появление которых вызвано примерно теми же причинами, что и возникновение еврейской буржуазии на Западе в эпоху раннего капитализма. Представители национальных меньшинств, обреченные на вторые роли в рамках советской номенклатуры 1970–1980-х гг., к началу перестройки неожиданно оказались на идеальных стартовых позициях. Вторые роли стали в чем-то выигрышнее первых. Ведь высокопоставленные партийные и государственные функционеры не могли открыто присваивать себе государственную собственность, им нужны были младшие партнеры, посредники, через которых будут проводиться подобные операции. Посредники, естественно, не забыли о собственных интересах, причем настолько, что многие из них, перестав быть младшими партнерами номенклатурного капитала, сделались самостоятельными олигархами. Правда, к началу XXI в. ситуация более или менее «нормализовалась». В новой корпоративной элите, постепенно пришедшей на смену олигархам, представители этнических меньшинств уже не играли столь заметной роли, как в середине 1990-х гг.

11. Новый национализм, исламофобия

Каковы бы ни были преступления новоявленных предпринимателей, наживших капитал на разграблении государственного имущества, каково бы ни было их этническое происхождение, главная причина роста ультраправых настроений на рубеже XX и XXI вв. лежит в общих процессах развития капитализма.

Неолиберальная реакция подорвала не только систему социальной защищенности, но ослабила и социальные связи между людьми. В условиях дефицита солидарности растет потребность в появлении символического общего врага, что позволило бы соединить людей хотя бы на символическом уровне. Чем более деклассировано общество, тем легче им ма-

нипулировать, причем различные идеологии, направленные на манипулирование массами, часто находятся в состоянии соревнования.

Национализм заполняет вакуум, растущий по мере того, как миллионами людей осознается лживость обещаний либеральной идеологии. В начале XX в. классовая организация рабочих в большинстве стран не допускала возникновения подобного идеологического вакуума. Дело не только в том, что пролетарии объединились вокруг социалистической программы. Рабочее движение было способно осуществить гегемонию, ведя за собой значительную часть мелкобуржуазного и деклассированного населения.

В 1929–1932 гг. гегемония левых была ослаблена. Само рабочее движение в условиях Великой депрессии оказалось дезорганизованным, профсоюзы потеряли многих членов и часть влияния. Это было дополнено расколом рабочих партий на противостоящих друг другу социал-демократов и коммунистов, причем в среде последних происходило собственное размежевание между сталинистами и левой оппозицией. Итогом стала победа нацизма в Германии. Победа, обеспеченная не только большинством голосов на выборах, но и идеологическим влиянием среди безработных, мелкой буржуазии и даже части рабочих.

В конце XX – начале XXI в. ситуация оказалась во многом похожа, но с идеологической точки зрения даже более драматична. Кризис неолиберального капитализма вызвал массовое недовольство. Но общество страдает от социальной дезорганизации, классовые связи ослаблены. А с другой стороны, фиаско потерпели обе исторические формы левого движения, действовавшие в индустриально-развитых странах на протяжении ушедшего века.

Коммунистическое движение пережило катастрофу как идеологическую, так и организационную. Эта катастрофа оказалась закономерным долгосрочным результатом сталинистского проекта, подчинившего партийные организации государственным интересам и политической линии СССР. Крушение Советского Союза оказалось концом и для движения, причем не только в ортодоксально-сталинистской, но и в еврокоммунистической форме. Однако не много выиграла и социал-демократия, превратившаяся в корпорацию по социально-ответственному управлению капиталистической системой.

В условиях, когда верхушка буржуазии потеряла интерес к социально-ответственному управлению, социал-демократические партии сделали, пользуясь выражением Грамши, «пустой скорлупой», формой без содержания.

Неудивительно, что ультраправые идеологии снова вышли на поверхность. Причем не только в своей традиционной форме («Национальный фронт» во Франции, «Партия Свободы» в Австрии), но и в извращенной право-левой, «бело-красной» форме, как это наблюдалось в России 1990-х гг. Впрочем, последнее не является уникальным случаем. Различные варианты «левого фашизма» можно встретить на протяжении 1920-х гг., следом этого было и название гитлеровской партии — Национал-социалистическая рабочая.

Новый национализм сталкивается с изменившейся реальностью этнически пестрого и урбанизированного общества. В результате «программа ненависти», ранее направленная против евреев, теперь переносится на более широкий круг этнических и религиозных общин. В Германии это турки, во Франции — арабы и цыгане, в России — выходцы с Северного Кавказа, в Англии — пакистанцы и поляки, в Прибалтике — русские. Поскольку, однако, в большинстве случаев речь идет об общинах, формально принадлежащих к мусульманской вере, наиболее удобной объединяющей формулой становится исламофобия. Дополнительным стимулом для мобилизации общества под знаменем коллективного страха делается угроза терроризма.

В условиях страха общественные связи ослабевают, усиливается прямая и психологическая зависимость людей от государственных структур, взаимная подозрительность. В результате государство заинтересовано не в искоренении терроризма, а в его постоянном развитии (другое дело, что этот процесс, как и любой другой, может стать неконтролируемым и выйти за заранее отведенные ему пределы).

Современный капитализм — это общество испуганных людей, управляемых с помощью злобы и страха. Но, несмотря ни на что, это еще и общество классового противостояния, постоянно выдвигающее из своей среды активистов, готовых осмысленно бороться против системы.

Альтернативой страху является только солидарность. Осознанная товарищеская солидарность, базирующаяся на демократических принципах и классовых интересах.

Заключение

Когда во второй половине 1990-х гг. я впервые взялся читать курс по марксистской социологии, идеологическая гегемония неолиберализма в России казалась неколебимой, и сама мысль об изучении марксистской теории даже в академической среде казалась довольно дикой, не говоря уже о призывах к применению подобных идей на практике. Марксизм представлялся достоянием маргинальных политических групп, находящихся на периферии общественной жизни.

В 2005 г., когда я заканчивал эту книгу, Москва была полна молодыми людьми, шеголяющими в майках, украшенными портретами Че Гевары и Ленина. Марксизм был снова в моде. Киевский студент, приехавший на Российский социальный форум, со смесью удивления и восхищения констатировал, что никогда не видел в одном месте такого скопления «революционных пижонов».

Мода на социальный радикализм отнюдь не гарантирует того, что теоретические идеи марксизма будут восприняты и использованы. Но смена общественного настроения вызвана не только усталостью от многолетнего идеологического господства либерализма. Спрос на марксизм существует объективно, и он будет существовать до тех пор, пока продолжает развиваться капитализм.

Подъем антиглобалистского движения на Западе спровоцировал в России новый всплеск интереса к марксизму. Отечественные издательства стали в возрастающем количестве выпускать переводные книги, написанные английскими, французскими и немецкими левыми. В интеллектуальной среде стало хорошим тоном цитировать Герберта Маркузе, Вальтера Бенямина или Дьердя Лукача.

В первой трети XIX в., когда среди образованных людей в России царил повальное увлечение Гегелем, появился знаменитый анекдот про то, как англичанин немец и русский писали книгу о верблюде.

Англичанин поехал в Египет, поселился там среди верблюдов, вошел к ним в доверие, ел их пищу, бродил вместе с ними по пустыне и в конце концов написал очень подробную эмпирическую книгу «Жизнь верблю-

дов». Немец, напротив, заперся в своем кабинете и из глубин своего духа начал выводить чистую идею верблюда. Когда он, наконец, вывел ее, то написал длинный трактат «О сущности верблюда». А как поступил русский? Он вообще ничего не делал: дождался, когда выйдет книга немца, и затем перевел ее на русский язык с большим количеством ошибок.

Современное увлечение марксизмом во многом напоминает ситуацию, описанную в анекдоте полуторавековой давности. До тех пор пока теоретические знания остаются оторваны от политической и социальной практики, их ценность не слишком велика. Мода на западную левую культуру существует как бы параллельно с общественно-политической жизнью, никак не влияя на неё.

Такой «абстрактный марксизм» не имеет ни смысла, ни цели. Грамши называл марксизм «философией практики», прекрасно сознавая, что именно связь с политической и социальной борьбой делает подобные идеи значимыми и эффективными.

История марксистских дискуссий неразрывно связана с развитием левого движения и рабочих организаций. Слабость западного марксизма состояла именно в том, что он не смог преодолеть разрыва между все более академической теорией и все более оппортунистической, бюрократизированной практикой политических организаций. Попытка вырваться из академического «гетто», предпринятая в конце 1960-х гг., была многообещающей, но завершилась неудачей. Обратной стороной бестолкового оппортунизма стало столь же бестолковое сектантство многочисленных ультралевых групп, обожающих рассуждать о рабочем классе, но одновременно глубоко презирующих массу наемных работников, неспособных оценить их революционные идеи. Беда, однако, не в том, что массы равнодушны к революционным идеям, а в том, что идей никаких нет. Есть пустые слова.

Между тем иного пути, кроме соединения теории и политики, просто нет. Либо мы сделаем теорию основой практической стратегии, либо мы обречены тупо топтаться на месте, повторять одни и те же ошибки и утешать себя сектантскими заклинаниями. Левая интеллигенция обязана участвовать в политике, принимая на себя моральную ответственность за свои действия, совершая и преодолевая неизбежные ошибки, делая непростой ежедневный тактический выбор. Это гораздо менее приятно, чем сидеть в тиши кабинетов, это неблагодарный труд, ибо политические споры ведутся отнюдь не в соответствии с галантными правилами академической дискуссии. Надо держать удар, сохранять достоинство и, не теряя самообладания, критически оценивать собственные действия. Делать ошибки и исправлять их. Терпеть неудачи и по крохам собирать плоды успеха. Но несмотря на все трудности и неприятности, это работа, придающая жизни смысл.

Растущее число левых активистов нуждается в теории. Перефразируя знаменитую французскую пословицу о войне и генералах, можно сказать, что марксистская теория слишком важна для социалистической практики,

чтобы доверять ее профессиональным теоретикам. Совершенно не обязательно каждому активисту быть глубоким знатоком теории, но движение будет эффективно лишь тогда, когда у его участников будет хотя бы базовая теоретическая культура, позволяющая ориентироваться в происходящем, принимать осмысленные решения, а главное — понимать друг друга.

Левым совершенно нет необходимости достигать идейного единства по всем проблемам. Многоцветное и многообразное движение, противостоящее сегодня капитализму, не может и не должно быть механически сведено к общему знаменателю, тем более что вся история развития марксизма представляет собой историю дискуссий и споров, в которых рождается не только научная истина, но, что не менее важно, политическая стратегия. Однако для того, чтобы споры были конструктивны, чтобы они двигали нас вперед, необходим общий язык, единая система основных понятий, без которой мы просто не будем способны к эффективному совместному действию.

Именно эту роль должна сыграть марксистская теоретическая культура. Если она не станет среди левых массовой, если она не вытеснит всевозможные легенды и мифы «переходного периода», у левых в нашей стране нет будущего. В середине 1990-х гг., когда неолиберализм торжествовал в политике и идеологии, ему противостояла разрозненная и дезориентированная оппозиция, в сознании которой дремучие представления провинциальных чиновников смешались с обрывками националистической пропаганды и случайными фразами, почерпнутыми из советских учебников марксизма-ленинизма. На фоне такого идеологического безумия даже самые примитивные идейные конструкции советского периода казались утраченным достижением. Впрочем, вернуться в прошлое не дано никому. А главное, в этом нет никакого смысла. У нас есть будущее.

Не надо ностальгировать по революции 1917 г., надо думать о том, как совершить свою собственную. Размышлять об истории необходимо, но лишь с одной-единственной целью — самим творить историю. Идеологический мусор 1990-х гг. должен быть выметен. Пространство расчищено — не ради восстановления эстетической красоты оригинальной марксистской теории, а ради успешного антикапиталистического действия.

Надо, говоря словами Бертольта Брехта, научиться не смотреть, а видеть. Понять логику и усвоить язык классовой борьбы, не теряя способности к критической самооценке.

Надо решать вопросы организации и тактики, надо создавать новые общественные ситуации, которые сами по себе станут предметом теоретического анализа.

Мысль, не связанная с действием, мертва, даже если она красива. Но и действие должно быть пронизано мыслью. Альтернатива капитализму рождается не в кабинетах теоретиков, а на улицах, на предприятиях, в повседневной борьбе. Именно эта борьба двигает вперед общественную мысль.

«Капитал» остается «опасной книгой» до тех пор, пока существуют «опасные люди», способные ради своих убеждений на решительный поступок. К счастью, таких людей становится все больше.

В истории марксизма были и победы и поражения, были моменты идейного подъема и периоды упадка. Это история индивидуальной мысли и классового сознания, история ошибок и достижений. История, которую многие очень хотели бы забыть. Но пока есть люди, готовые критически мыслить и ответственно действовать, эта история продолжается.

Приложения

От Лакана к Ленину

Славой Жижек как зеркало левого движения

Славой Жижек сделался кумиром западных левых интеллектуалов в начале 1990-х гг. Понять успех Жижека невозможно, не осознав всю глубину морального, политического и идеологического кризиса, который переживала в то время социалистическая, марксистская и вообще критическая мысль.

Крах Советского Союза западные левые ждали, предсказывали и, как правило, приветствовали. Но то, что, по их мнению, должно было стать началом очищения левой традиции от сталинизма, оказалось, по крайней мере на первых порах, тяжелейшим ударом по социалистической идеологии как таковой. И дело здесь не только в том, насколько те или иные идейные «семейства» западных левых были подвержены влиянию сталинизма. Вместе с Советским Союзом ушла и вера, что в мире практически возможна какая-либо общественная система, кроме капитализма. Обсуждение альтернатив было исключено из сферы публичной дискуссии. Восторжествовал неолиберализм, причем не в качестве одной из возможных стратегий развития, а в качестве «Вашингтонского консенсуса», то есть единственно возможной формы экономической политики. Френсис Фукуяма торжественно провозгласил «конец истории».

Хуже того, критика сталинизма не спасла левых от моральных проблем. Можно сколько угодно объяснять, что официальная трактовка марксизма в СССР имела мало общего с критической теорией самого Маркса. Можно вполне аргументированно доказать, что общественный строй, возникший на руинах русской революции, не был социалистическим. Но невозможно отрицать ни происхождение сталинской идеологии из марксизма, ни того, что именно социалистические идеи вдохновляли участников революции 1917 г., давшей первотолчок к процессам, закончившимся построением тоталитаризма в СССР. В этом смысле формула «социализм потерпел в Советском Союзе поражение» будет совершенно справедлива, другое дело, что поражение это

случилось в 1917–1929 гг., а не в 1989–1991, как объявляла либеральная пресса. В 1989–1991 гг. наступила лишь запоздавшая общественная реакция, идеологическое осознание и переосмысление произошедшего. Причем, как и всякая запоздавшая реакция, она была чрезмерной и неадекватной.

Массовое дезертирство интеллектуалов охватило левый фланг. Но если на Западе бегство интеллектуалов от левой идеи было широко распространено, на Востоке оно оказалось всеобщим. В один день профессора марксизма-ленинизма превращались в профессиональных антикоммунистов. Впрочем, процесс затронул не только официальную «творческую элиту», которая просто не могла поступить иначе в силу своего конформизма и зависимости от власти. Бывшие диссиденты в Польше и Югославии (в частности, теоретики группы Praxis) с такой же легкостью превращались в националистов, христианских фундаменталистов и правых либералов. Американский социолог Богдан Денич сравнивал это с образами фильмов ужасов, когда благопристойный джентльмен прямо у тебя на глазах оборачивается монстром или вампиром.

В таких условиях на Западе особо ценили тех немногих восточноевропейцев, для которых левизна оказалась чем-то большим, нежели данью общепринятой риторики или идеологической моде. Тем более что сами эти люди оказывались у себя дома не просто в меньшинстве, но в полной изоляции. В условиях всеобщего дезертирства интеллектуалов (причем не просто «направо», а на крайне правый фланг) быть левым в Восточной Европе начала 1990-х гг. означало ежедневно бросать вызов «образованной публике», господствующим стереотипам, вести непрерывную борьбу «во враждебном окружении».

Словенец Жижек не мог не привлечь к себе внимания уже тем, что он оказался практически единственным из постюгославов, говорившим с западными левыми на одном языке и разделявшим с ними общие ценности. Однако это объясняет феномен Жижека лишь отчасти. Тексты «гиганта из Любляны», как тут же называли его западные поклонники, местами темны и запутанны, местами вычурны. Для того чтобы в них разобраться, нужно сначала изучить Фрейда и полюбить Лакана.

В других условиях и в другое время подобная манера изложения ограничила бы читательскую аудиторию весьма узким кругом, интересующимся проблематикой радикального психоанализа и построенных на этой основе эстетических теорий. Однако Жижек нашел достаточно широкого читателя. Его первая вышедшая на английском языке книга «The Sublime Object of Ideology» (London; N. Y.: Verso, 1989) сразу же привлекла кучу читателей, стала почти бестселлером. Причина здесь не в том, что среди левых интеллектуалов вдруг началось повальное увлечение Лаканом и другими вариантами постфрейдизма.

Сказать, что кризис марксизма оставил вакуум в сознании европейских интеллектуалов — значит гротескно преуменьшить проблему. Это был уже не вакуум, а зияющая брешь, через которую улетучивались любые формы теоре-

тического мышления, как такового. В эпоху конца истории теоретизирование бессмысленно. Эмпирические исследования, разумеется, оставались в цене, но профессиональные интеллектуалы к ним далеко не всегда способны.

Понятно, что свято место пусто не бывает. А потому позиции, оставленные марксизмом, были заняты различными формами постмодернистского философствования. Беспредметного и бесцельного, но изящного и своевременного. Суть постмодернизма — в замене теории «дискурсом». Философствование уже не ставит перед собой не только цели изменения мира, но даже не претендует на то, чтобы понять мир. Вместо того чтобы понять мир, нам предлагается поговорить о нем. Причем, как и в светском салоне, любой вариант болтовни (нарратив, дискурс) равноценен при соблюдении двух условий. Во-первых, он не должен содержать обобщения (тотализацию), иными словами, не должен ничего объяснять. Во-вторых, он должен быть изящен — полон литературных аллюзий, ссылок на прошлые «нарративы» и «дискурсы», в нем должны быть жонглирование терминами, комбинации образов, идей и цитат. Как и положено светской болтовне, заполняющей бессмысленное времяпрепровождение свидетелей «конца истории».

Левые авторы, пытавшиеся атаковать постмодернизм по существу, оказывались просто маргиналами. Их не допускали до салонной дискуссии. Их не понимали. Они выглядели как люди со старомодными и грубыми манерами в среде утонченных господ.

На этом фоне Жижек оказался единственным, кто нашел способ говорить на языке постмодернизма о темах, имевших серьезное значение. Он дал бой постмодернизму на его собственной территории. Переусложненные тексты «гиганта из Любляны» оказались интеллектуально эффективными именно в силу того, что при других обстоятельствах воспринималось бы как их существенный недостаток. У читателя, привыкшего к марксистской традиции, возникает ощущение, что очень часто Жижек сложным и запутанным образом говорит очень простые и, в сущности, общеизвестные вещи. Но в том-то и дело, что Жижек писал сложно и путано, чтобы его понимали.

К счастью, времена меняются. Рубеж XX и XXI вв. оказался временем резкого подъема левого движения. Можно говорить о преодолении левыми постсоветского травматического синдрома. Неолиберальный капитализм вызывает отвращение и протест. Если коммунисты сделали своей практикой все возможное, чтобы дискредитировать идеалы революции, то капиталисты, со своей стороны, создали условия для возвращения радикализма. Они не только продемонстрировали «истинное лицо капитализма» (не прикрытое и не облагороженное социал-демократическими реформами и Welfare State), но, можно сказать, сделали все мыслимое и немыслимое, чтобы реабилитировать коммунизм. Если не как политическую практику, то во всяком случае как идеологию.

В конечном счете те, кто в конце 1980-х предрекал, что крах сталинизма расчистит дорогу для возрождения радикальной левой, оказались не

так уж не правы. Они лишь ошиблись на десятилетие. Не такой уж большой срок в масштабах всемирной истории...

Начинается новая эпоха в интеллектуальной жизни Европы. Постмодернизм, как наваждение, испаряется на глазах. И неудивительно, что мы видим перед собой нового Жижека. Тексты становятся прозрачнее, мысль «спрямляется», изощренные метафоры уступают место аргументации. А главное, меняется тема. Жижек заговорил о Ленине.

Важно не то, что именно говорит нам «гигант из Любляны». Важно, о чем он говорит. Книга о Ленине, фрагменты которой публикует «КМ», посвящена не биографическому анализу и даже не теоретическому переосмыслению ленинского опыта. Как истинный психоаналитик, Жижек ставит перед собой совершенно иную задачу. Он снимает с темы табу. Возвращает ее из сферы бессознательных страхов и недоговоренностей в поле открытой дискуссии. До сих пор позитивно говорить о Ленине могли лишь маргиналы, а остальные предпочитали молчать или прикрываться академизмом. Жижек возвращает вопрос о Ленине в поле общепризнанных тем, демаргинализует его.

В данном случае важно не то, что сказано, а кем, когда и как сказано. Собственно, так большинство из нас и реагирует на информацию в повседневной жизни. Авторитет, завоеванный Жижеком в 1990-е гг., делает его свободным первым говорить в 2000-е гг. о том, про что многие не решаются сказать вслух. Наверное, эту книгу можно было бы назвать «Все, что вы хотели узнать о Ленине, но боялись спросить».

В Россию новая волна левого радикализма доходит скорее в качестве западной интеллектуальной моды, нежели в качестве политического импульса. Но именно так в свое время сюда добрались Просвещение, либерализм, социализм и марксизм. А лечить травмированную коллективную психику и вправлять вывихнутое интеллектуальное сознание здесь нужно даже в большей степени, чем в Европе. Так что Жижек найдет в России благодарного читателя.

Опубликовано в журнале «Критическая Масса», 2003, № 2

Майкл Хардт, Антонио Негри. Империя

Модная книга Майкла Хардта и Антонио Негри «Империя» наконец вышла на русском языке.

Надо сказать, что появление этой работы на английском уже вызвало некоторый шок. Во-первых, потому что редко когда труд, посвященный революционной теории, становился, подобно «Империи», коммерческим бестселлером. А во-вторых, если уж труды левых начали пользоваться массовым спросом, то почему произошло это именно с такой книгой? Но все по порядку.

Несмотря на изрядный объем, пересказать «Империю» крайне просто. Собственно, авторы сами это сделали в предисловии. Если кто-то хо-

чет просто ознакомиться с мыслями Хардта и Негри, рекомендую книгу не читать, ограничившись первыми страницами.

Здесь мы узнаем, во-первых, что глобализация, изменившая капиталистический мир, эффективна и необратима. Во-вторых, что экономические отношения становятся все менее зависимыми от политического контроля и что национальное государство приходит в упадок. Собственно, эти два тезиса представляют собой общие места неолиберальной пропаганды. Но (внимание!) тут мы и обнаруживаем главный вклад Хардта и Негри в общественную мысль: на смену национальному государству приходит Империя. Обязательно с большой буквы, и не путать с империализмом.

«Империя становится политическим субъектом, эффективно регулирующим эти глобальные обмены, суверенной властью, которая правит миром» (*Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис. 2004. С. 10*).

Собственно, ничего больше об Империи мы в книге уже не узнаем, поскольку авторы тут же заявляют, что речь идет о сетевой власти, вседушной, неуловимой, но крайне противоречивой. Российский читатель, испорченный чтением газеты «Завтра» и других продуктов национального постмодернизма, может ненароком подумать: не идет ли речь о еврейско-масонском заговоре или о «мировой закулисе»? Нет, теоретики заговора предполагают наличие некой тайной власти. А власть Империи является явной. Просто у авторов нет ни слов, чтобы ее описать, ни конкретных примеров, на которые они могут сослаться.

Невозможность что-либо конкретно сформулировать как раз и является главной новаторской мыслью этой удивительной книги. Все дело в противоречивости самого явления, объясняют нам. Империя еще до конца не сложилась, но она уже переживает глубокий упадок.

«Противоречия имперского общества являются неуловимыми, множющимися и нелокализуемыми: противоречия везде» (с. 191).

Поскольку существование Империи является исходной аксиомой авторов, невозможность ни увидеть, ни описать ее отнюдь не ставит под сомнение исходный тезис. Напротив, чем менее определенно мы представляем себе Империю, тем больше мы должны убеждаться в ее существовании.

В рассуждениях Хардта и Негри есть, конечно, своя логика, причем глубоко идеологическая. Приняв за абсолютную истину неолиберальную теорию глобализации, они однако, не хотят примириться с властью капитала. На этой основе они формулируют собственные выводы и даже свою программу борьбы, которая отвечает новой реальности и новым правилам. Империя есть лишь политическое воплощение новой реальности. Если нет больше национального государства, если рынок и капитализм глобален, а национальные и региональные рынки остаются не более чем пережитками прошлого, должна же власть капитала иметь какую-то «политическую надстройку»? Если мы ее не видим, значит, она просто невидима. Но все признаваемые авторами за истину экономические и социальные теории указывают на необходимость ее существования...

Беда лишь в том, что теории, взятые Хардтом и Негри за исходную точку, элементарно неверны. Причем неверны эмпирически.

Вспоминаются слова английского исследователя Алана Фримана, заметившего как-то:

«Принято считать, будто глобализация оказалась экономическим успехом, но политической и культурной неудачей. На самом деле все обстоит с точностью до наоборот».

Список экономических провалов глобализации можно составлять бесконечно. Достаточно вспомнить русский дефолт 1998 г. и последовавший за ним финансовый кризис в Латинской Америке, нынешнюю слабость мирового хозяйства и неспособность экономики США набрать темпы после депрессии 2000–2003 гг. Но самое существенное то, что и мировая торговля, и мировое производство в целом в период глобализации росли медленнее, нежели во времена протекционизма. Будучи цикличным, капитализм проходит периоды интернационализации, сменяющиеся периодами «национально-ориентированного развития». В этом смысле особенность нынешней эпохи не в том, что происходит что-то столь уж необычное, а в том, что благодаря информационным технологиям мы гораздо лучше видим и осознаем процессы, которые в ходе предыдущих циклов были известны в основном специалистам.

Точно так же не подтверждается опытом и тезис об ослаблении государства. Все происходит противоположным образом. Государство укрепляется, другое дело, что оно отказывается от своих социальных функций, становясь все более буржуазным, агрессивно-репрессивным и насквозь реакционным. Именно постоянное и возрастающее государственное принуждение (своего рода силовое регулирование общества в интересах рынка) позволяет глобализации продолжаться несмотря на непрерывную череду экономических провалов и упорное сопротивление большинства людей практически во всех точках планеты.

Транснациональные корпорации, в которых Хардт и Негри видят основную силу, организующую новый социально-экономический порядок, на самом деле остро нуждаются в государстве, причем именно государстве национальном. Ведь «глобальность» транснационалов возможна лишь в условиях, пока остается неоднородным мировой рынок труда. Если бы все национальные рынки действительно слились в единый глобальный рынок, деятельность транснационалов потеряла бы всякий смысл. Зачем было бы, например, производить кроссовки во Вьетнаме или Мексике для английского рынка, если бы затраты производства были бы примерно такими же, как в Англии? Подобный глобальный рынок в силу своей однородности неминуемо бы распался на множество однотипных, но локальных рынков, где производство для местного потребителя и из местного сырья было бы несравненно выгоднее, чем перевозка товаров из дальних стран.

Корпорации заинтересованы как раз в том, чтобы продолжали существовать локальные рынки с принципиально разными условиями и прави-

лами игры. А они, благодаря своей мобильности, могли бы эти различия эксплуатировать. Потому-то глобализация и остается принципиально незавершенной — довести дело до конца не в интересах прежде всего тех, кто возглавляет процесс. Другой вопрос, что вечная незавершенность глобализации на пропагандистском уровне будет постоянно использоваться для оправдания ее провалов.

Легко понять, что в сложившихся условиях национальное государство не только не является пережитком прошлого, оно как раз и оказывается идеальным инструментом, с помощью которого транснациональные элиты решают свои вопросы. Сетевая Империя как политическая структура корпорациям не нужна, поскольку за последние 15–20 лет национальное государство полностью переналажено: вместо того чтобы обслуживать своих граждан, оно, выражаясь языком Путина, решает проблемы «конкурентоспособности», иными словам, ублажает транснациональный капитал.

Империи Хардта и Негри не видно не потому, что она неуловима, а просто потому, что ее нет.

Разумеется, авторы прекрасно отдают себе отчет в том, что глобальное социально-экономическое пространство, которое они описывают, неоднородно и иерархично. Но они не делают из этого факта ровным счетом никакого вывода, кроме указания на то, что Империя и транснациональные корпорации (так, кстати, кто, все-таки?) это пространство организуют. Между тем принципиальная новизна современности состоит не в том, что национальное государство ослабевает, а в том, что корпорации приватизируют его. В этом смысле оказывается повернутым вспять процесс, происходивший на протяжении большей части XX в., когда государство под давлением трудящихся классов постепенно превращалось из органа диктатуры буржуазии в систему институтов, функционирующих на основе компромисса между классами. В социал-демократическую эпоху капитализм предстал перед нами в виде «цивилизованного» регулируемого рынка и «государства всеобщего благоденствия», а успокоенные своими достижениями левые заявили об отказе от лозунга диктатуры пролетариата.

Однако социал-демократический порядок оказался обратим, как и любой компромисс. На фоне «одичания» современного капитализма весьма странно звучат слова Хардта и Негри про то, что новый порядок лучше старого, хотя, разумеется, они имеют в виду не моральную сторону дела и не конкретные проблемы, с которыми люди сталкиваются в повседневном опыте, а некую философскую диалектику в духе Гегеля. Эта диалектика условна, абстрактна и именно потому неприменима в жизни. Если бы дело обстояло иначе, ни Маркс, ни Вебер, ни Фрейд человеческой мысли не понадобились бы.

Между тем критический взгляд на современную ситуацию заставляет ставить совершенно иные вопросы, нежели те, которыми занимаются наши герои. Во-первых, если современный порядок вещей является на практике проявлением реакции, а социал-демократический компромисс ока-

зался обратим, то логично предположить, что так же обратимы окажутся и пришедшие ему на смену неолиберальный капитализм вместе с идеологией глобализации. Иное дело, что отсюда отнюдь не следует, будто нас ждет возврат к социал-демократии. В свете имеющегося исторического опыта он не является ни необходимым, ни желательным.

Другой вопрос состоит в моральной стороне происходящего. Риторических ссылок на необходимость «сопротивления» недостаточно для того, чтобы изменить положение дел. Массы сопротивлялись капиталу с момента зарождения буржуазного порядка. По большей части сопротивлялись неэффективно, хотя на протяжении последних двух веков мы видели и примеры успешной классовой борьбы, причем каждый раз речь шла не о сопротивлении, а о реализации более или менее внятных революционных или реформистских проектов. Успех этих проектов (будь то левый якобинизм, большевизм, тред-юнионизм или кейнсианство) был ограниченным и, как уже было сказано, обратимым. Революционный порыв не раз оборачивался катастрофой тоталитаризма. Но тем не менее нельзя отрицать значение этих попыток.

В мире Хардта и Негри, напротив, нет ни необходимости, ни возможности вырабатывать какие-либо программы. Неуловимая и зыбкая реальность новой глобальной Империи делают такие попытки бессмысленными. Здесь есть только движение, которое каким-то мистическим образом (но опять вполне в духе Гегеля) само собой приведет к заранее заданной цели. Цель эта, как и на плакатах советского времени, коммунизм. И он так же абстрактен и недостижим, как и идеальное будущее советской пропаганды.

Как мы уже заметили, Империя Хардта и Негри, по существу, бессубъектна. Точнее, в ней субъект есть, но он так же неуловим, подвижен и абстрактен, как и все остальные понятия этой книги. В этой зыбкости, бессубъектности Хардт и Негри видят проявление новизны современной эпохи. Однако, парадоксальным образом, когда они начинают говорить о прошлом, оно тоже становится размытым и бессубъектным. Стоит им обратиться к истории, например, европейского Ренессанса и Просвещения, как перед нами всплывают такие же неясные очертания самодвижущегося процесса, в котором действуют совершенно гегельянские общие идеи — революционное и контрреволюционное начало, стремление к свободе и потребность в контроле, причем совершенно неважно, чье это стремление и чья потребность. Время от времени на страницах книги появляются какие-то не менее абстрактные «массы», про которые мы знаем не больше, чем про абсолютные идеи старинной философии. Для Маркса массы представляли собой форму существования и организации совершенно конкретных социальных групп и классов, имевших определенные интересы и на этой основе формирующиеся потребности. Пролетариат становится массой в силу того, что этого требует логика фабричного производства, накопления капитала и урбанизации, собирающая людей вместе и превращающая их в «массу». Эта же логика еще раньше вовлекает в свой оборот и мелкую буржуазию. Однако

все эти социальные группы сохраняют свое лицо. Социология, Маркса ли, Вебера ли, интересуется именно собственным обликом класса, его специфическими особенностями, из которых и произрастает потребность в политическом действии, необходимость борьбы и стремление к освобождению. Социология Хардта и Негри, если применительно к ним вообще можно говорить о социологии, напротив, предполагает полную обезличенность.

Единственное, что мы точно узнаем про массы, прочитав «Империю», — это то, что они бедны. В этом главная особенность текущего момента. Рабочего класса больше нет. Бедность, говорят нам авторы, стала отношением производства. Жаль только, они не уточняют, каким образом. Мы узнаем лишь, что теперь бедность «проявляется во всей своей открытости, поскольку в эпоху постсовременности подчиненные поглотили эксплуатированных. Иными словами, бедняки, каждый бедный человек, массы бедных людей поглотили и переварили массы пролетариев. Самим этим фактом бедняки стали производительной силой. Даже продающие свое тело, нищие голодающие — все виды бедняков — стали производительной силой. И поэтому бедняки обрели еще большую значимость: жизнь бедняков обогащает планету и облекает ее стремлением к творчеству и свободе. Бедняки являются условием любого производства» (с. 154).

Социологическое мышление здесь поднимается до уровня сказок Шарля Перро. Ведь уже герои «Золушки» и «Кота в сапогах» прекрасно понимали противоположность между бедностью и богатством, прилагая изрядные творческие усилия (и демонстрируя в этом немалую свободу), чтобы из первой группы перебраться во вторую.

О противоречиях между бедными и богатыми много писали с древнейших времен, но внятных решений предложить не могли просто потому, что бедность сама по себе не является не то что «производственным отношением», но даже и общественным отношением. Она лишь следствие сложившихся социальных отношений и экономического порядка. Новаторство марксистской мысли состояло в том, что она отбросила морализаторство прежних радикальных идеологов, то восхищавшихся добродетелями бедняков, то негодовавших по поводу царящей вокруг нищеты. Марксизм предложил говорить конкретно — о социальной структуре, об организации экономики. Обнаружилось, что бедность по своему происхождению неоднородна. Именно поэтому движения, стремившиеся опереться на бедняков, оказывались неустойчивыми и неэффективными. Когда Маркс писал о революционном потенциале пролетариев, он меньше всего имел в виду их нищету. И совершенно закономерно, что наиболее успешные революционные попытки предпринимались далеко не самыми обездоленными группами общества.

Все это, конечно, банально. Но оригинальность теоретической мысли Хардта и Негри состоит в том, что она даже не поднимается до уровня современной банальности, оставаясь на уровне банальностей полуторасотлетней давности.

Надо сказать, что разделение общества на богатых и бедных, то есть по уровню потребления, для наших авторов вполне закономерно. Так же как сочинители «Империи» принимают за чистую монету газетные передовицы об успехах глобализации, переходя к социологии, они не менее последовательно следуют буржуазному подходу, который видит человека только как собственника либо потребителя. Другое дело, что революционная совесть требует как-то увязать это с привычными марксистскими лозунгами — отсюда и рассуждения о бедняках как производительной силе.

Избранный авторами «Империи» ход мысли напрочь исключает любую попытку предложить какую-либо стратегию преобразований. Ведь стратегия предполагает наличие какого-то организующего смысла в системе. Поскольку же в мире «Империи» нет главной оси, основного, системного противоречия, то невозможно (и не нужно) обсуждать вопрос о том, куда направить основной удар. Любая политическая программа адресуется к каким-то конкретным социальным и экономическим проблемам, которые можно четко сформулировать и разрешить — здесь и сейчас. Но в мире «Империи» это бессмысленно, ибо проблемы и противоречия плодятся бесконечно и бессистемно, как кролики на фермах Ходорковского.

Борьба с Империей сводится к сопротивлению, к «бытию-против». Это не программа, не идеология, а образ жизни. Который, кстати, может прекрасно вписываться в буржуазную реальность, не преобразуя, а дополняя ее — вместе с майками с портретами Че Гевары, радикальными бестселлерами и другими символами протеста, рыночный спрос на которые возрастает тем больше, чем меньше остается желающих покупать идеи неолиберализма.

Восторг многих радикальных читателей вызвала финальная фраза про «безудержную радость быть коммунистом» (с. 380). Признаться, я подобного восторга не разделяю. Идеи действительно могут доставлять наслаждение. И с давних пор мы знаем про «радость борьбы». Но, да простят меня поклонники Негри, слова о «безудержной радости» у меня ассоциируются не с революцией, а скорее с глупостью. В данном случае этика «Империи» как раз противоположна марксистской. Маркс, в отличие от Хардта и Негри, понимал, что знание и убеждение предполагают также ответственность.

Любопытно, что, хотя большинство западных марксистов от книги Хардта и Негри пришли в ужас, сами авторы вполне искренни в своем позитивном отношении к идеям Маркса. Дело в том, что, высказывая нечто противоположное марксизму в одной части книги, они с «безудержной радостью» повторяют общие места марксистской теории в другой. Создается впечатление, что авторы «Империи» любят общие места искренне и бескорыстно — неважно, откуда почерпнута та или иная банальность, насколько она стыкуется с другим общим местом, повторенным на следующей странице. Банальность любого тезиса для авторов «Империи» является синонимом его убедительности. Верую, ибо банально!

Возможно, впрочем, что именно это нагромождение банальностей оказалось своего рода конкурентным преимуществом книги, предопределившей ее кассовый успех. Благодаря изобилию общих мест читатель овладевает текстом без особых интеллектуальных усилий — несмотря на изобилие философской лексики и изрядную длину текста.

Впечатляющая величина этого тома объясняется не в последнюю очередь множеством повторов, особенно во второй половине книги. Кажется, что уже все сказано, но авторы как будто не могут остановиться. Признаюсь, впрочем, вторая половина «Империи» понравилась мне больше: ведь изрядная часть написанного в ней никак не вяжется с основными идеями, высказанными в начале. По существу, эта часть книги представляет собой повтор общих мест современного (а иногда и классического) марксизма, что, конечно, приятно левому читателю. Как в старом антисоветском анекдоте: «Сколько раз можно повторять, советской власти больше нет?!» — «А вы повторяйте, повторяйте!»

Похоже, два автора так до конца и не смогли договориться о том, что они в конечном итоге хотели написать. Почерпнутые из марксистских учебников тезисы о рабочем классе уживаются с вышеприведенными рассуждениями о бедности. Понятия класса, производства, пролетариата неожиданно возвращаются к нам в совершенно традиционной трактовке. Однако какое значение имеют подобные противоречия, если все в этом мире, как мы уже поняли, зыбко и неуловимо...

По существу, Хардт и Негри предлагают нам новую версию младогегельянских идей — тех самых, с критики которых начинал формирование своей теории Карл Маркс. Отсюда, видимо, и многие длинноты книги. В духе гегелевской эволюции абсолютной идеи развивается перед нами и идея Империи (от Древнего Рима, через перипетии Новой истории, к эпохе империализма), чтобы достичь абсолютного и полного выражения в современной глобальной Империи. Осознав себя в трудах Хардта и Негри, Империя завершает свою эволюцию.

Поучительно, что сегодня подобный подход воспринимается не просто как продуктивный, а как оригинальный и новаторский. Дело не в том, что новое — это хорошо забытое старое: в области теории подобная обывательская мудрость не срабатывает. Авторы «Империи» ссылаются на перемены, произошедшие в мире. Но в данном конкретном случае не общество изменилось, а общественная мысль деградировала. Такое ощущение, что интеллектуальный багаж, накопленный на протяжении полутора столетий, практически утерян, сохранились лишь обрывки идей да набор имен, кое-как встраиваемых в структуру интеллектуального повествования, на самом деле глубоко архаическую. Что-то подобное было, наверно, после гибели Александрийской библиотеки. Нам остались лишь клочки папирусов, случайные фразы, полемические формулировки, утратившие контекст. Сохранился Альтюссер, но потерян Сартр и почти забыт Грам-

ши, ветер принес несколько разрозненных страниц из Макса Вебера, воспринимаемого эпигоном Мишеля Фуко. Осколки марксистской теории всплывают в идеологическом бульоне вперемешку с фрагментами структуралистского дискурса и постмодернистской критики.

Подобное интеллектуальное несчастье может случиться только на фоне глубочайшей социальной реакции (в этом плане перемены действительно налицо). Можно сказать, что неолиберализм действительно добился триумфа, обрушив мировую общественную мысль до такого уровня, когда появление книг, подобных «Империи», не только становится возможно, но и оборачивается успехом. Создается ощущение, что вся работа критической мысли европейских левых, проделанная со времен Маркса, пошла псу под хвост и мы благополучно вернулись ко временам, в лучшем случае, «Рейнской газеты». Революция 1848 г. еще далеко впереди...

И все же хочется думать, что дело не так безнадежно плохо. Ведь книги на самом деле не сгорели. Можно снять с книжных полок того же Маркса, Фрейда, Троцкого, Маркузе, Валлерстайна... Ленина, в конце концов.

Кроме модных книг, на свете бывают еще и умные.

Опубликовано в журнале «Критическая Масса», 2004, № 3

Кристоф Агитон, Алекс Каллиникос

Антиглобализм так и не стал в России массовым движением, но интеллектуальной модой, безусловно, сделался. Не имея серьезных достижений в области практической борьбы, отечественные левые жадно переводят и читают книжки западных товарищей. Что в общем правильно: теория — это тоже оружие.

В нынешнем сезоне на полки книжных магазинов поступили сразу две работы, обобщающие опыт антиглобалистских выступлений на Западе. Одна из них написана Кристофом Агитоном, идеологом французского движения АТТАК. Другая принадлежит перу Алекса Каллиникоса, известного британского интеллектуала и теоретика Социалистической рабочей партии (SWP). Если АТТАК является сравнительно молодым, но весьма влиятельным движением, то SWP имеет за плечами длительную историю, восходящую к созданному Львом Троцким IV Интернационалу. АТТАК стал во Франции своего рода убежищем для множества активистов, возмущенных откровенным предательством социалистической партии и беспомощностью коммунистов. В общем, это продукт кризиса традиционных левых и партийной системы в целом. SWP, напротив, сама является достаточно традиционной партией, хотя и сравнительно небольшой. В последнее время ее активисты играли заметную роль в антивоенном движении, в Европейском социальном форуме, в блоке Respect, боровшемся, правда не очень успешно, за места в Европейском парламенте. Легко догадаться,

что, несмотря на общую критику капитализма, взгляды Агитона и Каллиникоса на одни и те же события оказываются весьма различны.

Впрочем, дело не только в политических различиях. Книга Агитона «Альтернативный глобализм» (Агитон К. Альтернативный глобализм. Новые мировые движения протеста. М.: Гилея, 2004) напоминает то ли тщательно сделанный студенческий конспект, то ли реферат (в духе тех, что готовились у нас в 1970-е гг. Институтом научной информации по общественным наукам). В обзор включены все главные источники. Ссылки тщательно сверены, ни одна важная дата, значимое имя или существенное событие не упущены. Хотите знать, что такое «Вашингтонский консенсус», — смотрите страницу 45. Собираетесь уточнить дату Бреттон-Вудского соглашения — пожалуйста, — страница 38. Тут же будут и имена ключевых участников переговоров, и краткое изложение их позиций. Вы узнаете все, что нужно, про Всемирный и Европейский социальные форумы, про демонстрации в Сиэтле и Вашингтоне, про взаимоотношения между профсоюзами и молодежными коалициями. Для особо вдумчивого читателя в конце книги дан еще и список литературы, а заодно и главных веб-сайтов, где я с радостью обнаружил как свое «Восстание среднего класса», так и сайт Института проблем глобализации.

Надо отметить, что переводчики и редакторы русского издания поработали на славу. Текст тщательно выверен, что по нынешним временам является редкостью. К тому же, им очень удобно пользоваться — сноски, вынесенные на поля страниц, усиливают сходство со студенческим конспектом, но позволяют быстро находить нужный источник.

Единственная проблема в том, что сам Агитон явно не собирался писать справочник или популярную энциклопедию. Но, увы, читатель, пытающийся найти в этом труде теоретический анализ антиглобалистских движений, скорее всего, останется разочарованным.

Многочисленные цитируемые источники воспроизводятся некритически, а стремление к объективности часто делает стиль автора непобедимо скучным. Описывая разногласия между соперничающими антиглобалистскими течениями, Агитон настолько боится обвинения в предвзятости, настолько избегает любой формулы, которая могла бы кого-то обидеть, что становится непонятно, какова его собственная позиция и есть ли она вообще.

На самом деле, конечно. Кристоф Агитон не может не иметь собственного взгляда на происходящее. Он ведь не только сторонний исследователь, хладнокровно, в духе Линнея, каталогизирующий многочисленные разновидности левых радикалов, но и участник событий. Увы, если бы я сам, своими глазами не видел его выступающим с трибуны Европейского социального форума, а только читал лежащую сейчас передо мной книгу, мне ни за что не пришло бы в голову, что автор — один из ключевых лидеров движения. Такое впечатление, что текст написан каким-то безликим политическим бухгалтером, находящимся в тысяче миль, а может быть, и в тысяче лет от места событий. Пересказав в общих чертах основные теории и программы, выдвигает

мые современными левыми, автор меланхолично заключает, что торжество тех или иных идей будет зависеть «от того, как будут развиваться социальные движения». Как будто сам он, как и его возможный читатель, не являются частью этих движений и как будто развитие борьбы не будет зависеть от того, какие теории в конечном счете восторжествуют среди их участников.

«Антикапиталистический манифест» (Каллиникос А. Антикапиталистический манифест. М.: Праксис, 2004) Алекса Каллиникоса представляет собой совершенно иной документ. Автор не только не скрывает своих взглядов, он жестко и последовательно отстаивает их. Несмотря на четко заявленную позицию, «Манифест» Каллиникоса не теряет достоинств в качестве надежного академического источника. Он не менее информативен и достоверен, просто читать его интереснее. Позиции свои Каллиникос добросовестно аргументирует, а потому все даты и имена также на месте, воззрения не только единомышленников, но и оппонентов изложены четко, подробно и уважительно.

Надо сказать, что еще в сравнительно недавнем прошлом британская Социалистическая рабочая партия имела репутацию организации непримиримой, чтобы не сказать сектантской. Сегодняшний Каллиникос не менее жесток в своих взглядах, но несмотря на это демонстрирует гораздо больше терпимости и сочувствия к другим левым.

Возможно, здесь я уже «перехожу на личности», надо все же учесть историю моих собственных взаимоотношений с Алексом. Его рецензии на мои выходившие в Англии книги были, за единственным исключением, весьма положительными, но оставляли у меня чувство глубокой неудовлетворенности, поскольку Алекс, раскладывая все по полочкам в своем интеллектуальном справочнике (боже, как мы, русские, ненавидим это западное каталогизирование!), неизменно заносил меня в категорию «левого реформизма».

Помню, как после чтения одной из таких рецензий у меня был кошмарный сон — мне мерещилось, будто я превратился в социал-демократа. Я проснулся в холодном поту и долго читал Ленина, пытаюсь прийти в себя.

Теперь, теоретически, я могу отплатить английскому товарищу той же монетой, поскольку уже не он меня, а я его рецензирую. Но, увы, Алекс просто не дает повода. Ни в его анализе современного капитализма, ни во взглядах на современное левое движение нет ничего такого, что вызвало бы неодобрение порядочного марксиста.

Впрочем, шутки в сторону. Перед нами действительно очень серьезная и одновременно решительно ангажированная книга. В отличие от Агитона, использующего расплывчатый и двусмысленный термин «альтернативный глобализм», Каллиникос говорит об антикапиталистическом движении. Термин «глобализация» сам по себе далеко не четок. Это, как выражается автор, «по сути своей» спорное понятие (см. с. 157). А уж тем более непонятно, что такое «альтернативный глобализм». Кстати, даже во Франции, где словечко «альтерглобализм» (или «альтермондиализм») широко вошло

в обиход, над ним постоянно посмеиваются. По-русски и по-английски это и выговорить невозможно.

Каллиникос говорит просто и конкретно. Движение, с которым мы имеем дело, — по сути антикапиталистическое. Здесь, впрочем, его тоже подстерегает методологическая опасность. То, что именно антикапитализм является стратегической перспективой движения (если у него вообще есть какая-либо перспектива), сомневаться не приходится. Ведь вызов был брошен всей системе, ее основополагающим ценностям и принципам. Другое дело, насколько осознают это участники движения, насколько они готовы до конца следовать логике собственного антикапиталистического протеста. Сам же Каллиникос признает, что это далеко не так. В итоге ему приходится говорить про реформистский, локалистский и даже буржуазный антикапитализм (не говоря уже об антикапитализме реакционном, о котором, впрочем, писали еще Маркс и Энгельс).

Все-таки не всякая критика капитализма, тем более его конкретной разновидности — неолиберализма — является вызовом системе. Скорее правильное было бы говорить о широком антикорпоративном движении, в котором усиливаются антикапиталистические и социалистические тенденции. Именно то, что равнодействующей всех сил, участвующих в этом фронте, является именно протест против гнета корпораций, предопределяет одновременно и разнородность движения, и его удивительную устойчивость.

Выступления протеста Каллиникосом отнюдь не идеализируются. В отличие от многочисленных модных авторов, которые увлеченно рассказывают о новых сетевых структурах, коалициях и множествах, он говорит о конкретных проблемах и противоречиях, демонстрируя, что в среде антиглобалистов, как и во всех предшествующих великих исторических движениях, существует собственное умеренное (реформистское) и свое радикальное (революционное) крыло. Короче — свои жирондисты и якобинцы, меньшевики и большевики. Конечно, опыт истории не прошел даром — соперничающие тенденции предпочитают держаться вместе, понимая опасности, связанные с расколом. Но недопустимость раскола и готовность к совместной работе отнюдь не означает отсутствие противоречий.

Главное преимущество книги Каллиникоса в полном отсутствии желания быть модным. Следовать моде в общественных науках так же привлекательно, как и в любой сфере, но интеллектуальная честность все же дороже. Автор «Антикапиталистического манифеста» говорит о том, что многие теоретики современной левой предпочитают обходить стороной. Он прямо заявляет, что недостаточно критиковать капитализм, надо сформулировать альтернативную программу. А такая программа, если только относиться к ней серьезно, неизбежно заставляет нас говорить не о множествах и идентичностях, а о классовой борьбе и социализме. Он пишет о стратегии и планировании, о переходной программе. Короче, обо всем

том, о чем социалисты не стеснялись говорить восемьдесят лет назад, но что стало запретной темой после краха советского эксперимента.

Драматизм идейной ситуации современных левых именно в том состоит, что ставить подобные вопросы на фоне катастрофических итогов советского опыта крайне трудно, но любая попытка избежать их оборачивается интеллектуальной игрой в кошки-мышки, заменой серьезного разговора бессодержательным «дискурсом». До тех пор, пока есть капитализм, разговор о социалистической программе остается актуальным. Но формулировать, а главное — реализовывать ее надо так, чтобы не повторить трагического опыта XX в. С точки зрения Каллиникоса, справедливость, демократия, эффективность и приемлемость для общества являются ключевыми ценностями, на которые должен опираться социалистический проект. Наряду с этим он должен быть экологическим — в конечном счете требование преодоления капитализма сегодня диктуется уже не только историческими потребностями пролетариата, но и необходимостью остановить климатическую катастрофу, порождаемую этой системой. Иными словами, классовый интерес не заменяется, а дополняется «общечеловеческим». Другое дело, что эти общечеловеческие интересы все равно реализованы могут быть лишь через классовую борьбу и осознанное политическое действие: человечество в целом слишком разобщено, чтобы быть субъектом собственной истории.

В конечном счете ответ на любые стратегические вопросы лежит не в области теории, а в области практики. Нет смысла ожидать некоего магического превращения общества, совершаемого неожиданной и глобальной революцией. Невозможно реализовать радикальную программу целиком и сразу. Но нет и возможности ждать или просто плыть по течению. Требуется, говоря словами Каллиникоса, «разработать программу реформ, которые сами по себе были бы желательны и ставили бы под сомнение логику капитала» (с. 155).

Читая эти слова, я понял, что, по всей видимости, прощен: ведь пятнадцать лет назад ровно за такие высказывания Алекс объявил меня безнадёжным реформистом...

Опубликовано в журнале «Критическая Масса», 2004, № 4

Левое движение в 1990-х гг. – начале XXI в.

Доклад на заседании клуба «Община» 6 декабря 2005 г.

Развитие левого движения в нашей стране идет в контексте мировых событий. Наши особенности не стоит абсолютизировать, но есть все же ряд специфических моментов, характерных именно для России.

90-е гг. XX в. были плачевны для всех отрядов левого движения. В первую очередь это, разумеется, коснулось коммунистов. Распад СССР

положил конец мировому коммунистическому движению. Прежде компартии, при всех их разногласиях, входили хотя бы в одну «политическую фамилию», сохраняли общую идентичность. Теперь многие партии сменили ориентацию, как, например, в Италии, где компартия сразу заняла место правой социал-демократии. И это — не случайность, а тенденция, характерная также для партий Восточной Европы. Эти партии занимают позиции на самом правом краю социал-демократии, выступая в лучшем случае с позиций социал-либералов. Одновременно происходит выделение небольших партий, ориентированных на прежние ценности вплоть до сталинистских (например — Рабочая партия в Венгрии).

Однако не только коммунистические партии пережили катастрофу. Социал-демократия тоже столкнулась с глубоким кризисом. На фоне дискредитации левых идей мы видим торжество неолиберализма. Левым не удалось отстоять социальное государство на Западе, даже выступая с социал-консервативных позиций. И это понятно — у левых не было позитивного идеала. Трудно поднимать людей на борьбу ради мелких поправок в кодексы и небольших прибавок к зарплате. В начале XX в. люди шли на смерть не ради социального страхования. А к концу столетия социал-демократические и коммунистические функционеры умели работать преимущественно как менеджеры, управляющие социальным страхованием и другими подобными институтами. Буржуазия перешла в контрнаступление. И выяснилось, что эти менеджеры не умеют сражаться. Они умеют управлять социальным страхованием. И тогда социал-демократы последовали поговорке «Если ты не можешь победить врага, то надо к нему присоединиться». Раньше управляли на благо людей, теперь могут управлять им во вред. Могут спокойно служить новым хозяевам, выполнять заказ врагов своей социальной базы.

В 1997 г. вышел манифест таких социал-предателей — работа Дональда Сассуна «Сто лет социализма». Этому же автору принадлежит формулировка «нового реализма». В рамках этой концепции вся история социализма свершалась ради того, чтобы увенчаться Блэром и Шредером. Все по Гегелю — рабочее движение пыталось себя познать в муках бунтов и заблуждений, и познало. Теперь нужно избавиться от остатков утопизма и экстремизма, чтобы достичь окончательного конца истории. Характерно, что такие деятели, как Герхард Шредер и Йошка Фишер были когда-то левыми радикалами. Аналогичный пример в России — Андрей Исаев. Они сделали себе имя в этом качестве. Но теперь, придя к прямо противоположным взглядам, не собираются начать карьеру сначала.

Другой путь — тенденция окукливания, характерная для радикальных коммунистов, прежде всего троцкистов (я не говорю здесь об анархизме, так как не очень хорошо знаю эту тему). Но сейчас ситуация меняется. Беседуя с Джоном Рисом, одним из лидеров Социалистической Рабочей Партии в Британии, я спрашивал его о причинах странной метаморфозы: их группа была самой закрытой и сектантской в 80-е гг. а сейчас — одна

из наиболее добродушных и открытых к диалогу. В чем дело? Он привел такую аналогию — в период засухи нужно беречь свою лужицу, а когда пошла «Большая вода» — это не нужно. Они считают, что сейчас «пошла Большая вода».

В России эти два процесса имеют свои особенности. Традиционные коммунисты у нас ушли не просто направо, а в сторону националистической идеологии, за пределы левого спектра в любом его понимании, когда проступают уже просто черносотенные черты. В этом проявляется специфика постимперского синдрома — компартия уцелела, но она не отстаивает мировой миссии, а ориентируется на возрождение России. Общая маргинализация социальной структуры способствует этой тенденции. Что касается небольших левых групп, то «воды очень мало».

И все же, как у нас, так и в мире намечается новый тренд. Возникают обновленные левые движения. Либеральная система состоялась и стабилизировалась. Парадоксальным (или диалектическим) образом это открывает новые возможности для антикапиталистического движения. Подросло новое поколение левых, которые отталкиваются уже от этой новой реальности. Либералы нам долго рассказывали сказку про Моисея, который водил людей по пустыне, пока они все не перемерли. Вот новое поколение вырастет — оно будет готов к жизни при капитализме. Что получилось? Новое поколение понимает правила игры при капитализме, но не принимает их. И, в отличие от старого поколения, эффективно сопротивляется. Экономический рост тоже дал положительные результаты. Можно наблюдать частичную делюмпенизацию, что также внушает надежды. Оживление профсоюзной борьбы — налицо.

Старые структуры, оставшиеся в наследство от героической эпохи XX в., разрушены или мертвы. Это — «пустая скорлупа», выражаясь словами А. Грамши. Мертвы не идеи, но структуры. Появляется новое радикальное движение — пресловутый антиглобализм. Почему нужно новое движение? Потому что антиглобалистам нет места в старых структурах.

В России ситуация усугубляется наложением двух тенденций. Поле занято гигантскими мертвыми старыми структурами, а новые движения не имеют ресурсов для создания своих собственных. На Западе есть возможность опереться на сети гражданского общества, а у нас гражданское общество пронизано стереотипами, враждебными левым идеям. К тому же, гражданские ассоциации слишком слабы, чтобы на них можно было опереться.

Но есть и хорошая новость — у Российского капитализма те же проблемы. Это во многом определяет и слабость левого движения, но и надежды на будущее для него.

Библиография

- Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2001.
- Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М.: Интер-Версо, 1991.
- Антология позднего Троцкого. Сост. М. Васильев, И. Будрайтскис. М.: Алгоритм, 2007.
- Валлерстайн И. После либерализма. М.: URSS, 2003.
- Валлерстайн И. Миросистемный анализ: Введение. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006.
- Грамши А. Избранные произведения: Т. 1–3. М.: Иностранная литература, 1957–59.
- Грамши А. Тюремные тетради. Часть первая. М.: Издательство политической литературы, 1991.
- Ильенков Э. В. Об идолах и идеалах. Киев: Час-Крок, 2006.
- Каутский К. Путь к власти; Славяне и революция. М.: КомКнига/URSS, 2006.
- Ленин В. И. Что делать? Наболевшие вопросы нашего движения. Полное собрание сочинений. Т. 6. Последнее издание: М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2010.
- Ленин В. И. Империализм как высшая стадия капитализма. Полное собрание сочинений. Т. 27. Последнее издание: М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2010.
- Ленин В. И. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. Полное собрание сочинений. Т. 41. Последнее издание: М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2010.
- Ленин В. И. Великий почин. Полное собрание сочинений, Т. 39.
- Лифшиц М. Собрание сочинений: В 3-х т. М.: Изобразительное искусство. 1984–1988.
- Лукач Д. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М.: Логос-Альтера, 2003.
- Лукач Д. Ленин. Исследовательский очерк о взаимосвязи его идей / Авт. вступ. статей С. Н. Земляной. М.: Междунар. Отношения, 1990.
- Люксембург Р. Накопление капитала. М., Л.: Соцэкгиз, 1934.
- Цзэдун Мао. Маленькая красная книжца М.: Эксмо, 2010.
- Маркс К. Оправдание мозельского корреспондента. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. Т. 1.
- Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. ТТ. 23–25.
- Маркс К. Гражданская война во Франции. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. Т. 17.

- Маркс К.* Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. Т. 8.
- Маркс К., Энгельс Ф.* Коммунистический манифест. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. Т. 4.
- Маркузе Г.* Эрос и цивилизация. Одномерный человек. М.: АСТ, 1994.
- Плеханов Г. В.* К вопросу о роли личности в истории. Избранные философские произведения. Т. 2.
- Сартр Ж.-П.* Проблемы метода. М.: Прогресс. 1994.
- Сталин И. В.* Вопросы ленинизма. Сочинения. Т. 8.
- Троцкий Л. Д.* Преданная революция. М.: НИИ культуры, 1991.
- Фромм Э.* Бегство от свободы. Человек для себя. М.: АСТ, 2006.
- Фромм Э.* Марксова концепция человека. М.: «Республика», 1992.
- Хобсбаум Э.* Эхо «Марсельезы»; *Дойчер И.* Незавершенная революция. М.: Интер-Версо. 1991.
- Гевара Э. Че.* Статьи, выступления, письма. М.: Культурная Революция. 2006.
- Гевара Э. Че.* Эпизоды революционной войны. М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1974.
- Энгельс Ф.* Анти-Дюринг. К. Маркс, Ф. Энгельс. Собрание сочинений. Т. 20.